

ОДИССЕЙ.
СЫН ЛАЭРТА

Г.А. ОЛДИ

Г.А. ОЛДИ



ОДИССЕЙ,
СЫН ЛАЭРТА

ЧЕЛОВЕК НОМОСА

ЭКСМО

ОДИССЕЙ, СЫН ЛАЭРТА



Вообще значение мифа, легенды, эпоса в творчестве Олди трудно переоценить. И дело не только и не столько в том, что подавляющее большинство произведений Громова и Ладыженского, написанных за последние пять лет, базируются на образах и сюжетах, пришедших непосредственно из мифологии тех или иных стран. Куда важнее мифологическое восприятие мира, пропитывающее насквозь все без исключения книги Олди. То самое, которое делает их творчество редким и драгоценным явлением не только в отечественной, но и в мировой фантастике, и почти уникальным — в фэнтези.

(А. Гусев)

БЕЗДНА ГОЛОДНЫХ ГЛАЗ. Книга 1. ДОРОГА

БЕЗДНА ГОЛОДНЫХ ГЛАЗ. Книга 2. ОЖИДАЮЩИЙ НА ПЕРЕКРЕСТКАХ

БЕЗДНА ГОЛОДНЫХ ГЛАЗ. Книга 3. ВИТРАЖИ ПАТРИАРХОВ

ГЕРОЙ ДОЛЖЕН БЫТЬ ОДИН

ГРОЗА В БЕЗНАЧАЛЬЕ

ДАЙТЕ ИМ УМЕРЕТЬ

ИДИ КУДА ХОЧЕШЬ

МАГ В ЗАКОНЕ. Книга. 1. ДА БУДЕТ ПУТЬ ИХ ТЕМЕН И СКОЛЬЗОК...

МАГ В ЗАКОНЕ. Книга. 2. И ГРЕХ МОЙ ВСЕГДА ПРЕДО МНОЮ...

МЕССИЯ ОЧИЩАЕТ ДИСК

НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ. Книга 1. АРМАГЕДДОН БЫЛ ВЧЕРА

НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ. Книга 2. КРОВЬ ПЬЮТ РУКАМИ

(в соавторстве с А. Валентиновым)

НОПЭРАПОН, ИЛИ ПО ОБРАЗУ И ПОДОБИЮ

ПАСЫНКИ ВОСЬМОЙ ЗАПОВЕДИ

ОДИССЕЙ, СЫН ЛАЭРТА. Книга 1. ЧЕЛОВЕК НОМОСА

ОДИССЕЙ, СЫН ЛАЭРТА. Книга 2. ЧЕЛОВЕК КОСМОСА

ПУТЬ МЕЧА

РУБЕЖ. Книга 1. ЗИМОЮ СИРОТЫ В ЦЕНЕ

РУБЕЖ. Книга 2. ВРЕМЯ НАРУШАТЬ ЗАПРЕТЫ

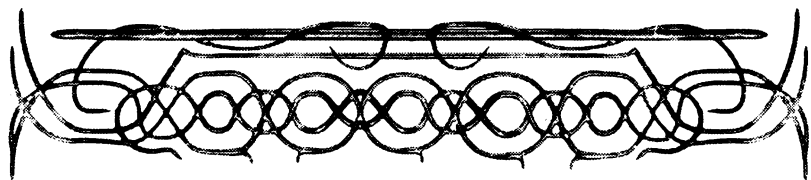
(в соавторстве с А. Валентиновым, М. и С. Дяченко)

СЕТЬ ДЛЯ МИРОДЕРЖЦЕВ

Я ВОЗЬМУ САМ

Нашему читателю

Олди + Гром = H.L. Oddie



ГЕНРИ ЛАЙОН ОЛДИ

**ОДИССЕЙ,
СЫН ЛАЭРТА**

Книга первая

ЧЕЛОВЕК ИНОСЯ

ЭКСМО-ПРЕСС

2000

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4
О 53

Разработка серийного оформления *Anry* и *Н. Симкина*

Олди Г. Л.
О 53 **Одиссей, сын Лаэрта. Книга 1. Человек Номоса:**
Роман. — М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2000.— 416 с. (Серия
«Нить времен»).

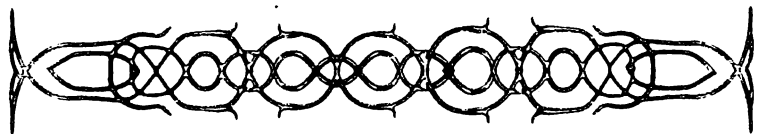
ISBN 5-04-005366-5

Я, Одиссей, сын Лаэрта-Садовника и Антиклей, лучшей из матерей. Внук Автолика Гермесиды, по сей день щедро осыпанного хвалой и хулой, — и Аркесия-островитянина, забытого едва ли не сразу после его смерти. Правнук молнии и кадуцея. Владыка Итаки, груди соленого камня на самых задворках Ионического моря. Муж заплаканной женщины, что спит сейчас в тишине за спиной; отец младенца, ворочающегося в колыбели. Герой Одиссей. Хитрец Одиссей. Я! я... Вон их сколько, этих «я». И все хотят вернуться. Еще никуда не уехав, они уже хотят вернуться. Так может ли случиться иначе?!

УДК 882
ББК 84(2Рос-Рус)6-4

ISBN 5-04-005366-5

© Олди Г. Л., 2000
© Оформление. ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс», 2000
© Иллюстрации. 2000



...Муж, преисполненный козней
различных и мудрых советов.

(Илиада. III, 202).

Когда я вернусь — ты не смейся! —
когда я вернусь...

А. Галич



е сравнивайте жизнь со смертью, песнь с плачем, вдох с выдохом и человека с божеством — иначе быть вам тогда подобным Эдипу Фиванскому, слепому в своей зрячести, отцеубийце и любовнику родной матери, добровольно ушедшему в царство мертвых близ рощи Эвменид, преследующих грешников, ибо непосилен оказался Эдипу груз бытия.

Не сравнивайте жизнь с жизнью, песнь с песней, вдох со вдохом и человека с человеком — иначе быть вам тогда подобным Тиресию-прорицателю, зрячему в своей слепоте, провидцу света будущего, обреченному на блуждание во мраке настоящего, чья смерть пришла в изгнании и бегстве, близ Тильфусского источника, ибо пережил Тиресий время свое.

Не сравнивайте жизнь с плачем, песнь с божеством, смерть с выдохом и вдох с человеком — иначе быть вам тогда подобным солнечному титану Гелиосу-всевидцу, кому ведомо все под меднокованным куполом небес, но чей путь от восхода к закату, день за днем и год за годом, неизбежней и неизменной грустного жребия хитреца-богообманщика Сизифа: от подножия к вершине, а после от вершины к подножию, и так во веки веков.

Не сравнивайте плач со вдохом, жизнь с песней, выдох с человеком и божество со смертью — иначе быть вам тог-

да подобным дикому циклопу Полифему-одноглазу, пожирателю плоти, но кол уже заострен, дымится древесина, обжигаясь на огне, и стоит на пороге вечная слепота, когда поздно будет ощупывать руками многочисленных баранов своих.

Не сравнивайте ничего с ничем — и быть вам тогда подобным самому себе, ибо вас тоже ни с чем не сравнят.

А иначе были вы — все равно что не были...

ИТАКА

Западный склон горы Этос: дворцовая терраса (Кифаредический ном)¹

Факел, ночь, последнее объятье,
За порогом дикий вопль судьбы...

А. Ахматова

Я вернусь.
Слышите?..

Они не верят. Никто. Деревья за перилами — каждым листом, каждой каплей ночной росы на этом листе. Птицы на ветвях — каждым озябшим перышком. Небо над птицами — наимельчайшей искоркой во тьме. Не верят. Небо, звезды, птицы, деревья. Море бьется о скалы — не верит. Скалы безмолвно смеются над морем — не верят. Я не осуждаю их. Есть ли у меня право на осуждение, если я и сам-то не верю?

Я знаю.

Я вернусь.

Я, Одиссей, сын Лаэрта-Садовника и Антиклеи, лучшей из матерей. Одиссей, внук Автолика Гермесиды, по сей день щедро осыпанного хвалой и хулой, — и Аркесия-островитянина, забытого едва ли не сразу после его смерти. Одиссей, владыка Итаки, груды соленого камня на самых задворках Ионического моря. Муж заплаканной

¹ Кифаредический ном — повествование, сопровождаемое игрой на кифаре.

женщины, что спит сейчас в тишине за спиной; отец младенца, ворочающегося в колыбели. Герой Одиссей. Хитрец Одиссей. Я! я...

Вон их сколько, этих «я». И все хотят вернуться. Еще никуда не уехав, они уже хотят вернуться. Так может ли случиться иначе?!

Нет.

Не может.

...Над западными утесами болтается неприкаянная звезда. Все остальные звезды оставили ее, бросили на произвол судьбы во тьме полуночи, и зеленый глаз отчаянно подмигивает мне: эй! тля-однодневка! видишь ли?! Вижу. Подмигиваю в ответ. Вино в чаше кислое, пенистое; сегодня я пью свое вино, дар бедных итакийских виноградарей, хотя в подвалах пылятся амфоры, достойные вожделения записных пьяниц из Дионисовой свиты. Пусть их пылятся... Хмель бродит вокруг, не решаясь приблизиться, обнять, закружить голову. Я вообще плохо умею пьянеть. Я ничего не умею хорошо, кроме как возвращаться.

Наверное, страшно выяснить на девятнадцатом году жизни, что ты — в сущности, скучный человек. Что рад знакомым камням, козам, жене и сыну, пренебрегая вечным — славой, например. Оставьте меня в покое и забирайте себе всю славу, какую отыщете от снежной Гипербореи до Островов Заката! Смеетесь? Отказываетесь?! Хотите поделиться со мной солнечными блестками?..

Делитесь.

Только после не жалуйтесь, потому что я вернусь. Не знаю, вернетесь ли вы, не знаю, будете ли счастливы своим возвращением — я знаю другое.

Перила холодны под пальцами.

Я вернусь.

Берег со стороны бухты взрывается раскатами хохота. Множество луженых глоток изрыгают счастье быть живым, счастье предвкушать завтрашний день, который (о, несомненно!) будет удачней сегодняшнего и уж наверняка трижды удачней вчерашнего.

— Тысячу! Я убью тысячу врагов!.. я! убью!..

Это мой шурин Эврилох. Шальной Эврилох, буян и забияка, с кем я дрался в детстве за право убить Лернейскую гидру. Гидра шипела в корзинке — пять желтоголовых ужей, пойманных в расщелине; гидра шипела, а мы катались с Эврилохом по траве, напрягая мальчишеские тела, пока мне не стало скучно.

— Я Геракл! — Он вдавил мои лопатки в жухлую зелень, вскочил и принялся плясать, размахивая самодельным дротиком. — Я Геракл! Истребитель Чудовищ!

Я лежал и смотрел в небо. Он был Геракл, а мне было скучно. Нет, иначе: мне *стало* скучно. Поперек детской потасовки; в середине игры. Со мной так случалось и раньше. Говорят, я родился слабоумным; говорят, я прогневал богов, но они вняли родительским мольбам и вернули мне рассудок. Рассудок, который временами превращался в холодное, безжалостное лезвие, отсекающее все лишнее.

Например, гидру — пять бессмысленных ужей.

— Я Геракл! — Эврилох наконец обратил на меня внимание, подумал и смилостивился. — А ты... ты... Хочешь, ты будешь Персеем? Сначала я убью гидру, а потом мы пойдем на берег, и ты убьешь Медузу?

— Не хочу, — я действительно не хотел. — Персеем не хочу. Я буду гидрой. И ты меня убьешь. Ладно?

Эврилох долго молчал. А потом бросил дротик и с ревом убежал домой. И вот сейчас, спустя тринадцать лет, он горланит из ночной прохлады:

— Тысячу! Я убью тысячу врагов!.. я! убью!..

Наверное, ему просто нравится слово «тысяча». Оно окрашено в царский пурпур, это слово, оно сияет золотом. «Тысячу воинов в шлемах из бронзы поверг он, влекомый отвагой!» — аэды будут славить подвиги Эврилоха, исходя слюной вдохновения. Если убивать по врагу в день... Нет, три года — это слишком долго. Пускай убивает каждый день по три, пять, десять врагов!

Тогда я вернусь быстрее.

Двенадцать кораблей ждут рассвета. Рассвета, попутного ветра, туго натянутых парусов или, на худой конец, дружных взмахов веслами. Каждая скорлупка готова вместить полусотню вот таких неугомонных Эврилохов — всех вместе, на круг, едва ли не вдвое меньше, чем собирается

убить мой друг детства. Наверное, надо мной будут смеяться, когда мы доберемся до Авлиды — места общего сбора. Наверняка будут. По слухам, только я да Аякс-Большой предводительствуем жалкой дюжиной судов. Только моя Итака и его Саламин являют миру свое ничтожество.

Пусть смеются.

А я засмеюсь вместе со всеми. Нет! — я засмеюсь громче всех, хлопая себя по ляжкам, сгибаясь в три погибели, и предложу сосчитать: если каждый мой Эврилох убьет по тысяче врагов, то хватит ли у троянцев жертв на всех остальных, смехолюбивых и медношеих героев?

Они будут считать, забыв о веселье; они будут шевелить губами и морщить лбы, загибать пальцы и многозначительно хмурить брови, а потом все забудется само собой.

Я всегда умел отвечать быстро и обидно.

Порок? достоинство? кто знает?!

Полагаю, в этот момент мелкой, дрянной победы мне станет скучно. Наверняка станет. Я дождусь, когда их глаза перестанет затягивать поволока недоумения, когда одни начнут командовать, другие — подчиняться, а третьи примутся добросовестно мешать и тем, и другим; я отойду в сторонку, присяду на корточки и буду долго смотреть на людей, собравшихся многотысячной толпой для единственной цели — самоубийства.

— Я убью тысячу врагов!.. — оглушающим беззвучием повиснет над морем голов. — Я!.. тысячу!..

Срезанные колосья — вот вы кто. Клыки дракона уже упали в борозду, пустили корни, пробились ростками, и вот вы все поднялись из-под земли чудовищным урожаем: в броне, ошетилившись жалами копий, до краев налитые соками жизни. Но серп наточен, и жнецы выстроились на краю богатой нивы. Я с вами, братья мои, я один из вас, колос меж колосьев, только вы полагаете, будто уезжаете, а я знаю, что возвращаюсь.

Я вернусь.

Мне просто очень не хочется в одиночестве качаться на ветру, на черных просторах опустелой нивы; не хочется, но если даже и так, я согласен.

Последний глоток отдает тоской. Кислой, слегка терпкой тоской — и еще уверенностью, что я неправильно провожу последнюю ночь дома. Эта уверенность мерзко скрипит, песком на зубах, разошедшей дверью, острием стилоса по вощенной табличке; мне кажется, где-то там, в черной ночи, хитрый аэд-невидимка записывает каждый мой вдох и каждый выдох, отдающий хмельной кислятиной. Что ты пишешь, аэд? о чем? зачем?! Ты же не знаешь обо мне ровным счетом ничего! ничегошеньки!.. в твоих рассказах у меня вырастет кудлатая бородища, насквозь прошитая сединой, по лбу разбегутся борозды морщин, а левый глаз прищурится то ли лукаво, то ли просто из-за шрама на скуле! Аэд, ты будешь врать и скрипеть, скрипеть и врать, покрывая меня коростой лет и струпиями мудрости, словно нищего у рыночных ворот — чтобы у слушателей раскрывались рты от изумления, чтобы тебе в миску падали не обглоданные кости, а жирные куски свинины, чтобы тебе дали хорошенько отхлебнуть из пиршественного кратера, а потом дали отхлебнуть еще разок...

Или ты скрипишь вовсе не ради этого?

Тогда — ради чего? И ради чего скриплю я — скучный человек девятнадцати лет от роду, герой поневоле, более всего желающий, дабы его оставили в покое, и знающий, что это желание неосуществимо? Беззвучный хохот царит над миром, надо мной, над всеми моими мечтами и всей моей реальностью; когда я узнаю имя весельчака — реальность неожиданно станет мечтой. Многоопытному мужу, преисполненному козней различных и мудрых советов, не так уж страшно встречаться со смертью, с Танатом-Железносердым, единственным из богов, кому противны жертвы; многоопытному мужу вполне пристало быть убийцей или убитым, обманщиком или обманутым, но если плащ твоей юности еще не истрепан ветрами...

Ветер ерошит мне волосы.

Я вернусь.

— Радуйся, милый!.. это я...

Это тишина за спиной. Перестал ворочаться мой сын, засопел с беззвучным блаженством; дремотный всхлип жены растворился во мраке, умолкли птицы на ветвях, затаилось море внизу, раскаты хохота стекли по гальке в со-

ленную пену прибоя; и воцарившаяся тишина ласково шепнула мне:

— Радуйся, милый!.. это я...

Я не ответил.

А что, собственно, нужно было ответить?

Прошуршали легкие, невесомые шаги. Две ладони легли мне на плечи, помедлили, взъерошили волосы на затылке, как делал это мгновением раньше бродяга-ветер (или тогда тоже был не он?..); мягкая, полная грудь прижалась к моей спине, не торопясь отпрянуть.

Всегда любил полногрудых.

Как папа.

— Я не ожидал, что ты придешь.

А что я должен был сказать ей? «Я не ожидал, что ты осмелишься прийти»?! «Посмеешь явиться в мой дом накануне отплытия, накануне прощания, встать между мной и моей женой, между мной и колыбелью, между прошлым и будущим, на хрупкой и почти несуществующей границе настоящего»?!

Или вместо всего этого, даже в невысказанности своей, даже в мыслях опасного куда больше, чем острие кинжала у затылочной ямки, надо было просто сказать главное — то, чего она еще не знает и чему не поверит:

«Я вернусь»?

Все-таки в любовницах, подобных ей, есть множество достоинств. Не проснется жена, не заплачет младенец, требуя своей доли внимания в самый ответственный момент; не войдет дура-служанка, и даже дождь начнется только тогда, когда вам обоим захочется послушать лепет капли у подоконника.

Один недостаток: она приходит, когда захочет, и уходит, когда захочет.

Но ведь это пустяки, не правда ли?

— Ты самый лучший, милый... самый лучший...

— Ничего подобного, — сперва я раздумывал: потянуться за вином, рискуя обидеть, или откинуться назад, утонув затылком в мягком тепле? Ладно, вино обождет. — Диомед из Аргоса лучше меня на копьях; славный малыш Лигерон — на мечях... и вообще. Аякс-Большой выше на

целый локоть; Аякс-Малый быстрее бегаёт. Калхант умеет прорицать, Махаон-триккиец умеет лечить, старик Нестор умеет прикидываться мудрецом; я не умею ни того, ни другого, ни третьего. Патрокл красавчик, а я не красавчик. У меня нос сломан. Мой папа умный, а я нет. Хочешь, я познакомлю тебя с папой?

Вообще-то отца сейчас на Итаке нет. Наверное, именно поэтому она — здесь. Смогла, отыскала...

— Ты дурачок...

Ну вот, теперь куда больше похоже на правду.

— Дурачок... я и сама не знаю, за что тебя люблю.

— Тоже мне загадка Сфинкса...

— А ты знаешь разгадку?

— Конечно. Я рыжий, коренастый, сумасшедший и слегка хромаю. А ещё я очень хитрый.

Слово сказано. Загадка разгадана, теперь остается лишь ждать: растерзает Сфинкс безумца или нет? Ладони на моих плечах тяжелеют, наливаются — нет, не теплом, жаром! — и тишина за спиной беременна подземным гулом землетрясения.

Я действительно рыжий, коренастый и сумасшедший. Я слегка хромаю. Мы все были такие. Лемносский Кузнец, кровный родич, однажды взявший ее силой; фригийский сатир Марсий, пьяница и флейтист, собственной шкурой поплатившийся за самоуверенность; калидонец Тидей-Нечестивец, на ее глазах выпивший мозг своего врага, тем самым отказавшись от спасения; и вот теперь — я.

Ее любовники.

Сейчас она молчит. Ждет. Думает. Случайно ли я сказал то, что сказал — и что я хотел сказать на самом деле? Особенно последней фразой: «А ещё я очень хитрый...»

— Я тебя люблю...

— Я тоже тебя люблю.

Вот и все. Мы оба сказали правду. Наилучшую из правд — не всю. Мы любим друг друга. Почему бы и нет? Мы оба едем на войну. Почему бы и нет?

Мы оба знаем, что вернемся обратно.

Почему бы и нет?!

Наша любовь была звездопадом. Лавиной в горах она была, буйством стихий, штормом в открытом море. Вечным восторгом; вакханалией для двоих. Все наши ночи я помню телом, душой, трепетом ресниц, дрожью пальцев; с женой у меня никогда не было так. С женой было иначе. Тихо, спокойно; обыденно. Плеском волн, нехитрым щебетом иволги, шорохом осени, когда листья опадают на усыпанную песком тропинку в саду. Сиюминутная вечность, не умеющая говорить о любви вслух. Первый выкидыш, рождение сына, пряжа, властная свекровь, варенье из кизила...

Я вернусь.

— Не сердись, милый... Я же говорила: тебя не оставят в покое. Если бы там, на Парнасе, ты послушался меня, вместо того чтобы с раценой ногой нестись сломя голову в Микены!.. потом это дурацкое посольство...

Она права.

Меня не оставили в покое.

Меня бы не оставили в покое, даже если на Парнасе, залечивая рану, я бы послушался ее и залег на дно.

Со дна подняли бы; вместе с илом и донной мутью.

* * *

...он выхватил моего сына из колыбели. Я сидел у окна талама¹, раскачиваясь и тупо мыча свадебный гимн, а Паламед-эвбеец шагнул с порога прямо к колыбели, и вот: на сгибе левой руки он держит пускающего пузыри Телемаха, а в правой у него — меч. Ребенок засмеялся, потянулся к блестящей игрушке. Паламед засмеялся тоже:

— Выбирай, друг мой. Хочешь остаться? — отлично. Останешься сыноубийцей. Как твой любимый Геракл. Я спущусь вниз один и скажу всем, стенам: «Одиссей-безумец не едет на войну. Он слишком занят похоронами сына, которо-

¹ Талам (аналог. терем) — часть женских покоев (гинекея); как правило, располагался в верхних этажах задней части дома: меньше встреч с посторонними и в случае нападения легче оборонять.

го зарезал до моего прихода». Мне поверят; ты сам слишком постарался, чтобы мне поверили.

Я допел свадебный гимн до конца.

— Оставь ребенка в покое, — сказал я после, вставая со скамьи. — Пойдем. Я еду на войну.

Тогда я еще не знал, что умница-Паламед приехал не один. Оба Атрида¹ ждали во дворе, с ног до головы увешанные оружием и золотыми побрякушками; и еще Нестор — этот, как всегда на людях, кряхтел и кашлял, притворяясь согбенным старцем; и еще какие-то гости, которых я не знал.

Они беседовали с моей женой и не сразу заметили нас.

— Я спас тебе жизнь, — тихо шепнул Паламед, пропуская меня вперед. — Останься ты дома, хоть безумный, хоть нет, и жизнь твоя будет стоить дешевле оливковой косточки. День, два... может, неделя. И все. Удар молнии, неизлечимая болезнь... землетрясение, наконец. Надеюсь, Одиссей, ты понял меня.

— Я понял тебя, — без выражения ответил я.

— Теперь ты будешь меня ненавидеть?

— Нет. Я буду тебя любить. Как раньше. Я умею только любить.

— Наверное, ты действительно сумасшедший, — вздохнул Паламед.

Я не стал ему ничего говорить. Он просто не знал, что такое — любовь. Настоящая любовь.

* * *

— Ты задумался, милый? О чем?

— О своей печени. В которую рано или поздно ткнет копьём проворный троянец. Я буду лежать на берегу Скамандра, и твоя рука невидимо для живых утрет мне смертный пот со лба. Как ты думаешь, может, мне стоило бы заранее составить песню об этом? Иначе с площадных гор-

¹ Атриды — имеются в виду сыновья Атрея: братья Агамемнон и Менелай, правители Микен и Спарты.

лохватов станется все перевернуть... Пылью власы его густо покрылись; скорбели герои над мужем, память о коем останется жить, пережив его бренное тело...

И тут она расплакалась.

Вскочив, я принялся неуклюже утешать ее; нет, какая все-таки я скотина! — ведь знаю, чем она рискует, явившись сюда, ко мне, в ночь перед отплытием!.. губами ловил капли, струившиеся из ослепительно-синих глаз, бормотал глупые слова оправданий, гладил русые волосы, стянутые на затылке тугим узлом; потом долго стоял молча, крепко прижав ее к себе...

Вспомнилось невпопад: с женой мы сегодня не любили друг друга. Все кругом рассказывают, как жены в последнюю ночь крепко любят своих мужей, уходящих на войну, — а у нас не сложилось. Сперва Пенелопа укладывала спать ребенка, не доверяя нянькам (или просто боясь разрыдаться по-настоящему), затем мы молчали, сидя рядом на ложе.

Все у меня не так, как у людей.

— Ну что ты, что ты, маленькая... брось, не надо...

Прав был Паламед: я действительно сумасшедший. Вот уж сказал, так сказал. Ма-аленькая... А что делать, если других слов не нашлось?

— Тысячу!.. я убью тысячу воинов!.. я...

Интересно, тот троянец, чье копье жаждет вкусить моей печени, тоже кричит сейчас об этом? а, пусть его кричит.

Он же не знает, что я вернусь.

...когда она ушла — вот только стояла у перил, глядя на зеленую звезду, и уже ее нет, лишь ветер, ночь и ропот прибора — я налил себе еще вина.

Осталось мало времени.

До рассвета всего ничего; до рассвета я должен научиться возвращаться.

Я, Одиссей, сын Лаэрта-Садовника и Антиклеи, лучшей из матерей. Одиссей, внук Автолика Гермесиды, по сей день щедро осыпанного хвалой и хулой, — и Аркесия-

островитянина, забытого едва ли не сразу после его смерти. Одиссей, владыка Итаки, груды соленого камня на самых задворках Ионического моря. Муж заплаканной женщины, что спит сейчас в тишине за спиной; отец младенца, ворочающегося в колыбели. Любовник той, чье имя лучше не помянуть всеу. Герой Одиссей. Хитрец Одиссей. Я! я...

Крыса, загнанная в угол — вот кто я. Вы все — боги и герои, тучегонители громокипящие и цари пространно-властительные, надежды и чаяния; а я — крыса в углу. Обремененная норой и крысятами, страхом и бессмысленным оскалом.

Никогда не загоняйте крысу в угол.

Не надо.

Иначе Лернейская Гидра может показаться вам милой шуткой на день рождения:

Память, моя память! — сейчас ты единственное, что мне подвластно. Все остальное отняли, дав взамен свободы предназначение. Я плыву по твоему морю вспять, о моя память, я торопливо вспениваю веслами былой простор, где есть место своим Сиренам и циклопам, Сциллам и Харибдам, дарам и утратам, островам блаженства и безднам отчаяния.

Я возвращаюсь.

...Я вернусь.

ПЕСНЬ ПЕРВАЯ

ВЗРОСЛЫЕ ДЕТСКИЕ ИГРЫ

Лица морщинистого черт
В уме не стерли вихри жизни.
Тебя приветствую, Лаэрт,
В твоей задумчивой отчизне.

И сладко мне, и больно мне
Сидеть с тобой на козьей шкуре.
Я верю — боги в тишине,
А не в смятенье и не в буре...

Н. Гумилев

СТРОФА¹-I

ПОДАРОК МЕРТВЕЦА



олдень карабкался в зенит. Подступала та самая невыносимая пора, когда жизнь стремится забиться в тень, спасаясь от палящих лучей Гелиоса, а дядя Алким говорит, что про Икара, небось, все врут; если б он и вправду скреплял свои крылья воском, то никуда бы не полетел, а даже и полетел бы — так невысоко: воск бы сразу растаял, на такой-то жарнице!

Отделался бы Икар парой синяков.

Над островом струился пряно-горьковатый аромат чабреца и дикого овса. Наверное, это они, травы, так потеют. Запахами. Небо выгорало дотла, становясь белесым, и смотреть на него было больно — даже если сильно щуриться, приставляя ко лбу ладошку. Да и толку на него смотреть, на небо-то? Разве что в надежде разглядеть спасительное облачко, которое хоть ненадолго закроет лик пышущего жаром божества? Зря вы это, уважаемые, и не надейтесь — после явления над ночным небокраем Орио-

¹ Песнь делилась на СТРӨФЫ и АНТИСТРӨФЫ (отдельные повествования), чередующиеся между собой. Завершалась песнь заключением — ЭПОДОМ.

нова Пса¹, звезды вредоносной, не бывать днем спасительным облакам!

Лениво щипали жухлую траву привычные ко всему козы. Пастухи-козопасы забрались в шалаши, вполглаза приглядывая оттуда за своими подопечными; даже птицы смолкли — и только громкий стрекот цикад разносился кругом. Да еще ворчал в отдалении никогда не смолкающий шум прибоя, жалуясь на вечность.

Впрочем, нет — вот еще чьи-то голоса:

— ...Не по правилам! Стены не ломают! Надо идти в ворота...

— Сам иди в свои ворота! Там твои воины! Вон сколько! А я тебя обманул! Я сзади обошел; и стенку поломал... Сдавайся!

Огненно-рыжий малыш в подтверждение сказанного обрушивает еще две-три жердочки в аккуратной изгороди. Игрушечный «город», с таким старанием выстроенный его «противником», становится вовсе беззащитным.

Заходите, люди добрые, берите что хотите!

— Фигушки!.. — ворчит белобрысый «противник», сверстник рыжего. — Стенку нельзя сломать! Она каменная.

— А вот и не каменная!

— А вот и каменная! Ее ручной циклоп строил... Когда ломают, грохоту — трах-бабах! Мои бы услышали. И прибежали!

— А вот и не услышали! А вот и не прибежали! Твои все у ворот окаменели! — Рыжий (в придачу он еще и курчав, как аркадский барашек!) тычет пальцем в дюжину ярко раскрашенных фигурок из липы: стражу городских ворот.

— Фигушки! — не сдается белобрысый, украдкой вытирая слезу, недостойную героя-полководца. — Ты зачем мою стенку пальцем ломал? Не по правилам! Боги не воюют!

Упрек попал в самую точку. Рыжий на мгновение смущенно потупился. Сунул в нос палец, которым не по пра-

¹ Имеется в виду Сириус, чье появление над горизонтом приходилось на середину лета — самый засушливый период.

вилам ломал циклопические стены, словно надеясь выковырять нужный ответ, и тут же просиял:

— А это не боги! За меня — Геракл! Он, знаешь, какой? Он ого-го какой! Как гора! Ему твою стенку сломать...

Неожиданно рыжий умолкает, не окончив пламенной речи о величии Геракла. Оборачивается, исподлобья глядя снизу вверх — как если бы к нему подошел кто-то из взрослых, окликнув по имени. Глядеть снизу вверх больно: там небо. Небо и солнце. Но он все равно глядит, этот рыжий упрямец.

— Геракл за обманщиков не воюет! Он хороший, он только с чудовищами... — Белобрысый тоже умолкает. С недоумением смотрит на приятеля. — Эй, ты чего? чего ты?!

— ...ты же видишь, мы играем! — пропустив мимо ушей вопрос белобрысого, заявляет рыжий куда-то в пространство; заявляет совершенно другим тоном, чем тот, каким он минутой раньше спорил с приятелем.

Так говорят с приставучими и непонятливыми взрослыми, которым, к сожалению, нельзя сказать просто: «Отстань!»

— ...дядя, я не умею. Чего? Строить не умею... этот... кентафер твой! А ты сам попроси. Ментора папу попроси, дядю Алкима. Он все знает! Ладно? — Рыжему очень хочется поскорее вернуться к прерванной игре, но отделаться от загадочного собеседника, похоже, не так-то просто.

— Одиссей! Ментор! Одиссей! Где вы?!

— Мы здесь, тетя Эвриклея! — спешит подать голос приятель рыжего. Кажется, он доволен явлением знакомой «тети»: поведение друга страшит его, хотя малыш никогда и никому не признался бы в этом вслух.

— Басилей¹ Лаэрт призывает своего сына! И ты, Ментор, тоже иди... Да где же вы прячетесь?

Голос быстро приближается.

¹ Басилей — обычно переводится как «царь». Правильнее — вождь, иногда — наместник. Может быть сравним со средневековым графом или герцогом.

Вскоре из-за деревьев сада — о, сад базилея Лаэрта прославлен далеко за пределами Итаки! — появляется его обладательница: статная женщина лет двадцати пяти. Строгий, без блестящей мишуры, гиматий песочного цвета; на ногах — сандалии из мягкой кожи, с крохотными бубенчиками около завязок. На шее мерцает теплым светом единственная нить сердоликовых бус (камни подобраны один к одному, со знанием дела). Иссиня-черные волосы уложены на затылке хитрой раковиной, по неведомой заморской моде (на острове таких причесок больше никто не носит), и скреплены серебряной заколкой. Стройная фигура, полная грудь, еще более подчеркнутая высоко повязанным поясом...

Впрочем, мальчишкам, конечно же, до фигуры женщины нет никакого дела. А до ее груди дело было лишь у одного, и то это славное дело закончилось давным-давно. Зато оба прекрасно знают другое: Гераклу не успеть окончательно доломать стенку. Потому что за полководцами, а может быть, даже за двумя бессмертными богами, явилась тетя Эвриклея — приставленная к рыжему обманщику Одиссею няня (она же в прошлом кормилица), рабыня базилея Лаэрта. Правда, ни видом своим, ни поведением тетя Эвриклея на рабыню отнюдь не походит; но рабы и рабыни на Итаке, в особенности же — личные рабы базилея Лаэрта, прозванного в глаза Садовником, а за глаза... Понимаете, это разговор особый. Можно сказать, совсем особый разговор. А сейчас из всего этого наипособенного разговора ясно главное: хочешь — не хочешь, а придется игру заканчивать и идти во дворец.

Жалко.

Дворец — это дворец, не в пример скучней.

Но игра уже все равно испорчена, так что приятели со вздохом поднимаются, уныло натягивают сброшенные ранее хитончики и следуют за Эвриклеей через сад по одной из знакомых дорожек. Мимо серебристых олив, мимо яблонь самых разнообразных сортов (есть здесь и две *тайные* яблоньки, но они растут в дальнем, специально отгороженном углу сада, где всегда начеку суровые стражи и куда мальчишек не пускают, будь ты хоть трижды сыном

басилея!); мимо груш и гранатовых деревьев, смоковниц и... нет, не упомянуть, как все эти диковинки называются — слишком много тут растет всякого-разного!

— Няня? Няня, а что такое... кентафер?

Это рыжий Одиссей. Молчал, молчал, да и спросил.

— Кентавр? — У няни легкий, едва уловимый акцент: она картавит. — Ты разве не знаешь, маленький хозяин? Наполовину человек, наполовину конь...

— Не-е, не кентавр! Про кентавра я сам знаю! Этот... кен... кентафер!.. нет, кенотафер! Который строят!

Эвриклея едва не споткнулась, но сумела взять себя в руки.

— Кенотаф, маленький хозяин. Кенотаф — это такая гробница. Могила. Только... ну, как бы ненастоящая. Понимаешь, внутри нее никого нет. Если человек погиб на чужбине, или утонул в море, или пропал без вести... В общем, если его не смогли похоронить как полагается, то ему строят кенотаф. Посмертный дом.

— А зачем? Ему не все равно — мертвому?

В голосе мальчишки звучало самое обычное детское любопытство. Ничего более. Ведь действительно странно: зачем мертвому дом? «Странно другое: с чего бы это невинный ребенок задавался такими вопросами?» — подумала няня.

Но тем не менее ответила:

— Не все равно, маленький хозяин. Если человека не похоронить как полагается, без жертв и обрядов — душа его не сможет попасть в Аид. Так и будет скитаться, неприкаянная, по земле.

— Бедная... Няня, а что, в Аиде лучше?

Эвриклея все-таки споткнулась.

— Не знаю.

— А кто знает?

— Никто из смертных не знает. Это ведомо только богам. Но душа человека должна попадать в Аид, в царство мертвых. На земле ей не место. Для того и строят кенотаф.

— А-а-а, — понимающе протянул Одиссей. — Значит, дядька просто мертвенький был...

Эвриклея с тревогой взглянула на рыжего мальчишку. Но тот беззаботно шагал рядом по дорожке, уже утратив всякий интерес к скользкой теме.

Вот, на одной ножке запрыгал.

— *Какой* дядька, маленький хозяин? — осторожно поинтересовалась няня.

— Он опять с никем разговаривал, — не преминул на-ябедничать Ментор. Видно, до сих пор не простил рыжему сломанную пальцем-Гераклом стенку.

— Сам ты никто! — окрысился на ябеду Одиссей. — Дядька как дядька. Бородатый. В доспехе. Только без шлема; и меч потерял, разиня... Я ж не знал, что он мертвый! Приставучка: бросай играть, строй ему кенотафёр! Няня, а могила эта — она невзаправдашня? Раз там пусто?

— Да, маленький хозяин, — голос няни дрогнул, и выпуклые, темные глаза ее подозрительно заблестели.

Но мальчик не обратил на это внимания:

— Ладно, построю ему... Маленький. Как мы с Ментором город строили. Невзаправдашний. Пусть только расскажет, как правильно. Построю, он тогда отстанет. Зануда он...

Эвриклея шла по дорожке, плотно сжав губы, и с трудом удерживала подступавшие к горлу рыдания.

* * *

...Память ты, моя память...

Так бывает: возвращаясь, мы ждем одного, а находим совсем другое. Не лучшее или худшее, а просто другое. Неожданное. Родное, и в то же время незнакомое. И деревья оказались ниже, и голоса — глуше... другие места, другие люди. Наверняка в столь нежном возрасте я был другим: менее связно говорил, иначе выглядел, иначе вел себя. Ментор — он вообще ничего такого не помнит. Говорит, в тот день мы вовсе не виделись, потому что он посадил ужа в горшок с молоком, молоко скисло, и его в наказание заперли дома.

Станный ты корабль — память. Особенно детская па-

мать. Иногда ты возвращаешь меня в ясность и отчетливость, так что даже по прошествии многих лет кажется, будто все происходило только вчера. Иногда же знакомый берег надолго скрывается в тумане, выступая наружу урывками, огрызками без начала и конца; сны предстают настоящими событиями, а случившееся на самом деле кажется сном.

Конечно, взрослые тоже путают сон с явью, что-то забывают и перевирают — но речь об ином. Детские воспоминания — родина. Место, где тебя любят; где ждут. Есть в них тайная непосредственность, искренность, та невыразимая словами подлинность высшей пробы, что заставляет нас раз за разом прибегать к помощи своего внутреннего Крона, Повелителя Времени. И возвращаться туда, — вернее, в *тогда*, когда краски были ярче, деревья выше, дождь — мокрее, а родной остров казался целым миром.

Номосом.

Теперь-то я хорошо понимаю испуг своей няни, вспоминая навернувшиеся на ее глаза слезы. Еще бы! Ведь, по рассказам, я родился недоношенным, и, как вскоре выяснилось... скажем так: не вполне обычным ребенком. И это она, моя нянюшка Эвриклея, привезенная по заказу отца из Черной Земли за цену двадцати быков (небывалая цена для рабыни!), — именно она выходила меня, выкормила, в прямом смысле поставила на ноги! Басилей Лазерт знал, что делал, когда платил несусветную цену за заморскую рабыню из рода потомков Пеана, божества врачевания.

И тут — такой удар...

— *Боги, за что караете?!*

По крайней мере, так думала няня.

Я же думал иначе. И тогда, и сейчас.

Впрочем, тот день мне запомнился частично — хотя это был один из самых ярких лоскутов прошлого, доставшихся в наследство. Как играли в штурм города — помню; как мешал мне зануда-покойник, желая немедленно отправиться в Аид, — тоже помню. А вот как мы пришли во

дворец отца... ах, какой там дворец! особенно после дворцов в Микенах, Аргосе и Трое! дом себе и дом, получше, конечно, чем у других — басилей все-таки! — но я не представлял себе дворца выше и краше...

Короче, не помню, и все тут.

Отрезало.

И какой хитон на меня надели, тоже не помню. Парадный, конечно, новый, из сундука, а вот какой? Сандалии запомнились: красненькие крепиды, с бортиками и задником, украшенным золотыми бляшками-щитами. А хитон — хоть убей, не помню!

Дался он мне, этот хитон, гарпии его заберут?! Все, проплыли. Дальше тоже обрывками встает: речь эта длинная, мама плачет, отец хмурится...

* * *

Во дворцовом мегароне¹ ярко горели факелы — все сразу, сколько их ни было на стенах! Такого рыжий мальчишка ни разу не помнил за свою короткую жизнь. И вообще: почему бы не собраться снаружи, во двореке, если день? ну и что, что жара?!

Здесь-то еще жарче...

Маму он даже не сразу узнал: на ней был незнакомый темно-коричневый пеплос, и мама, не стесняясь, плакала, закрыв лицо руками.

Мальчика подвели к отцу, и отец положил на плечо сыну свою крепкую жилистую руку. Сжал, не рассчитав силы: мальчишку едва не перекосило. Но он не захныкал, сдержался. Пусть женщины нюни распускают, а он, Одиссей, — мужчина. Хотя дядя Алким говорит, что и мужчинам иногда плакать не стыдно, особенно если большое горе; и слова из разных песен приводит, где герои то и дело плачут — когда у них друга на войне убили, или жену хотели украсть, а не украли; или еще какая беда. А тут — подумаешь, плечо сжали! Ну, больно.

Потерпим.

¹ Мегарон — главный зал дома.

Однако мальчику становилось не по себе при виде плачущей мамы. И он стал смотреть в зал, где толпилось множество народу. Вон у южной колонны притулился заклятый друг Ментор, рядом со своим папой, итакийским даматом¹ Алкимом; вон сверкают потными лысынами геронты² — многие со взрослыми сыновьями, а кое-кто и с внуками; и еще — люди, люди, люди... Пол-острова сбежалось, не меньше. Хотя вряд ли: мегарон у базилея Лаэрта, конечно, самый большой в мире, но пол-острова сюда не поместится.

А жаль.

До Одиссея не сразу дошло, что какой-то чужой дядька в дорогой хламиде — лазурной, будто море, с золочеными бурунчиками по краю — уже некоторое время обращается к собравшимся с речью. Мальчишка стал его слушать, но все равно почти ничего не понял. Дядька (по виду дамат, а то и базилей из-за моря! или базилейский родич...) читал написанное на длиннющей полосе тонковыделанной кожи, и по мере прочтения сворачивал эту кожу в трубочку, а внизу разворачивал — читать дальше.

Оставалось еще порядочно.

— ...не печальтесь, но радуйтесь! Ибо я, Автолик Гермесид, ухожу с легким сердцем, оставляя жизнь вам, кому она в радость, а не в тягость, как была мне в последние годы. Помяните меня на погребальном пиру, но не лейте напрасных слез — ибо этим вы только опечалили бы мою тень, когда б она по воле бессмертных богов явилась на вашу тризну.

Теперь о праве наследования.

Я, Автолик Гермесид, завещаю стада свои и пастбища, равно как рабов и другое имущество, своей жене Амфитее, а также сыновьям Кимону, Гиппию и Мильтиаду в равных долях. Кроме того, ларцы с микенскими и критскими украшениями я завещаю дочери своей Антиклее, супруге базилея Лаэрта со славного острова Итаки; лук же, получен-

¹ Д а м а т — придворный, чиновник.

² Г е р о н т — старейшина.

ный некогда мною в дар от Ифита-Ойхаллийца, сына Эврита, я, Автолик Гермесид, завещаю внуку своему Одиссею Лаэртиду...

С этого момента речь заморского дамата (или кто он там?!) вновь полилась мимо ушей рыжего мальчишки. Да, разумеется, время от времени он слышал от родителей: где-то в Фокиде (что такое Фокида, мальчик представлял себе слабо, а вернее — никак не представлял) у него есть дедушка. Мамин папа. Дедушку зовут Автолик, он сын бога Гермеса и вообще очень уважаемый человек.

Все, как дедушку вспомнят, так и начинают крутить головами:

— Ах, Автолик! ух, Автолик! ох уж этот Автолик, чтоб ему...

Видимо, всяких благ желают.

Дедушку Одиссей никогда не видел, поэтому известие о его смерти воспринял спокойно. Тем более что дедушка сам просил в послании не плакать о нем, а, наоборот, радоваться! Вот Одиссей и не плачет. Он послушный мальчик. А едва услышал о луке, который ему завещал славный, хороший, добренький дедушка, тут же начал радоваться!

«Интересно, а дедушка написал письмо до того, как умер, или уже после?» — подумалось мельком, но мысль эта мигом вылетела из головы Одиссея. Дедушка Автолик завещал ему лук! Настоящий! Не игрушечный, стрела из которого летит шагов на двадцать, а настоящий боевой лук! Лук героя! Вот стрельну в Ментора, будет знать, как спорить...

Здорово!

Жалко, конечно, что дедушка умер, но — лук! Надо будет поблагодарить при встрече за подарок. А что? Ведь говорил же с ним, Одиссеем, зануда-дядька, просивший выстроить ему ненастоящую могилу?

Тем временем дамат-басилей закончил читать послание дедушки Автолика. Сделал кому-то знак, и двое слуг вынесли вперед длинный ларец из магнолии, украшенный затейливой резьбой. И еще два ларца, поменьше, зато се-

ребряные и с драгоценными камнями на крышках. В камнях весело играло пламя укрепленных на стенах факелов.

Мальчик сразу догадался, что в длинном ларце — его лук, а в ларцах поменьше — украшения для мамы. Вот только мама отчего-то не радовалась, а все равно продолжала плакать. Интересно, она и когда маленькая была, не слушалась своего папу?

Дамат-басилей снова начал говорить, слуги поставили два меньших ларца перед мамой, но мама даже не стала их открывать. А мальчик во все глаза смотрел, как слуги теперь подходят к ним с отцом (к ним!..), как ставят перед ними длинный деревянный ларец (дедушка! милый дедушка!..), как отец не спеша наклоняется, поднимает (а-а-ах!..) крышку...

Лук был здоровенный. Куда выше самого Одиссея. А тетива и два роговых наконечника, к которым она должна была крепиться, лежали отдельно. Но это ничего, решил мальчишка. Он еще успеет натянуть тетиву и пострелять успеет всласть — потому что теперь это *его* лук!

Отец извлек из ларца подарок; осторожно вложил в руки сына.

Лук оказался не только длинным, но и вдобавок тяжелым — мальчик едва сумел удержать его в руках; но все же удержал и с усилием поднял над головой, показывая всем собравшимся.

И — удивительное дело: взметнувшись вверх, лук словно сам потянулся к факельному огню, к потолку, к небу, к невидимому из мегарона солнцу, выдергивая за собой своего нового обладателя, делая рыжего сорванца выше ростом. Ушла тяжесть, исчезло неудобство; казалось, пальцы намертво приросли к дедушкиному подарку — не отдерешь! Все тело было легким и пело, как струна.

Миг торжества?!

Да, наверное...

Собравшиеся в мегароне люди заулыбались, хотя улыбки мало приличествовали серьезности момента. Послышались клики одобрения — «Видно дедову породу! Герой! будущий герой!..»; басилей Лаэрт ласково потрепал сына

по затылку, взъерошив пожар шевелюры. В глазах на мгновение помутилось от золотого сияния, брызнувшего ниоткуда (ну не от волос же?!), а когда зрение вернулось к Одиссею, он увидел незнакомого мальчишку, чуть постарше себя.

Мальчишка стоял в зале, среди всех — но при этом особняком, сам по себе. Никого из взрослых, кто бы мог оказаться его отцом, рядом не было — это маленький Одиссей почувствовал сразу. Не понял, а именно почувствовал. Одежда? внешность? повадка? — нет, ничего такого не запомнилось; но что-то в лице гостя показалось Одиссею странным, и поэтому он долго не отрываясь смотрел на незнакомца, силясь понять: что же в нем странного?

Мальчишка как мальчишка... завидует, наверное...

И правильно делает.

А потом отец аккуратно вынул лук из рук сына (пальцы разжимались с неохотой, а когда все-таки разжались, мир сразу стал обычным) и вернул дедушкин дар обратно в ларец. Рыжий Одиссей хотел спросить, можно ли ему будет натянуть лук и немножко пострелять, но тут отец начал говорить ответную речь, рассказывать всем, каким замечательным человеком был дедушка Автолик, и в конце концов пригласил дорогих гостей на поминальный пир.

Так что Одиссей понял: не время.

* * *

Тогда, на поминальном пиру, я, конечно, не особо прислушивался к разговорам взрослых. Больше глазел на приезжих, хрустел любимым поджаренным миндалем и все пытался подобраться к какому-нибудь кубку или кратеру с вином. Впрочем, последнее мне так и не удалось; бдительность нянюшки Эвриклеи оказалась на высоте. Ну и думал, конечно, о своем замечательном луке. Немного о покойном дедушке. Совсем чуть-чуть о дурацких кенотафах и зануде-дядьке.

Но кое-что из разговоров взрослых все же попадало в мои уши. Сейчас, по прошествии многих лет, могу только пожалеть, что не слушал поминальные речи и здравицы более внимательно.

Было бы легче возвращаться.

— ...смута в Элиде.

— По всему видать — быть новой войне. Сам Геракл войско собирает!

— Герои — они такие. Никак не навоюются. Еще, говорят, Флегры от Гигантомахии не остыли, а уж вся земля в пожарах...

— Послание Автолика-покойника слышали? Эх ведь завернул! И себя зачем-то через слово поминал: «Я, Автолик Гермесид...» Будто мы не знаем!

— Еще и строго-настрого велел перед смертью: непременно чтоб слово в слово зачитали! И обязательно здесь, на Итаке, во дворце Лаэрта!

— Так ведь завешание! наследство...

— Ну да, ну да... Им, героям — что наследство, что война... Все едино: слава, добыча... а людям — разорение...

— Кому разорение, а кому и не очень. Небось, покойный Автолик хоть из войны, хоть из мира по медяшечке таскал!

— Он ли один...

— Автолик — это голова! А вот как его вдова с сыночками дела теперь поведет... Оно, знаете, еще у богов на коленях!

— Да уж поведут, тебя не спросят! Сами управятся! При таких-то родичах, как наш гостеприимный хозяин...

— Слава бацилею Лаэрту!

— Что слава, то слава... Издавна повелось: Автолик — на суше, Лаэрт — на море...

— Язычок-то!.. попридержи язычок!..

— Ну да, ну да...

...тогда я еще не понимал, на что намекают гости моего отца. Папа Лаэрт? Дедушка Автолик? Родственники, конечно, — ну и что? Дедушка к нам и не приезжал-то никогда, да и папа все время на Итаке сидит...

Очередной кубок, к которому я было потянулся, плавно вознесся на недостижимую высоту. Я обиженно повернулся — но на сей раз это была не няня, а моя мама. Впрочем, вместо того чтобы поставить кубок обратно на стол,

подальше от меня, она неожиданно поднесла его к губам и осушила едва ли не одним глотком. Я глядел на чудо во все глаза: никогда еще не доводилось видеть, чтобы моя мать пила почти неразбавленное вино! да еще вот так, залпом — целый кубок...

* * *

— Ну да, ну да...

— А я еще вот что вам скажу, почтеннейшие...

Женщина со стуком поставила пустой кубок обратно на стол, и мальчик заметил: глаза матери лихорадочно блестят — то ли от слез, то ли от выпитого. Она уселась в стоявшее рядом высокое кресло, застеленное овечьим руном, притянула сына к себе, обняла.

— Вот ты, малыш, наверное, и не помнишь-то дедушку, — тихо проговорила Антикля, обращаясь к сыну, но говоря это скорее для самой себя. — А ведь он приезжал к нам... к тебе приезжал...

— Когда? — искренне изумился Одиссей.

Вот тебе и раз! Дедушка, оказывается, приезжал, а ему никто даже не сказал!

Вечно все скрывают...

— Конечно, ты не помнишь, — казалось, мать его не слушает. — Тебе тогда и года еще не было. А дедушка совсем больной был... ходить почти не мог, его в дом на носилках втаскивали... а все-таки приехал! На руки тебя взял, на колени к себе посадил... И имя твое он тебе дал, дедушка Автолик...

— И лук! — не удержался мальчишка. — Дедушка, он добрый! он самый добрый!

Мать ничего не ответила. Только прижала сына покрепче к себе и долго не отпускала. Потом, словно вспомнив о чем-то, вновь потянулась к кубку.

Понятливый раб-виночерпий мигом оказался рядом; плеснул до краев.

— А может, дедушка еще приедет? — с надеждой спросил мальчик. Подумалось: и мама бы тогда вино пить перестала.

— Нет... не приедет. Он умер, — матери стоило не-

малого труда произнести эти слова, но она все же нашла в себе силы. Антиклея, дочь Автолика, вообще слыла меж людьми сильной женщиной, но сегодня был особый случай: не каждый день умирает твой отец!

И хвала богам, что не каждый...

— Ну и что?! — стоял на своем маленький Одиссей, не понимая, что делает маме больно. — Я с Ментором играл! а дядька-зануда со своим кенотафером... А Эвриклея сказала, что кенотафер — это для мертвых. Так, может, и дедушка...

— Замолчи! — Женщина едва сдержалась, чтобы не ударить ребенка за кошунственные слова. Но вовремя опомнилась. Поднимать руку на собственного сына, да еще скорбного умом? Неужели у него все началось опять?!

— Боги, за что караете?!

Женщина отвернулась и, уже не сдерживаясь, зарыдала.

«Ну конечно, — подумал мальчик. — Дедушку, наверное, похоронили как полагается. И он попал в Аид. Поэтому он больше не придет. Как же это я сразу не подумал?»

Он сидел, хлюпал носом, смотрел, как меж столами бродят два незнакомых дядьки и одна тетка, которых никто не замечает, не разговаривает с ними, не... И сами дядьки с теткой ничего не едят, не пьют, только время от времени по-собачьи заглядывают людям в глаза; да еще косятся на него, маленького рыжего Одиссея, однако близко не подходят.

Погребальный пир для таких — что мед для мух.

* * *

...На следующий вечер, слушая не слышимые ни для кого, кроме него, указания зануды-дядьки, Одиссей построил первый в своей жизни кенотаф. Из камешков. Маленький. Не больше локтя в длину и в две детские ладони высотой. Зануда-дядька требовал построить ему большой, но мальчик заупрямился: «Построю маленький. Или во-

обще с тобой играть не буду!» — и зануде-дядьке пришлось уступить.

А потом, опять же по беззвучной указке, рыжий сын базилия Лаэрта произнес все, что требовалось, запнувшись всего четыре раза; и трижды назвал покойного по имени.

Больше зануда-дядька не появлялся, бросив докучать мальчику.

А на другой день я впервые увидел Старика.

Или тот появился еще на пиру, но я тогда просто не обратил на него внимания?..

АНТИСТРОФА-I

МОЙ ОСТРОВ — МОЯ КРЕПОСТЬ

...Не спалось.

...Ну ни капельки. Ни в одном глазу.

...вот беда.

Совсем как мне сейчас, но это не смешно, и зеленая звезда уныло болтается над западными утесами...

Маленький Одиссей ворочался на ложе, с завистью поглядывая на маму. Сегодня Антикля вопреки обыкновению уложила сына с собой — перед сном мама еще немного поплакала, и мальчик на всякий случай сразу притворился спящим. Ему не нравилось, что от мамы пахнет вином и она бормочет «Бедный ты мой, бедный...», имея в виду то ли его самого, то ли покойного дедушку.

Дедушка не бедный. Он подарил маме ларцы с украшениями.

И он, Одиссей, не бедный. У него есть папа, мама, няня Эвриклея и новый замечательный лук. Ну ладно, пусть будет еще и Ментор. Только Ментору надо будет завтра дать по шее...

Дальше началась какая-то неразбериха. Ручные циклопы строили город на песке, Геракл бил плечом в содрогающуюся стену, ныл зануда-дядька, прося отдать ему

стада и пастбища в равных долях; на Кораксовом утесе, что близ моря, стоял юноша с золотым луком, расстреливая в упор восходящее солнце — огненно-рыжий юноша, широкоплечий и низкорослый, смутно знакомый, отчего дрожь пробегала по телу, щекочась смешными мурашками; а дядя Алким говорит, что есть сны вещие, а есть лживые, только иногда даже сами сны не знают — какие они?.. и это, наверное, хорошо, говорит дядя Алким...

Сел на ложе.

Рывком, откинув покрывало.

Рядом храпела мама. Чуть-чуть, смешно посвистывая носом. Перебравшись через нее, маленький Одиссей на цыпочках подошел к двери талама, — скоро, скоро его переведут спать к мужчинам, и тогда он всем покажет козью морду! — переступил порог.

На цыпочках ринулся вниз по лестнице.

Мегарон был полон спящими. У покрытых копотью стен вповалку валялись сраженные вином люди; кое-кто из мужчин грузно наваливался боком на полуодетых, а то и вовсе нагих рабынь. Вот дураки дурацкие, подумалось на бегу. Лавируя между телами («К-куда?! Уб-бью!..» — вдруг приподнялся заморский дама-басилей, дико повел налитыми кровью глазами и повалился обратно), малыш пробрался к выходу, вскоре оказавшись во внутреннем дворе.

Ему строго-настрога запрещали справлять здесь малую нужду.

Но отбежать подальше он попросту не успел.

Луна панцирной бляхой выпятилась в просвет между облаками. Ясное дело, днем этих облаков зови, не дозовешься, а ночью, когда и без них прохладно — ишь, набежали! Ночная птица взახлеб кричала над лесистым Нейоном, жалуясь на одиночество, и вопли кликуши неслись вдоль изрезанного бухтами побережья Итаки, дальше, дальше... а что там, дальше?

Ничего.

Иногда рыжему сорванцу казалось: дальше действительно нет ничего и никого. Взрослые только обманыва-

ют, будто есть. Седой Океан струится вокруг Итаки, ограничивая мир; по вечерам можно видеть, как на горизонте клубятся пряди древней бороды.

...Не завидуйте себе-маленьким. Не надо.

Даже если и есть — чему.

Иначе однажды выясните, что вам некуда возвращаться; и дальше идти — тоже некуда.

Вернуться в духоту талама? Фигушки, как любит говорить Ментор, которому непременно надо будет дать по шее — но это уже завтра утром. Или сегодня? Размышляя, в какой миг заканчивается завтра и начинается сегодня (кто вообще придумал все эти глупости?!), маленький Одиссей сам не заметил, что ноги понесли его вокруг дома.

Туда, где располагались кладовые помещения.

Вот здесь, за стеной из пористого камня, спит его лук. Подарок доброго дедушки. Или лук тоже не спит? — ворочается с боку на бок в своем тесном ларце, вздыхает потихонечку, скучает за рыжим мальчишкой... Сев прямо на землю, малыш привалился боком к стене (совсем как гости к рабыням! вот еще!). Тихонько улыбнулся.

Теперь осталось раздобыть меч и щит. Жалко, что другой дедушка — Аркесий, папин папа — умер давно, ничего не оставив внуку в наследство. Ну да ладно, внук тогда был совсем крохотуля, зачем ему щит и меч? Он, Одиссей, не в обиде. Сказать, что ли, папе...

— Мальчик?

Ну, мальчик, мальчик, а что тут особенного? Был бы девчонкой, ни меч не понадобился бы, ни щит.

И дедушка Автолик вместо лука подарил бы побрякушек.

— Ма-а-альчик... — теперь уже разочарованно, с неприятным пришепетыванием.

Лунный свет сгустился, набряк изнутри темно-багровым; маленькая женщина выступила наружу, смешно присвистнув носом. Точь-в-точь, как пьяная мама. Она даже стала слегка похожа на маму — едва сравнение пришло Одиссею в голову, как лунная женщина сделалась

выше ростом, знакомо склонила голову к плечу и подмигнула рыжему мальчишке.

— Не спишь? — спрашивая, лунная женщина ни мгновенья не могла устоять на месте: все приплясывала, прыгала, переступала с ноги на ногу, кружась вокруг ребенка в чудном, завораживающем танце.

«Не сплю», — хотел ответить Одиссей, но передумал. Еще заругается, няне нажалуется. Дети ночью должны спать — иди потом, объясняй, что ты давно не маленький...

Ну ее, липучую.

— А как тебя зовут? — Лунная женщина текла по границе невидимого круга, словно не в силах приблизиться к ребенку, прежде чем тот ответит на любой из ее вопросов; и шептала, шептала, наговаривала:

— Медовую лепешку хочешь? Тебе жарко? У тебя есть сестрички?.. а где они спят?.. ты мне покажешь?! мальчик, ты не молчи, ты отвечай, ма-а-альчик...

Медовой лепешки Одиссей не хотел. И жарко ему не было. Сестрички же спали в гинекее, в дальних покоях: две старшие, сочинительницы вредной дразнилки «Рыжий, рыжий, конопатый, на плече несет лопату!..» — и малышка-Климена, от которой вкусно пахло овечьим молоком, а дразниться она совсем не умела.

Только обнималась, да еще плакала, когда у нее болел животик.

Он хотел уже было сказать лунной женщине, где спят сестрички — пускай отстанет! — но ветер наотмашь хлестнул небо пастушьим кнутом, богиня облаков Нефела погнала прочь свое белорунное стадо, а дядя Алким говорит, что злая Ламия раньше была доброй, но ревнивая Гера убила всех ее деток, обрекая на одиночество, и теперь Ламия в отместку сама убивает чужих деток, надеясь не быть одинокой хотя бы в горе, а еще дядя Алким говорит, что Ламия никогда не посмеет тронуть наследника хозяина дома, защищенного родовыми даймонами и ее врагиней Герой, покровительницей семьи, если только наследник не станет ей отвечать, а если станет, то злая Ламия затопчет его ослиной ногой с медным копы-

том, и выпьет всю кровь, как мама вчера на поминальном пиру выпила целый кубок — залпом, не переводя дыхания...

— Не надо!

Плохо понимая, что он делает, больше всего на свете желая убежать и не в силах подняться — маленький Одиссей защитным жестом выставил перед собой руки, ладошками вперед, словно отталкивая лунную женщину; и эхом, ответным криком ударило в уши:

— Не надо!

Кричала Ламия. Потеряв всякое сходство с мамой, она отпрыгнула назад, до половины втиснувшись в двери из желтого сияния; темно-багровое стало смоляным, пятнами разбежавшись по телу ночного кошмара — а Ламия, не отрываясь, смотрела на перемазанные землей ладошки Одиссея.

— Светятся!.. — гнусаво шептала она, задыхаясь от липкого ужаса; и рыжему сыну бацилея Лаэрта почудилось, будто он сейчас держит в руках свой замечательный лук, подарок доброго дедушки, а тетива натянута, и стрела готова сорваться в полет, рассекая мрак.

Мало ли что покажется ребенку, от рождения скорбному умом?

— Светятся!.. не надо! я же не знала!.. не на...

...Почему?!

Почему сейчас, по возвращении, мне-будущему чудится: в стороне, у перил террасы, беззвучно смеется давешний мальчишка — странный и одинокий? Тот, кого я заметил в мегароне, среди гостей?!

Почему он с криком не бежит прочь при виде Ламии?

Спустя некоторое время — два судорожных вздоха? три? — маленький Одиссей опустил руки.

— Ты спи! ты не бойся! — шепнул он прямо в стену, где запертый на замок и два засова, в тиши кладовки, на дне ларца из магнолии, лежал самый лучший на свете лук.

«И ты спи... и ты не бойся...» — был ответ, или только

померещилось? И все случившееся: было? не было?! Во всяком случае, проснулся рыжий у себя на ложе, рядом с мамой, а снаружи заморский дама-басилей громко требовал пить.

* * *

Старик не был нудным, как мертвый воин, который просил мальчика построить ему кенотаф. Не был он также боязливым и запуганным, подобно незванным гостям на поминках. Разговорчивым Старик тоже не был.

Он просто — был.

Возник и остался.

Иногда он ненадолго исчезал, но даже тогда Одиссей чувствовал: Старик где-то рядом. За тонким занавесом, отделяющим вчера от сегодня и сегодня от завтра. Если понадобится, он окажется здесь в любое мгновение.

Вот только острой надобности в этом пока не возникало.

Однако особых неудобств от присутствия Старика мальчик не испытывал. Напротив: за последние дни он настолько привык к новому спутнику, бессловесному и никогда не пристающему с нудными плохопонятными просьбами, что, с одной стороны, вовсе перестал обращать на него внимание — Старик сделался частью окружающей обстановки, частью привычной, малозаметной и молчаливой; а с другой стороны, когда Старик исчезал, маленький Одиссей начинал испытывать смутное беспокойство. Озирался по сторонам в поисках своей верной тени, поначалу даже приставал с вопросами к приятелю-Ментору и к няне Эврикле:

— Где Старик? Куда он ушел?

— Какой старик? — удивлялись друг с няней.

— Ну, Старик! Ходит со мной все время... Пузатый такой. Лысый. С бородой седой. Хитон белый, сандалии...

— С тобой я хожу! — обижался Ментор, которому обидеться лишний раз было, что Зевсу молнией шарахнуть. — Сам ты старик! и сам ты пузатый. И бороды у меня нет. И хитон зеленый! И босиком — потому что жарко.

Выкрикивая это, белобрысый Ментор на всякий случай косился в сторону няни Эвриклеи. Мало ли?! Но ра-

быня-кормилица еще меньше самого Ментора походила на пузатого лысого старика с седой бородой.

Вдобавок Эвриклея-то была рядом, никуда не уходила.

— Ты ошибаешься, маленький хозяин, — мягко вторила Ментору няня, неестественно улыбаясь. — Или ты придумал новую игру? Игру в старика, которого не было?

— Был! был! был! — топал ногой рыжий мальчишка. — Дураки вы! дураки!! все!!!

Он обижался, глотал слезы и стремглав убегал прочь, в глубь отцовского сада. Ментор с Эвриклеей благоразумно не преследовали его, давая побыть наедине с собой и своей обидой — тем более что вскоре Одиссей возвращался сам, устав от одиночества.

А позже возвращался и Старик.

«Ты где был?!» — как-то напустился на него мальчик после особенно долгого отсутствия.

«Дома», — неожиданно ответил молчавший до сих пор Старик.

И Одиссей не нашелся, что сказать. Во-первых, он был ошеломлен тем, что Старик вдруг заговорил — как если бы с рыжим наследником бацилея Лаэрта заговорила смоковница или пряжка на его собственной сандали; а во-вторых... Во-вторых, он раньше совершенно не задумывался, что у Старика тоже может быть дом, свой собственный дом, где ему надо время от времени бывать.

На этом их первый разговор и закончился.

— Ты где был?

— Дома.

— Где ты будешь?

Боги! как просто! и как недостижимо...

...я вернусь.

Память ты, моя память... Нет ветра, иду на веслах.

Умом-то я понимаю: запутавшиеся между жизнью и смертью тени являлись мне и в куда более раннем возрасте. С колыбели. Но ты, детская память, умнее сотни мудрецов. Ты попросту не сохранила ясных воспоминаний о днях младенчества. Зато после того, как рядом со мной прочно обосновался Старик, блуждающие души перестали

докучать рыжему мальчишке. Рассудок, верное весло, незаменимое в походах, подсказывает: их отгонял Старик.

Одним своим присутствием.

Да, мой верный Старик, я прав. Только ты вряд ли кивнешь мне в ответ, сидя рядом: ты и сейчас здесь, со мной, на пустынной террасе, но однозначные ответы — не твоя стихия. Мой Старик! моя собственная тень! ты ведь тоже из *них*? Молчи... молчи!.. впрочем, ты и так почти всегда молчишь. Мы не говорили с тобой об этом, но я давно догадался — и не только об этом. Я умный. Я безумный. Во всяком случае, так утверждает стоустая Осса-Молва, от зеленого Дулихия до горного Эпира. Да и сам я (с момента пострижения? раньше? позже?! нет, не вспомнить...) — с некоторого времени я безошибочно отличаю живых от неживых.

Вот с богами — с теми иногда выходит промашка...

Довольно скоро я понял, что Старика никто, кроме меня, не видит, и перестал говорить о нем с окружающими. Даже крохотное дитя в состоянии уразуметь: есть разговоры, вызывающие у мамы слезы, а у друзей — раздражение и обиду. Проще лишний раз прикусить язычок. Зато я начал разговаривать со Стариком, нередко — поперек обычной беседы с кем-нибудь из близких; и папа хмурился, челядь перешептывалась, а мама с няней вздыхали, отворачиваясь.

— *Боги, за что караете?!*

* * *

На этот раз мальчик обиделся всерьез. И, как ему казалось, надолго. Насупившись, он брел по дорожке замечательного папиного сада, даже не предполагая своим умишком, что сад на территории дворца — поразительная роскошь не для правителя козьего островка, а для ванаков¹ богатых Микен и Аргоса, чьи дворцы, окруженные

¹ Ванакт (досл. господин, владыка) — титул, условно аналогичный императорскому.

высокими стенами, громоздились на тесном пространстве, подчиняясь стратегическим соображениям обороны.

Стратегические соображения мало волновали рыжего.

Даже диковинные деревья, отягощенные наливающимися соком плодами, оставляли его равнодушным.

Он хотел быть один.

Зайти куда-нибудь подальше? в самый укромный уголок? — и пусть все его ищут. Пусть зовут, кричат, плачут, призывают на помощь рабов, стражу и бессмертных богов, пусть сойдутся с ног в поисках — а он будет сидеть в гордом одиночестве и не выйдет к ним! Никогда-никогда! Пусть им всем будет хуже!

Сами виноваты.

Слепые они, что ли?! Старик вон уж сколько дней рядом околачивается, а они его не видят! Да и сам Старик хорош — хоть бы явился им, что ли? Или с ним, Одиссеем, поговорил бы, сказку рассказал, про трехголовую Химеру. Сейчас вон опять пропал неведомо куда...

За деревьями послышались голоса. Одиссей встрепнулся, разом позабыв о непонятливой няне, матери и друге Менторе. А заодно — и о вредном Старике.

Кто по саду бродит?

Кто шепчется в кустах?

Может, это враги пробрались в папин сад и строят свой подлый заговор? Последние дни во дворце немало говорилось о войне на Большой Земле, о битвах и заговорах — что-то творилось в далеком мире, о котором мальчик знал только понаслышке; но что именно — он еще не понимал.

Одиссей мигом ощутил себя воином-разведчиком, подкрадывающимся к вражескому лагерю. Ну конечно! Сейчас он подберется поближе, все услышит, выведает коварные планы врагов, а потом побежит к отцу и все ему расскажет! О, миг торжества! — тогда отец кликнет своих могучих воинов, и его, Одиссея, тоже возьмет, даст ему меч, щит и лук (да-да, непременно — лук! его собственный лук, подарок доброго дедушки Автолика!); и они с папой прославятся в веках!

Дядя Алким говорит: иногда один хороший разведчик может сделать втрое больше целого отряда воинов! Дядя Алким очень умный, он все знает! Чтобы стать хорошим разведчиком, не обязательно быть взрослым. Главное: незаметно подобраться...

Припав к земле, рыжий герой пополз на звук голосов, стараясь производить как можно меньше шума. Хитон, конечно, запачкается (уже запачкался и даже лопнул на боку... никудышные пошли хитоны в наше опасное время...); няня Эвриклея будет ругаться, но это ничего! Герои не боятся няней! Герои не плачут, когда им выговаривают за порванную одежду!

Главное — узнать коварный замысел врагов!

— ...сейчас не время плыть на Большую Землю.

Голос показался знакомым, но мальчик не поддался на уловку. Враг хитер, враг умеет притворяться! Так, подползти еще чуть ближе, осторожно выглянуть из-за куста олеандра...

— ...но нельзя же просто взять и отклонить приглашение богоравного Нелея из Пилоса! Или вообще не ответить. Нелей — это хлеб, это доля в поставках шерсти из Аркадии...

Второй голос — тоже знакомый.

— Ну так придумай какую-нибудь вескую причину. Ты же, в конце концов, мой советник. Вот и советуй.

Одиссей разочарованно вздохнул.

Никаких врагов, никакого заговора.

Его папа, базилей Лаэрт, разговаривал с Менторским папой, даматом Алкимом. Вот тебе и вся разведка! А хитон выпачкался изрядно. Теперь точно нагорит...

Однако вместо того чтобы с повинной выйти из-за кустов, рыжий мальчишка остался на месте. Конечно, он знал, что подслушивать папины разговоры дурно (враги — другое дело!), но любопытство оказалось сильнее. Папа собирается плыть на Большую Землю? Или, наоборот, не собирается? Его кто-то пригласил? Может быть, удастся разузнать еще что-нибудь интересное?

Герои, вострите уши!

Самое смешное, что этот призыв помогал мне в жизни не раз и не два...

— Причину-то придумать — сущие пустяки. Болезнь, торговые дела — да мало ли что может потребовать присутствия базилея Итаки на его острове? Дело в ином: за этим приглашением обязательно последует другое, третье... На них базилей Итаки также ответит отказом?

— Думаю, что да, мой предусмотрительный Алким. Отказом. Я не намерен более покидать остров. Я так решил. Ты, наверное, хочешь знать причины?

— О некоторых из них я догадываюсь. Возможно, есть и другие. Если мне позволено будет...

Конечно, папа — базилей, он самый главный на Итаке. Но разве у него есть тайны от дамата Алкима? Ведь папа Ментора не только его советник, но и друг! А от друзей тайн не бывает!

Жаль только, что дядя Алким в детстве свою маму не слушал. В него за это Артемида-Тавропола, в честь которой жены у мужей надрезают кожу на горле, серебряной стрелой выстрелила. Не убила — наказала. Заболел дядя Алким, и левая нога у него теперь — сухая и тоненькая, как палка. Ходить-то ходит, смешно заваливаясь набок и подпрыгивая, но воин из него... Наверное, поэтому папа тоже все время дома сидит, на войну не едет.

Не хочет дядю Алкима обижать.

— Догадываешься? ну-ка, ну-ка, изволь объясниться!..

Вроде бы базилей с даматом слегка подтрунивают друг над другом. Только почему рыжему сорванцу вдруг расхотелось быть героем? почему прочь едва не бросило?

— Большая Земля в раздрае, мой базилей. Все грызутся со всеми. Сгорел Иолк; Элида бурлит, как забытый на огне котел; Спарта бряцает оружием. Поход Семерых на Фивы умылся кровью. Геракл — сам великий Геракл! — двинул войска на скрягу Авгия. Эрис-Распря, мать Бедствий, парит над Большой Землей на медных крыльях; цены на рабов упали ниже Тартара, а цены на золото пляшут, словно обезумевшие менады. В этой Ареевой каше недол-

го и самому угодить в Аид раньше срока. Нарваться на стрелу или со скалы ненароком упасть...

— Ты тоже слышал? про Тезея-афинянина?

— Не слышал, мой базилей. Донесли. Верные люди донесли. Я же, в конце концов, твой советник.

Лаэрт вытер ладонью раннюю лысину и ничего не ответил.

Лишь рукой махнул: садись, мол, в ногах правды нет!

— Думаю, — продолжил Алким, неуклюже опускаясь на скамеечку и вытягивая вперед больную ногу, — у итакийского базилея Лаэрта-Садовника найдется достаточно недоброжелателей. Пускай, не в обиду будь сказано, и поменьше, чем у богоравного героя Тезея...

Рыжий соглядатай заметил, что оба при этих словах усмехнулись: и папа, и дядя Алким. Словно дама остроумно пошутил. А что тут смешного? Тезей Афинский подвигов насOVERшал — лопатой не разгрести! Ясное дело, кучу врагов нажил. А папа... нет, он, конечно, папа... самый лучший...

— После смерти Автолика кое-кто подумывает, что неплохо было бы прибрать к своим рукам чужое дело. И на суше, и на море.

— Дело покойного Автолика?

— И дело ныне здравствующего базилея Лаэрта, — твердо ответил Алким. — Вот только пока мой базилей изволит здравствовать...

— Ты, как обычно, предусмотрителен, мой Алким. Мой остров — моя крепость. Любой подосланный убийца — чужак! — здесь будет у всех на виду, а из местных никто не рискнет головой ради грязного дела. Не брать же Итаку с моря, приступом?

Оба сдержанно рассмеялись.

Маленький Одиссей и раньше замечал: странные люди — взрослые. Ничего смешного нет, а они смеются. Зато ткнешь поросенка шилом в задницу,пустишь в мегарон, когда там почетный гость с папой...

Нет, не понимают истинно смешного.

— Тебе не кажется, мой Алким, что мы с тобой, будто шмели — жужжим, жужжим, да на цветок все не сядем?

Одиссей затаил дыхание. Сейчас папа скажет что-то очень важное. Мальчишка ждал, притаившись за олеандровым кустом; и дама Алким тоже ждал, пытаясь удобнее устроить больную ногу.

Дождались.

— Пусть сказанное останется между нами, мой Алким. Нет, клясться не надо, особенно святыми именами. Я тебе верю. Должен же я хоть на кого-то полагаться до конца под этим небом?

На миг Одиссею сделалось не по себе. Он очень пожалел, что не ушел (вернее, не уполз) отсюда раньше. А теперь было поздно. Сейчас отец откроет дяде Алкиму Страшную Тайну — и он, Одиссей, ее тоже услышит!

Под этим небом... неужели у папы есть в запасе иное небо?

— Скажи, мой Алким: куда смотрят Глубокоуважаемые?!

— Мой базилей... мой бедный мудрый базилей...

И совсем другим, теплым и участливым голосом:

— Иногда, Лаэрт, я счастлив своей искалеченной ногой, приковавшей меня к одному месту. Ногой — и еще тем, что в моих жилах течет кровь... только кровь. Я всегда подозревал...

— Вот и подозревай дальше, догадливый Алким. А вслух не говори.

Алким молча, понимающе кивнул.

Некоторое время царило молчание, и мальчик старался дышать как можно тише, чтобы не обнаружить своего присутствия. А еще он боялся, что его выдаст бешено колотящееся сердце. Он ничего не понял в папиной Страшной Тайне, но сердцем — тем самым, которое билось пойманным в ладонь птенцом! — чувствовал: сегодня он невольно прикоснулся к запретному.

Насколько запретному — этого рыжий соглядатай даже не подозревал.

— Итака — маленький островок, — вновь заговорил базилей Лаэрт. — Сюда не докатится война. Сюда не доберутся наемники с Большой Земли. Разве что Глубокоуважаемые обратят свой взор на Итаку — но это будет слиш-

ком уж много чести для козьего островка. Поверь, Алким: у меня есть некоторые основания так думать. Но если я объявлюсь на Большой Земле, затесавшись в общую бучу...

— Я понял, мой базилей. Я найду способ отклонить приглашение Нелея так, чтобы никого не обидеть. И все последующие приглашения. Ведь они могут исходить не только от врагов?

— Хорошо. Составь мне ответ к вечеру.

— Да, мой базилей.

По тропинке прошелестели шаги. Две пары шагов. Затишли в отдалении. Лишь тогда рыжий мальчишка наконец поднялся на ноги и начал сосредоточенно потряхивать хитон.

Саднил ободранный бок; и стоял поодаль вернувшийся Старик.

* * *

Итака наполнилась слухами.

О кораблях, запертых в безопасных гаванях, — купцы, даже бесстрашные сидонцы, просоленные куда круче вяленой скумбрии, не решались вывести груженные суда в море. Говорили: проще отплыть на десяток стадий¹ от берега, вывалить все добро в воду и вернуться обратно. Проще и безопасней. Ибо теперь, при явном попустительстве Владыки Пучин, кроме старых добрых пиратов, умеющих различать своих и чужих, воды кишели военными кораблями, сшибающимися друг с другом, подобно бродячим псам. А в промежутках доблестные мореходы, отупев от безделья, грабили всех, кто попадался под руку, — сдавая добычу за бесценок в тех же безопасных гаванях.

Об оракулах, знамениях и прорицаниях — взаимоисключающих, спорных, опровергающих друг друга. О передравшихся пифиях, скандалах между птицегадателями, без того прославленными дурным нравом; и удивитель-

¹ Стадия (стадий) — мера длины; общего стандарта не существовало, чаще всего равнялась 177,6 м. Олимпийская стадия составляла 192 м.

ных, похожих на Зевесову эгиду, пятнах на кишках жертвенного быка в Додоне.

Пятна аукнулись срывом III Истмийских игр.

О походах и битвах, о гибели героев и падении городов. О резне под Писами — местечком, которому пропасть бы без вести во тьме веков, когда б не эта резня! — где силами союзников была наголову разбита армия Геракла (конец света! великий Геракл отступает?!); о нелепой гибели Ификла Амфитриада, Гераклова брата, от рук чудовищных близнецов-Молионидов.

О... кстати, большинство разговоров начинались именно с этой, самой многозначительной буквы. Кто-нибудь воздевал палец к небу и провозглашал: «О! вы слышали?..» Выяснялось, что не слышали, а если слышали, то не прочь послушать еще раз.

Намекали даже на возможный потоп и указывали точную дату: середина мемактериона¹. Ну, в крайнем случае, начало посейдония².

Тогда я еще далеко не все понимал (да что там «не все»! — ничего не понимал, ничегошеньки!), и далеко не все разговоры доходили до ушей рыжего сорванца — но, если верить маме, ночами я беспричинно плакал и рвался из рук няни.

Мне снились черные крылья. Просто крылья; без их обладателя. С обладателем было бы проще: страх, определившийся формой, названный по имени, перестает быть страхом. Мы гораздо больше боимся ожидания казни, чем собственно казни. Безотчетная тревога и тягостное предчувствие грядущей бури витали во дворце, сгущались, копились по углам облачками мрака; от них спирало дыхание почти реальной духотой.

Но была еще одна сторона происходящего, — и того, что могло произойти, — о которой я-маленький не задумывался. Лишь теперь я начинаю понимать, *что* время от

¹ Мемактерион — согласно аттическому календарю, ноябрь-декабрь.

² Посейдоний — согласно аттическому календарю, декабрь-январь.

времени мелькало в глазах отца с матерью, когда они укордкой глядели на меня, думая, будто я не замечаю их взглядов.

Многих семейных сцен я вовсе не слышал, но простор воспоминаний хорош главным: он позволяет возвращаться по своему усмотрению даже в удивительные места, где раньше не довелось побывать — домысливая и представляя недостающее. Как оно было. Как не было. Как могло бы быть. А потом, когда нам окончательно повезет вернуться, мы стоим на малознакомом берегу, озираясь и исподволь начиная верить в собственные домыслы...

Теперь и навсегда это — прошлое.

Самое настоящее прошлое.

Сотворенное нами самими внутри нашего личного *Номоса*.

Но о *Номосах* — позже.

...Может быть, этого разговора никогда не было. Возможно, он состоялся, но был не совсем таким, или совсем не таким. Возможно...

Все возможно.

Если ты возвращаешься — возможно все, даже невозможное.

* * *

— ...Что скажешь, Антиклея? Я плохо знаю твоих братьев — думаешь, они удержат наследство Волка-Одиночки?

Тихий вопрос итакийского бисея Лаэрта, известного меж людьми под прозвищем Садовник — так его покойный тесъ Автолик прозывался Волком-Одиночкой, — вплетается в отдаленный шепот ночного прибоя. Кажется, с женщиной говорит само море, над которым нависли бесчисленные глаза-звезды великана Аргуса.

Вот-вот покатыся под безжалостным серпом.

— Удержат, Лаэрт. Конечно, волчата не чета покойному отцу, они плохо умеют расширять и приобретать... Но доставшуюся им добычу из рук не выпустят. Иногда, хвала Гермия, Сильному Телом, хватка способна заменить предусмотрительность!

Низкий грудной голос Антиклеи сливается с шорохом ветра в листве, и теперь кажется: море спросило, а ветер ответил.

Ночь.

Море разговаривает с ветром.

Наверное, это очень красиво со стороны. Надо только уметь видеть и уметь слышать.

Надо уметь возвращаться.

— ...Это хорошо. Я бы предпочел иметь дело с ними, а не с посторонними людьми. Как-никак родичи... Многим сейчас снится новый передел Ойкумены, тайный и явный. Еще в Калидоне, в позапрошлом году, когда я увидел, как боевые друзья готовы вцепиться друг другу в глотки из-за шкуры вонючего вепря!.. Поколение обреченных, Антиклея. Поколение обреченных... Они ведь не просто режут друг друга, вспарывают чрево сестрам, травят детей и отцов — навалившись плечом, они пытаются сдвинуть камни старых границ. Любой ценой. Сдвинуть. Перекроить. Сдвинут, не сдвинут — при любом раскладе им самим не найдется места в новых рубежах. А Глубокоуважаемые смотрят сверху, не понимая, что глядятся в зеркало. Или понимая — что еще опаснее. Но если ты уверена в своих братьях...

— Я уверена, Лаэрт.

Ветер еле слышно выводит нежную мелодию, вторя неумолчному шуму прибоя. Кифаред и флейтистка. Им обоим никогда не надоедает вечный дуэт.

— Я рад это слышать, Антиклея. Впрочем, твой отец... твой покойный отец, — скрытая боль всплывает на поверхность моря и вдребезги, в брызги пены, расшибается о береговые скалы, — он знал, что делает, когда три года назад приехал на Итаку.

— Его привезли, Лаэрт. Уже тогда он почти не ходил.

— Он приехал. Ты понимаешь, о чем я? Надо плохо знать Волка-Одиночку, чтобы сказать: его привезли. Он приехал. По своей воле. Зная, что мой отец уже умер; что у Одиссея остался всего один дед. И взял нашего сына на

колени не для того, чтобы сделать ему козу. Самый последний скорняк в глуши Лаконики знает: дед берет внука, объявляя о его принадлежности к роду.

— Я слушаю тебя, Лаэрт...

В шорохе ветра явственно пробивается тревога.

— Одиссей — наследник. Мой наследник, дважды признанный Автоликом: при жизни и в смерти. Лук — подтверждение для тугоухих. Пускай наш сын слышит неслышимое и говорит с несуществующим; важно, что он наследник по закону! Я пристально наблюдаю за ним — и сам, и через слуг. Надеюсь, с возрастом он станет яснее различать, в каком мире живет. Но в любом случае Одиссей — наследник. Твой отец всегда знал, что делает.

— И ты боишься...

— Да, я боюсь, Антиклея. Боюсь, и мне не стыдно в этом признаться! Слишком многим Итака с ее влиянием на море — будто кость в горле! Слишком многие хотели бы ее сперва выплюнуть, а потом хорошенечко разгрызть и проглотить заново... Вчера я отказался плыть в гости к Нелею Пилосскому. Прав я или нет в своих подозрениях — я не поплыву на Большую Землю. Ежедневно видеть море и быть прикованным к жалкому клочку суши... что может быть больнее?! — но мужчина в первую очередь отвечает за свою семью. Пусть герои взваливают на плечи ответственность за судьбы Ойкумены! — я давно уже не герой. У меня семья. Никто из них не в состоянии сказать: у меня семья. Жены, дети — да! но не семья. Ты можешь себе представить обремененного заботами о семье Геракла? Персея Горгоноубийцу?! Тезея Афинского?! Язона-Аргонавта?! Даже у Орфея — не получилось...

Тишина.

И коротко, ясно:

— У них есть слава и нет семьи. А у меня — наоборот.

— Ты хочешь сказать, муж мой...

— Если, не приведи Гадес, я погибну, тебя на следующий день возьмет в осаду армия женихов. Все соседние острова, от Зама до Закинфа, а днем позже — и Большая Земля. Вдова Лаэрта-Садовника... они будут убеждать всю Ойкумену, что мечтают о твоей красоте! они будут пить,

жрать и врать так громко, что им поверят. Допускаю, среди них даже сыщутся один-два восторженных юноши, кто на самом деле полюбит тебя. Как любят символ. Но большинству будет нужен трон Итаки вовсе не из-за твоих чар. А Одиссей...

— В лучшем случае его оставят прозябать во дворце. Время от времени бросая подачки, словно шелудивому псу, — в посвисте ветра прорезалась отточенная черная бронза. — В худшем...

— Ты умница. Ты сама все понимаешь. Поэтому я больше никогда не покину острова. Есть и другие причины, но даже этой вполне достаточно. Впрочем, я все равно смертен. А ты знаешь проклятие «порченной крови», лежащее на моем роду: в каждом поколении — только один мальчик. Наследник. И если, волей случая или злого умысла, он не выживет...

— Ты допустишь это?! — гневным эхом взрывается ветер. — Ты?! допустишь?!

— Хотел бы я сказать: «Не допущу!»... А еще больше хотел бы верить собственным словам. Во всяком случае, с завтрашнего дня я приставлю к мальчику своего человека. Храброго, как лев, и преданного, как собака.

— И глупого, как осел? Чтобы его нельзя было подкупить или переманить? — Ветер едва заметно улыбается, ириво шелестя в серебристых листьях олив.

Ветер, он такой... вспыльчив, но отходчив.

— Ну, осел — это, пожалуй, слишком! — Прибой делает вид, что обижен, ухмыляясь в седую пену усов. — Но в твоих рассуждениях есть резон. Думаю, наш новый свинопас Эвмей подойдет в самый раз.

— Свинопас? — брезгливо морщит ветер гладь лужи, сбивая в складки отражение луны-Селены.

— Ты же знаешь, какие у меня свинопасы, — смеется прибой, облизывая подножия утесов. — Кроме того, Эвмей — свинопас от роду-племени. Можно сказать, родился при этом деле! Что ему приглядеть за лишним свиненком?.. надо лишь проследить, чтобы они с Эвриклеей... ну, ты понимаешь, о чем я! Молодой горячий пастушок — и бывшая кормилица...

— Эвриклея по сей день хороша? не правда ли, мой базилей?

— Да. Она хороша по сей день.

— И ты так ни разу не возлег с ней на ложе? хозяин — с рабыней? служанки не соврали мне?!

— Что ты хочешь услышать, о многомудрая жена моя?

— Правду.

— А если мне, как мужчине, стыдно признаться в *такой* правде? Мужчинам привычнее хвастаться подвигами... даже если они их не совершали.

— Не мужчинам. Героям. А ты просто мой базилей... мой смешной базилей...

* * *

Сейчас я горжусь своим отцом, хотя мало кто способен найти в этом причину для гордости. Впрочем, пусть их. Папа, они ничего не понимают. Они дураки. Горделивые дураки, которые избыток силы зовут бессилием, и пытаются подкинуть дрова разнообразия в угасающий костер. Даже я, твой сын...

Папа, я люблю тебя.

Но тогда вам с мамой было невдомек, что один хранитель-соглядатай у меня уже имеется.

Мой Старик.

СТРОФА-II

ПОЧЕМ НЫНЧЕ ДЕВКИ НА БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕ?

— Ты кто? как тебя зовут?!

— Эмей, — сказал он. Потом взъерошил обеими руками воображаемую шевелюру, как если бы голова его была лишь недавно острижена на рабский манер, и добавил с непонятной мне гордостью:

— Понимаешь, базиленок... Я свинопас. Лазртов свинопас. Ты не думай, я был хороший работник, пока не охромел...

Впрочем, нет. Не будем забегать вперед; не будем кидаться в воду и, захлебываясь пеной пополам с восторгом

встречи, плыть к берегу, прежде чем днище заскрежещет по песку.

...Все началось с лисицы.

Лисица была не лисица, а лис. Рыжий, как мальчишка. Шкодливы́й, как мальчишка. И возраста они были почти одинакового — лис разве что на год-два постарше.

Матерый был зверь.

Забившись под куст, он визгливо рычал, ни в какую не желая делиться добычей: только что задушенной мышкой-полевкой.

— Собачка! хорошая собачка!..

Хорошей собачкой лис тоже не желал быть. Обитатель неритских лесов, впервые забравшись в этот сад, зверь нервничал и давно бы уже сбежал прочь, если бы мальчишка не загораживал единственный путь к бегству.

— Собачка!.. — Рука с растопыренными пальцами потянулась к зверю: сейчас собачка обнюхает ладошку, и они станут друзьями — оба рыжие, оба хорошие!

Где-то вдалеке басом залаляли настоящие собачки — итакийские пастушьи волкодавы, кудлачи-душегубы, ценящиеся на рынках Большой Земли вровень с молодой рабыней-банщицей; и лис решил.

Подхватив мышку в зубы, он метнулся вперед, у самых Одиссеевых сандалий резко извернувшись и буквально разбрызгавшись в пространстве вспышкой искр. Наверное, будь на месте малыша ребенок постарше — успел бы испугаться. Уж больно стремителен оказался рывок. А случись вместо наследника бродяга-азд или рапсод, кому песню сложить — что иному высморкаться... Вот уж есть где разгуляться, вспомнив, к примеру, гибель в огне опрометчивой Семелы-фиванки (при чем тут гибель, спросите? чья?! а мышка!..) или битву пламенного титана Флегия с Зевсом-Эгидодержавцем (Зевс и вовсе-то здесь ни при чем, но вы же их знаете, этих рапсодов! хлебом не корми!)...

Короткий свист.

Стук.

...и воровитый беглец споткнулся. Кубарем покатился со всех лап; застыл на траве с разбитой головой, пугая ли-

сшего Таната мертвым оскалом. И опять же: ребенок постарше наверняка испугался бы. А этот не успел. Слишком быстро все произошло. Добрая собачка стала злой собачкой, теперь вот лежит, не шевелится.

— Шкурку надо снять, — деловито сказали из-за спины. Одиссей обернулся.

Парень лет двадцати сворачивал в кольцо ремешок. Плетеный, из кожи. Красивый. Не парень красивый — ремешок. На одном конце ремешка была укреплена свинцовая гирька. Тоже красивая.

Блестящая.

Жаль, с краешка грязью измазалась: желтоватой, склизкой.

— Ты кто? как тебя зовут?!

— Эвмей, — сказал парень, сунув ремешок с гирькой за пазуху. Потом взъерошил обеими руками воображаемую шевелюру, как если бы голова его была лишь недавно острижена на рабский манер, и добавил:

— Понимаешь, базиленок... Я свинопас. Лаэртос свинопас. Ты не думай, я был хороший работник, пока не охромел...

— Я не думаю, — поспешно сказал рыжий.

Он действительно не думал ничего такого. И в придачу ничего не понял. Лишь вздохнул с капелькой разочарования. Не герой. Не даймон-хранитель. Не бог-олимпиец, явившийся спасти великого Одиссея от ужасной напасти. Папин свинопас... раб. Мелькнула мысль: если хорошо попросить, то Эвмей подарит ему, Одиссею, свой замечательный ремешок. А если не подарит — уже не попросить, а приказать. Или нажаловаться папе.

Сам ведь сказал: я, мол, папин...

Тем временем Эвмей обошел мальчишку и присел на корточки над убитым лисом. Вынул из оскаленных зубов тельце мышки, зачем-то обнюхал по-собачьи; зашвырнул обратно в кусты. Когда он еще только шел к зверю, можно было заметить: парень хромает. Не так, как дядя Алким — раскачиваясь и едва ли не подпрыгивая при каждом шаге, будто птичка-вертишейка. Иначе. Размахивая руками,

словно по-другому ему не удалось бы сохранить равновесие, и сильно припадая на правый бок.

Краб.

Шустрый краб на прибрежном песке.

— У тебя есть нож, базиленок?

Вопрос был задан серьёзно, без малейшей тени шутки. Свинопас Эвмей пребывал в безмятежной уверенности, что у юного базиленка обязательно должен быть нож. А как же иначе? У Колебателя Земли есть трезубец, у Владыки Богов есть молния; у Гермеса-плута есть жезл-кадуцей, обвитый змеями, и крылатые сандалии — а у маленьких детей должны быть ножи. Кстати, само удивительное слово «базиленок» в устах Лаэртова свинопаса ничуть не таило в себе насмешки. Подтрунивания. Неуважения оно не таило тоже. Есть итакийский базилей Лаэрт; у него есть сын, наследник... итакийский базиленок.

Все в порядке вещей.

— Нету...

Одиссей расстроился. Ну почему, почему у него нет ножа?! К счастью, свинопас не стал дразниться. Лишь кивнул: дескать, ладно, нет так нет, позже добудем! — и извлек из-за пазухи короткое лезвие без рукояти.

Плоскую капельку черной бронзы.

Одиссей присел на корточки рядом; стал смотреть, как свежуют добрую злую собачку. Смотреть было интересно и немножко страшно. Совсем чуть-чуть. А на самого Эвмея смотреть было интересно и немножко смешно. Пегие волосы обрезаны на скорую руку, торчат во все стороны — не волосы, а перья. И на подбородке — перья. Жиденькие. А на щеках почти нету; это, наверное, потому, что щеки рябые, в ямочках с неровными краями. Не хотят перья расти в ямочках.

И глаза у Эвмея лягушачьи: навывкате.

— Ты молодец, базиленок, — Эвмей потряхнул снятой шкуркой, сунул ее туда же, за пазуху (ишь ты! не пазуха, а волшебная сумка Персея!); на животе, выше пояса, вздулась опухоль. — Не испугался. А я тоже хорош: дернись ты невпопад, как есть угодил бы по тебе! Плохой я раб. Нера-

дивый. Непредусмотрительный. А с плохими рабами что делают?

Нет.

Он по-прежнему не шутил. Задумался, ожидая подсказки от базилика.

— Их наказывают, — мальчишка почувствовал себя большим и умным; хозяином себя почувствовал. Ага, свинопас, простых вещей не знаешь?!

— Точно! — обрадовался Эвмей, безжалостно дергая перья на подбородке. — А как их наказывают?

— Н-ну... бьют их.

— Ух ты! Здорово! Так давай, чего ты ждешь?

— Я? что давать?!

— Давай наказывай меня. Бей!

Деваться было некуда. Сам ведь сказал, никто за язык не тянул... Без размаха Одиссей ткнул свинопаса кулачком в бок.

Бок оказался теплым и твердым.

— Да ну тебя! — В лягушачьих глазах Эвмея заблестели самые настоящие слезы. — Разве ж так бьют? По-настоящему давай!

Одиссей ударил по-настоящему.

И заорал во всю глотку, едва не свернув себе запястье.

— Базили не плачут, — мосластый палец Эвмея качнулся у лица, застыл живым укором. — И базилята не плачут. Где это видано: бьешь нерадивого раба, и сам ревешь в три ручья! Давай я тебе покажу... руку надо держать вот так...

К вечеру Одиссей уже сумел один раз ударить своего нового раба по-настоящему.

Ну, почти по-настоящему.

Для начала вполне пристойно.

* * *

...алеф, бет, гимет, далет, хе, вав... зайн, хет, тет, йод, мем... а дядя Алким говорит, что у финикийцев сперва не мем, а каф, и потом уже — мем... нун, самех, пе, шаде, коф, реш, шин, тав...

Скучища! Вот мама, она всегда ворчит: «Бедненький! Бледненький! Мучают ребенка!..» — мама, она права, мама добрая, а они все мучают ребенка!

Учители-мучители!

Сегодня занятия у дамата Алкима казались Одиссею особенно нудными. Такое иногда бывало, и чаще, чем следовало бы: чтение, письмо и счет вызывали зевоту — того и гляди, скулы вывихнешь! В Пие, понимаешь, по велению Нелея Пилосского откормили три свиньи для всенародного празднества, в Метапе — четыре, а в Сфагиях лишь две... сколько всего свиней откормили для свинонародного... тьфу ты! — для всенародного празднества?! Много откормили, есть не хочу! Наконец счет-чтение, к счастью, остались позади, а к письму дядя Алким так и не приступил. Одиссей очень надеялся, что уже и не приступит. Ибо отец Ментора, увлекшись, принялся рассказывать детям о жизни на Большой Земле: какие там есть города, какие гавани, где живут магнеты, где — этолийцы, где — мирмидоняне, и кто с кем сейчас в союзе, а кто, наоборот, воюет.

Поначалу было интересно. Особенно насчет кто какой город захватил, а кому удалось отбиться. Но дядя Алким есть дядя Алким, и вскоре пошло-поехало: снабжение Тиринфской крепости ячменем, поставки в Аргос ввозной бронзы, конкуренция критских и микенских ювелиров, подготовка опытных атлофетов¹ для Истмиад...

Одиссей чуть не заснул.

Он бы, наверное, заснул, если бы Ментор время от времени не пихал его локтем в бок. Наследник басылея Лаэрта вскидывался с твердым намерением немедленно надавать белобрысой гидре тумакон, но вспоминал, где они.

В итоге гидра оставалась безнаказанной.

Пришлось ограничиться поимкой здоровенного рыжего муравья и запусканнем последнего Ментору за шиворот. После чего мститель минуту-другую давился от смеха,

¹ Атлофет — судья спортивных состязаний.

наблюдая, как ерзает приятель на скамье. Натешившись, один рыжий сбежал к своим муравьятам, а второй вновь стал слушать дядю Алкима, едва удерживаясь от зевоты.

Эвмей, тот уже давным-давно заснул по-настоящему: улегся прямо под стеной, в тени — и засопел. Однако, когда Одиссею понадобилось отлучиться по малой нужде, рябой свинопас открыл один глаз, проследил, куда направился мальчик — и вновь отдал дань легкокрылому Гипносу лишь по возвращении базиленка.

Эвмею хорошо, ему спать можно. Ему учиться не надо — потому что он уже взрослый. А еще потому, что раб. Рабом, конечно, быть плохо — но, как оказалось, из всякого правила есть исключения. Ишь, дрыхнет, и ухом не ведет! Ленивый раб. Нерадивый. Не помогает хозяину все-народных свиней считать. Надо будет потом его отдубасить. Это Эвмей молодчина, правильно придумал: если что не так, господин должен своего раба бить. Вот пусть теперь пеняет на себя!

Он и пеняет... в тенечке, под стеночкой...

— ...от Нерее-Морского и Дориды, дочери Океана, родились nereиды, имена которых: Кимотоя, Спейо, Главконома, Навситоя, Галия, Эрато, Сао, Амфитрита, Эвника, Фетида, Эвлимена, Агава... Понтомедуса, Деро... Динамена, Кето...

Сейчас-то я понимаю: мудрый Алким не просто заставлял нас с Ментором заучивать имена nereид или количество мер зерна, поставляемых из угодий критского правителя в Фестскую и Кутаитскую области. Он учил нас думать. Складывать пустяк к пустяку, незначительное к малозначащему — и получать драгоценность. Не имена, а смысл имен, тайный и явный. Не родители, а наследственность. Чистота крови и преемственность власти. Не колебания цен на грубую полбу — причины, вызвавшие их. Не кто какой город взял или, наоборот, удержал — почему ему удалось или не удалось это сделать.

И стоила ли овчинка выделки?

Память ты, моя память... Когда с треском, оглушившим народы, провалился поход Семерых на Фивы, дядя Алким устроил нам игру. Взятие крепости; только, как выразился он сам, «по-взрослому».

Крепость мы строили два дня, общими усилиями. То есть строили мы с Ментором, изгваздавшись в грязи по уши, а дядя Алким руководил: где что должно располагаться. По сей день гадаю: откуда он, ни разу не выезжавший за пределы Итаки, был столь подробно осведомлен о внутреннем устройстве Семивратных Фив?! Побывал я в этих Фивах много позднее, побродил вдоль стен, башен, на верхних галереях постоял...

Все совпало, в точности!

А тогда, едва строительство твердыни было наконец завершено и «войска» вышли на исходные позиции, дядя Алким поинтересовался:

— Ну что, герои? Как город брать будем?

— Ворота вышибать надо, — солидно заявил я-маленький, понимая, что на этот раз Геракла в моем войске нет.

Самому придется.

— Славно, славно, — покивал дамад Алким, ковыляя вокруг нас без видимой цели. — Ворота, значит? А какие именно? Пройтидские? Электрийские? Нейские? Афинские? Бореадские? Кренидские? Гомолоидские?..

Мы с Ментором задумались. Действительно, а какие лучше? Нам казалось, что — без разницы (или пускай Гомолоидские, у них название красивое!). Но раз дядя Алким спрашивает, значит, разница, наверное, есть.

Есть, да не про нашу честь.

— Нейские! — брякнул я наобум, в последний момент отдав им предпочтение перед Гомолоидскими. — Вышибли, и мечи наголо! А еще лучше на стенку полезем! Ого-го, сами боги меня не остановят!

— Ого-го! — радостно подхватил Ментор, прыгая на одной ножке.

Это он зря. Договаривались же: в присутствии его папы на одной ножке не прыгать. Зачем хорошего человека понапрасну обижать?

— Можно и ого-го, — снова кивнул Алким. — Напри-

мер, герой Капаней из Аргоса так и сделал. Ого-го, и на стенку...

— Ну и как? — едва ли не в один голос поинтересовались мы с Ментором.

Дядя Алким грустно вздохнул:

— Похоронили героя Капанея.

Мне сразу расхотелось ого-го и на стенку.

— А если двое ворот выбить? — предложил Ментор. —

И с двух сторон...

— Уже лучше. И все-таки: какие именно?

— Ну... вот эти и вот эти. Которые рядом.

— Значит, Нейские и Афинские? Валяй! — согласился дядя Алким. — А я пока оборону налажу.

Ментор смело двинул вперед раскрашенные фигурки «воинов». И, разумеется, в самом скором времени был наголову разбит собственным отцом.

— Мальчики, вы хотите воевать, как герои...

Дамат Алким, дотошный калека, я до сих пор помню твои слова! Тебя сейчас нет со мной, на ночной террасе, тебя вообще нет больше среди живых, но твоим голосом говорит со мной ветер, луна, вся моя короткая жизнь, которая истово хочет продлиться, став долгой и свободной от ярких событий!.. «Славно, славно...» — киваешь ты, ковыляя во мраке, и я киваю в ответ: действительно, как же славно, что мы, дети, внимательно слушали тебя — пусть внутренне протестуя, пусть не все понимая, но слушали!

— ...как герои. А герои выигрывают битвы, но не войны. Думаете, почему великого Геракла наголову разгромили в Элиде? Потому что среди объединенных сил пилосцев, спартанцев и элидян не оказалось героев, зато нашлись опытные лавагеты¹. Под Писами бились люди с людьми — не боги, титаны или чудовища. Обычные люди, способные паниковать, истекать кровью, зубами вгрызаться в землю, не уступая и пяди. И Геракл отступил;

¹ Лавагет — полководец, военачальник.

впрочем, как я полагаю, ненадолго, ибо с некоторых пор он все больше человек, и все меньше — герой.

Дядя Алким остановился.

Почесал крючковатый нос, всегда сизый зимой..

Подытожил:

— Значит, надо учиться воевать, как это делают люди. В сущности ведь, у героя нет ничего, кроме предназначения. Их надо лечить или изгонять — а мы, глупцы, восхищаемся...

Все наше естество бунтовало. Кричало. Вопило. Сопротивлялось. Мы хотели быть героями. Мы хотели совершать подвиги. Но двое мальчишек слушали дядю Алкима, только что не разинув рты. А может, и разинув — сейчас уже трудно вспомнить.

Столь необычно было сказанное им.

— ...Герой должен быть один, мальчики мои. Он обречен мойрами-Пряхами на одиночество. Воюет в одиночку, побеждает в одиночку и умирает тоже в одиночку. Потом люди помнят Героя — напрочь забыв тех, кто помогал ему, был рядом, сражался и умирал плечом к плечу с ним. В этом сила, но в этом и слабость героя. В одиночестве. Ого-го и на стенку; ого-го — и в Вечность. Бултых! — круги по черной воде... Даже если собрать целую армию героев, каждый из них будет сражаться сам по себе. Это не будет настоящая армия; это будет толпа героев-одиночек. Жуткое, если задуматься, и совершенно небоеспособное образование...

Алким помолчал немного. Мы тоже молчали, не решаясь задать хоть один из множества вопросов, вертевшихся на языках.

Присохли языки.

— Люди живут иначе. И воюют иначе. У них зачастую нет телесной мощи героев. Им не покровительствуют родители-боги, вытаскивая из всех возможных и невозможных передрыг. У людей нет шлемов-невидимок, крылатых коней-пегасов и адамантовых серпов, закаленных в крови Урана. Люди смертны, люди уязвимы, терзаемы страхом вперемешку с сомнениями; людям приходится воевать по-другому. Там, где герой идет напролом или, воспарив на крылатом коне, обрушивает с неба на головы врагов ог-

ромные камни, люди ищут иные пути. Военная хитрость. Иногда, если надо, — подлость. Отвлекающий удар. Да, гибнут твои друзья, но их гибель — цена победы. Внезапные перемещения отрядов. Нападение из засады; удар в спину. Подкуп. Обман. Иногда мне кажется, что против этих способов бессильны даже Глубоко...

Дядя Алким вдруг осекся.

Резко сменил тон:

— Вернемся в Фивы. Давайте не будем сейчас рассматривать обманные маневры, засады, распускание ложных слухов, долгую осаду и ночные вылазки — ах, если бы Семеро не вели себя героями! Тогда бы они не погибли самым глупым на свете образом — героически. А будь во главе войска опытный лавагет — не герой! один, а не великолепная, наивная семерка! — он бы поступил по-другому. О, он многое сумел бы придумать, наш уязвимый лавагет, но вам ведь, мальчики мои, интересно другое: как можно взять Фивы приступом?

Мы с Ментором дружно закивали. В общем-то, мы ничего не имели против засад, обманных маневров и ночных вылазок, но приступ...

О, это сладкое слово «приступ»!

Штурм!

— Тогда смотрите. Первый удар — отвлекающий; в Нейские, юго-восточные ворота, которые укреплены слабее других. Тут вы оказались правы. Любой ценой выбить их тараном; если не получится — выманить фиванцев ложным отступлением и завязать бой под стенами. В город сразу пробиться не удастся, но это и не нужно. Как только сюда начнут стягиваться силы обороны...

Алким начал уверенно передвигать раскрашенные фигурки внутри игрушечной крепости; и вот — гремя доспехами, бегут к Нейским воротам воины-фиванцы, сверкает медь на щитах, блистают наконечники копий, свист стрел, крики, звон и грохот мечей о щиты...

— Теперь же... Ментор, помогай!

Другой отряд нападающих неожиданно вырвался из-за роши на холме. Бьет таран в Бореадские ворота, и створки трещат, болезненно вскрикивая под натиском; спешат на

подмогу оставшиеся фиванцы, бросают резервы — отразить второй приступ...

— Одиссей!.. да, да, вот отсюда!

И лишь теперь, выждав нужное время, со стороны Тиресиевых пустошей, у северо-западных Электрийских ворот — без всякого шума, крика и грохота — объявляется третий, основной отряд. С ходу считая немногочисленную стражу, атакующие врываются в город и бегут по улицам, не отвлекаясь раньше времени на грабеж и насилие, чтобы ударить в тыл... опрокинуть, смять, растоптать... подло и неотвратно, как должны воевать люди, как умеют воевать только они!..

Даже сейчас я вспоминаю о «взрослых детских играх» с удовольствием. Тогда же, маленький и торопливый...

На удивление, тогда мне сильно помог мой Старик.

— ...нимфа Тайгета родила Лакедемона от Зевса-Дождевика; от Лакедемона и Спарты, дочери Эвроты (который сам был сыном Лелега и наяды Клеохарии), родились Амикл и Эвридика; от Амикла и Диомеды, дочери Лапифа, родились Кинорт и Гиацинт, возлюбленный Аполлона... сыном Кинорта был Пиреер, женившийся на Горгофоне, дочери Персея, — от их брака родились Тиндарей, Икарий, Афарей и Левкипп...

Однажды, вконец замучившись от обрыдшей мне игры в «отцов и детей», я спросил папу: «А мы? мы тоже полубоги?» Лаэрт-Садовник криво усмехнулся: «Что же мы, сынок, лучше других?»

Нет, папа. Не лучше.

Впрочем, потешное взятие Фив — это случилось позднее, а в тот раз...

* * *

...Скука и сон будто сговорились.

Брали приступом.

Одолевали.

Чтобы не дать подлым глазам окончательно закрыться, Одиссей начал смотреть на Старика, расположившегося за

спиной дяди Алкима. Старику, по всей видимости, скучно не было: он слушал внимательно, время от времени кивал или, наоборот, хмурился, явно прикидывая в уме какую-то пакость; дважды одобрительно хмыкнул, а один раз, когда Алким мельком коснулся ввозных пошлин на благовоения, пробормотал невпопад: «Это если не учитывать пиратов! Впрочем, сын Лаэрта, платящий «пенный сбор»?!» — И Старик едва не расхохотался.

А Одиссею сразу стало интересно: отчего это он не должен платить какой-то «пенный сбор»? Оттого, что сын басилея Лаэрта должен быть смелым и никого не бояться? Конечно, так думать было приятно, но Старик, похоже, имел в виду что-то другое. Надо будет спросить у него — как-нибудь потом...

Но интерес Старика к рассказу дяди Алкима раздражал. Беспокоил.

Отгонял сон, как сам Старик отгонял беспокойные тени.

Одиссей прислушался внимательнее. Нет, интереснее не стало, но теперь Одиссей слушал из одного лишь упрямства. Если Старик считает, что это интересно и полезно, и дядя Алким, наверное, тоже так считает (иначе не рассказывал бы!), и даже Ментор слушает скрепя сердце — то что же это получается? Старик — умный. Потому что старый. Дядя Алким вообще самый умный, почти как папа. И Ментор тоже умным вырастет, наверное. Эвмей не в счет — он все-таки свинопас, пускай и очень веселый. Выходит, дядю Алкима не слушают только раб-свинопас и он, Одиссей? Выходит, Ментор вырастет умным, а он, Одиссей, дураком?

Фигушки!

Конечно, когда Одиссей вырастет, он станет басилеем, как папа, и великим воином. Героем! А как же иначе? Но дядя Алким всегда говорит, что воевать надо уметь в первую очередь головой. Тогда вернешься с победой и славой, а иначе — без головы.

Хорошо же! Он будет умным! Он узнает все, что знает дядя Алким, и станет таким же умным. Вот только спать очень хочется...

Рыжий упрямец вскинул голову сам, за мгновение до

того, как усердный Ментор собрался в очередной раз пихнуть его локтем.

Подавитесь!

Буду слушать!..

* * *

— Ну что, почем нынче девки на Большой Земле? — весело поинтересовался Эвмей, когда занятие окончилось и оба ученика радостно подбежали к свинопасу, больше всего на свете желая наконец порезвиться вволю — с Эвмеем это получалось как нельзя лучше!

И, неожиданно для самого себя, Одиссей, опередив Ментора, вдруг затараторил:

— Рабыни упали в цене чрезвычайно, и сейчас молодая швея на рынках Самоса стоит цену трех быков, а прядильница лишь на полбыка дороже; зато в Пилосе...

— Ишь ты! — удивился Эвмей. Но быстро оправился и хитро подмигнул Ментору. — Во дает, базиленок! А я вчера такую девку на ночь отхватил... Безо всяких быков.

— Безо всяких? — усомнились мальчишки.

— Ну, один бычок при мне был, ясное дело... Правда, то на ночь, а то — насовсем.

— А папа говорит, когда мама не слышит, что насовсем — это надоесть может, — сообщил Ментор, гордясь тайными познаниями. — Зато на ночь — интереснее.

— Ай, дамат! — сквозь смех с трудом выдавил Эвмей. — Ух, дамат! Орел! Мы, колченогие, завсегда...

— Мой папа орел! — гордо подбоченился Ментор, пропустив последние слова свинопаса мимо ушей, и Одиссею вновь очень захотелось надавать приятелю тумаков.

Сказано — сделано.

АНТИСТРОФА-II

ДОБРОГО ПУТИ И СВЕЖЕЙ ВОДЫ!

...Было? не было?

— Двое мальчишек играют в песке, — однажды сказал Старик. — По всему ахейскому *Номосу*, год за годом, двое

мальчишек играют в песке, и один из них — сумасшедший. Символ эпохи, можно сказать. Божий промысел.

Рыжий ничего не понял.

— Ты чего плачешь? — спросил у рыжего Ментор. — Палец занозил?

— Ага, — зачем-то согласился рыжий. — Палец.

* * *

Осень явилась самозванкой.

Пышная, сияющая, она раскрасила деревья в пурпур и золото плодов; небо налилось особенной синевой, приглашая бросить взгляд, как бросаются в море с Кораксова утеса — без оглядки, молитвенно сложив руки над головой, — и утонуть навсегда. Осень шла по Итаке, щедро рассыпая дары, а дядя Алким говорит, что перед войной рождается больше мальчиков, зато после войны — тем паче после многих войн — бывает хороший урожай.

Или это просто едоков становится меньше? — спрашивает сам себя дядя Алким, и сам себе не отвечает.

Зато папа сегодня пребывал в самом чудесном расположении духа.

— Это асфодели, — Лаэрт наклонился, сорвал один цветок, бледно-алый с желтенькими прожилками. — Иначе: дикие тюльпаны. На, понюхай.

— Пахнет... — протянул Одиссей, послушно втянув ноздрями воздух, но так и не найдя подходящего слова, чтобы определить: чем именно пахнет бледный цветок-асфодель.

— Да уж, пахнет. Небытием. Мне один хороший человек, спасибо ему, луковиц с того света привез... Жаль, их надо водой из Леты поливать. Были б тогда фиолетовые, с пятнышками; только нюхать их уже не стоило бы. А эта травка — с черным корешком, с белыми, медвяными цветочками! — называется «моли». Хочешь пожевать?

В вопросе отца явно таился подвох.

Маленький Одиссей отчаянно замотал головой. Меньше всего ему хотелось жевать травку с черным корешком и медвяными цветочками.

— Молодец. Если пожевать моли — будешь защищен от колдовства, порчи и дурного глаза. Но со второго раза возникает привыкание. Голова кружится, всякая блажь мерещится... Один хороший человек, когда мне рассадку привозил, предупреждал. А это у нас мак: тот, что ярче, посвящен Гипносу-Сладчайшему, а который почти черный — вырос на крови Прометея, в Колхиде. Знаешь?

— Ага, — кивнул Одиссей и с уважением посмотрел на клумбу темно-багряных, действительно едва ли не черных цветов. Сразу представилось: скала, титан Прометей висит на цепях, коршун терзает титанову печенку, а внизу — точно такая же клумба.

И папа поливает маки из леечки.

Красота!

— А вот эта липа от семени гипподриады Липы-Филюры, матери кентавра Хирона... Когда ты прошлой зимой снега наелся и кашлял, наша мама тебя сушеным липовым цветом отпаивала. За два дня как рукой сняло! Спасибо одному хорошему человеку, еще до твоего рождения достал семечко!.. уважил!.. А это яблоня Гесперид, вечерних нимф Заката. Только она у нас не плодоносит. Солнце мешает. Ведь у них, на Закате, сплошной закат, а у нас еще и восход покамест случается. Сохнет яблоня от восхода...

— Хороший человек привез? — на всякий случай спросил мальчишка. Хорошего человека он себе представлял... ну, хорошим.

Который папе все привозит.

Лаэрт засмеялся:

— Точно! В Микенах — дураки! — эти яблочки добыли да обратно вернули, а мне по дороге огрызочек случился. Привезли... порадовали!..

— Хороший человек!

Одиссей прошелся колесом: во-первых, от радости, во-вторых, чтобы папа увидел, как его сын умеет колесом ходить.

— Лучше некуда! Тут у нас, сынок, еще одна яблонька растет... Гранатовая яблонька. Есть в городе Баб-Или¹

¹ Баб - Или (Врата Бога) — Вавилон.

торговый Дом Мурашу, хороших людей там — пруд пруди. Один лучше другого. Вот, значит, саженец подарили, за услуги. Из земель хабирру¹ доставили. Но и она не плодородит. Говорили, ее каким-то змием укреплять надо, по стволу. Я и ужа пробовал, и гадюку, и другую гадину, что из Горгонских кудрей... ни в какую! Ну да ладно, пожием-поищем...

Ранняя лысина Лаэрта-Садовника вся покрылась бисеринками пота: от удовольствия, должно быть. Мол, поживем, поищем, найдем, а там очередной хороший человек еще чем-нибудь порадует...

— Это у нас лавр и гиацинты; оба, сынок, тоже хорошенько замешаны на крови. Удивительное дело: красота чаще всего вырастает, если ее кровью удобрять. Про Гиацинта я тебе рассказывал, как его метательным диском убило; а лавр — это дриада Дафна-покойница. Оба — не удавшиеся любовники... знаешь, мальчик мой, Глубокоуважаемым вообще редко везет с любовниками.

Лаэрт задумался о чем-то своем.

Добавил погода:

— Да и с любовью, пожалуй, тоже.

...Осень шла по Итаке.

Память ты, моя память... папа, это я.

Я вернулся.

Я стою рядом с тобой-молодым и с собой-маленьким; я нюхаю асфodelь и не хочу жевать травку-моли; я слушаю твою болтовню ни о чем — якобы ни о чем. Ты всегда любил поговорить о пустяках, о своем саде, куда «хорошие люди» отовсюду свозили чудесные, невозможные саженцы, семена и побеги; ты обожал эти редкие минуты именно за самое дорогое, что в них было, — за редкость.

Мама вечно бранилась, что ты уделяешь мне мало внимания. «Наша мама», как ты всегда называл ее в разговорах со мной; и капелька доброй лжи в этих словах была сладкой на вкус.

Наша мама была не права.

¹ Ха бир ру — иудей.

Просто твое внимание было направлено повсюду; оно было не таким, как у других, не столь заметным, не столь бесстыже-выпирающим — твое внимание.

Редким оно было, редким и дорогим, подобно бессловесным обитателям твоего сада.

Папа, это я. А это ты — невысокий, плотный, облысевший задолго до моего рождения, сразу после двадцати (мама смеялась, что любит только настоящих мужчин — малорослых и лысых; она всегда прибавляла, что настоящий мужчина еще должен быть толстым, как ее отец, а тебе, Лаэрт-Садовник, всегда чуть-чуть не хватало до маминого идеала...); ты двигаешься неторопливо и косолапо, широко расставляя носки сандалий, стоптанных по краю подошвы.

Тогда мне казалось: ты похож на Зевса-Эгидодержавца. Просто другие почему-то не умеют замечать этого. Мне и сейчас так кажется. А другие... они по-прежнему не научились замечать.

Они только и умеют, что многозначительно переглядываться при упоминании имени Лаэрта-Садовника.

Лаэрта-Пирата¹.

...Боги! до чего же глуп я был! той детской глупостью, что у взрослых сродни подлости. Ведь больше всего на свете я мечтал о благословенном дне — папа! прости!.. — когда ты наконец поедешь на войну. Я надеялся, что ты возьмешь меня с собой; и вот теперь я уезжаю на войну, прямоком в сбывшуюся мечту, и могу лишь кричать в ночную темень: «Папа!.. это я!.. спасибо тебе!»

Возвращаться трудно.

Кто знает это лучше нас с тобой, Лаэрт-Садовник, мой смешной лысый папа? — никто.

Кстати, о богах.

¹ Пират — слово греческого происхождения, использовано, в частности, в трудах Полибия и Плутарха; примерный смысл «совершающий нападение на кораблях».

Маленький Одиссей ликовал. Бродить по садику вместе с папой было совсем не то, что бродить по садику без папы — пускай даже вместе с няней или Ментором. Но ехать с папой в северную бухту Ретру...

Мама ворчала.

Мама упрекала папу в легкомыслии.

Мама в конце концов поехала вместе с ними. Потому что базилия с домочадцами ждало празднество урожая. Одиссей не очень хорошо знал, почему празднество урожая надо справлять не в садике, а на пристани, да еще не в людной Форкинской гавани, а на дальней стороне бухты, где и корабли-то появляются редко, большей частью — поздно вечером. Но, видимо, папа под урожаем понимал что-то свое, недоступное маленьким мальчикам; и папино мнение разделяла куча народу, ибо берег бухты кишел людьми.

Малыш раньше никогда не видел столько людей в одном месте. Жаль только, что папа приехал не на колеснице, а на осле, усадив его, рыжего Одиссея, на колено. Ослик был хороший, он покорно трюхал по горным тропинкам все ниже и ниже, спускаясь к морю; сзади на другом ослике, толстом и корноухом, ехала мама, а за мамой шли служанки и няня Эвриклея. К концу пути Одиссею стало казаться, что колесница ничуть не лучше милых осликов, но он на всякий случай спросил об этом у папы.

— Колесница? — Лаэрт потрепал сына по знаменитым кудрям («Мое солнышко!» — часто ласкалась мама). И махнул свободной рукой за спину: туда, где курчавились порослью склоны Этоса. — Здесь?

Рыжий представил себе колесницу — здесь?! — и без видимой причины ему стало смешно.

Так, смеясь, и доехали до бухты.

— Свежей воды!

— Доброго пути и свежей воды!

Они выкрикивали пожелания, однообразно-громко, они самозабвенно вопили, и в ушах едва ли не всех явившихся в бухту мужчин — свободных, рабов, пастухов, ко-

жевенников, жнецов и пахарей — колыхались серьги: медные капли, у некоторых с жемчужиной или сердоликом.

Солнце играло в металле, брызгаясь зайчиками.

Щекотно.

...папа, мне трудно возвращаться. Я трюхаю помаленьку на ослике-ленивце, и давнее празднество урожая сливается со многими иными праздниками на Итаке, где мне довелось присутствовать — будто я не тащусь еле-еле, а мчусь изо всех сил, и виды по обочине дороги сливаются в сплошную обжигающе-яркую полосу.

Колесница?

Здесь?

Я-большой (а я большой?) отмечаю другое: по праву базилея ты резал жертвенных животных. Совершал возлияния. Отсекал у жертв языки и кропил их вином. Подымал чаши. Произносил слова.

Лаэрт-Садовник! почему, обращаясь к богам — к Глубокоуважаемым, как говорил ты и как вслед за тобой повторяли прочие итакийцы — ты никогда не называл их по имени?

Не Посейдон, а Владыка Пучин, Морской Дед или Фитальмий, то есть Порождающий.

Не Зевс, не Дий-Отец — Скипетродержец, Учредитель или Высокогремющий.

Вместо Аполлона — Дельфиний или Тюрайос, Отпирющий Двери.

Не Гера — Волоокая, Владычица...

Сова взамен Афины.

Куда позже я заметил, что ты избегаешь имен далеко не всех богов — лишь Олимпийской Дюжины. Но избегаешь так, чтобы к тебе нельзя было придрататься. Бывало, на Итаке гостили знатоки обрядов: ты открывал пиры в присутствии Навплия-Эвбейца и базилея святой Фокиды, ты устраивал общие моления, когда за спиной торчал этот желчный дылда, старший жрец из лемносского храма Дориды-Океаниды, приехавший лично поблагодарить тебя за богатое пожертвование. Сомневаюсь, что твои уловки вообще были замечены со стороны — люди будто превра-

щались в слепцов, все, кроме дамата Алкима, чей взгляд в твою сторону я позднее не раз ловил.

Спокойный, понимающий взгляд, какой бывает меж людьми, посвященными в общую тайну.

Сейчас я тоже имею право так смотреть на тебя, папа.

Я дорого заплатил за это право. И не жалею. Ты ведь сумел выжить, Лаэрт, ты качаешься одиноким колосом среди опустелой нивы, ты сумел вернуться, никуда не уезжая; я, твой сын, тоже сумею.

Я, Одиссей, сын Лаэрта.

Хорошие вещи — они, как правило, дорогие.

В особенности оружие.

* * *

Сразу за дворцом с его знаменитым садом — точнее, за садовой оградой из белого известняка, в полтора человеческих роста — начиналась большая луговина. Испокон веку она приманивала разнотравьем коз и баранов, а базилей Лаэрт отнюдь не возбранял пастухам выпасать стада в крамольной близости от оплота итакийской власти. Более того: блеяние-меканье давно стало неотъемлемой частью общего хора мироздания. В конце концов, к чему хорошей траве пропадать?

И в горы плестись не надо...

Правда, сейчас, осенью, отары перегоняли дальше, в предгорья Нейона — пожировать напоследок; базилейские же «дюжины» — по двенадцать стад быков с коровами, овец, коз и свиней, принадлежащих лично Лаэрту — объедали нейонские пастбища с весны. Зато по ту сторону изгороди образовывалось прекрасное место для игр. Не все ж наследнику в саду смоквы околачивать?!

Разумеется, под присмотром верного Эвмея и няни.

На этот раз мальчишек было четверо: Одиссей, Мен-тор, забияка Эврилох, сын Клисфена, сына Архестрата, одного из итакийских геронтов; и трусишка-Антифат, родичей которого Одиссей никак не мог запомнить.

Вчетвером играть куда веселее, чем вдвоем!

Будете спорить?

— Ты зачем его бьешь? — поинтересовался Эврилох еще по дороге, когда Одиссей как следует пнул идущего рядом Эвмея в ляжку.

— Это мой раб! Хочу — и бью.

— А зачем хочешь?

— А чего он мне в глаза пылит? Пусть не шаркает!

— Ух ты! — Эврилоха, записного драчуна, явно восхитила мысль, что, оказывается, можно на законных основаниях бить такого здоровенного дядьку, как рябой Эвмей. — А он на меня тоже пылит! Можно, я его тоже немножко побью?

— И я!

— И я!

На мгновение Одиссей растерялся. Но увидел, как просияло радостью простоватое лицо свинопаса, как он с мольбой воззрился на своего маленького хозяина — и все понял правильно.

— Можно! — последовало милостивое соизволение. — Разрешаю.

— Только давайте играть, будто он — циклоп-людоед, а мы — аргонавты!

— Точно! Мы на его остров высадились...

— А он нас съесть хотел!

— А мы его...

И тут Эвмей зарычал. Да так, что у настоящего циклопа-людоеда вся желчь от зависти выкипела бы! Зарычал, затряс головой, пошел, расставив руки и припадая на одну ногу — прямо на трусишку-Антифата. Антифат не понял, что игра уже началась, и испуганно попятился от свинопаса. Зато Одиссей с Ментором сразу все поняли; и вот уже двое доблестных аргонавтов отважно нападают на циклопа, желающего полакомиться их товарищем! Почти сразу же аргонавтам на помощь пришел чуть замешкавшийся Эврилох, а следом — устыдившийся своего малодушия Антифат, который теперь из последних сил стремился доказать приятелям, что он — тоже герой! не хуже других! а, может быть, даже лучше!

Будьте мужами, друзья! Да снискаем великую славу!

Кто побежит — тот девчонка!..

Поначалу нянюшка Эвриклея с тревожным неодобрением следила, как огромным крабом ворочается рябое чудовище, стряхивая с себя юных героев, как те раз за разом бросаются в атаку, молотя кулаками живучего великана — но потом не удержалась. Прыснула втихомолку, присела под тенистой смоковницей, достав из корзинки взятое с собой рукоделие.

— Вот тебе, вот тебе! По зубам!

— Не ешь! не ешь людей больше!

— Гррры-оу-ааа! В корень — это правильно! молодец!

В самый корень бей... Рррыхх!..

— Держи его! Убегает!

— За ноги, за ноги хватай!

— В глаз!

— Верно, в глаз! И пальцем, пальцем... Ыгррррах! У-у-у-у-у!..

Когда циклоп наконец был повержен, герои решили, что настала пора новых подвигов и что нехорошо всем бить одного. Эвмей был с этим категорически не согласен. Он как раз считал, что самое лучшее и есть, когда все — на одного; но возражения свинопаса оставили без внимания и перешли к обустройству честной битвы. К несчастью, уроки дяди Алкима помогли выяснить: пять на два поровну не делится — и Эвмею было разрешено отдохнуть.

А герои тем временем заспорили: кто из них будет братьями-Диоскурами¹, а кто — Афаридами²? В конце концов Диоскурами выпало быть Одиссею с Ментором, а Афаридами — Эврилоху с Антифатом.

И грянул бой!

Доблестные воители, вооружившись луками и дротиками, устроили охоту друг за другом: скрываясь за кустами мирта и раkitника, устраивая короткие перебежки, подкрадываясь ползком — и после с громовыми кличами набрасываясь на врага из засады.

¹ Диоскуры — братья Кастор и Полидевк, сыновья спартанского басилея Тиндарея и его жены Леды. Согласно традиции, Кастор был рожден Ледой от законного мужа, а Полидевк — от Зевса.

² Афариды — братья Линкей и Идас, сыновья мессенского басилея Афарея, двоюродные братья Диоскуров; все четверо — бывшие аргонавты. В споре из-за угнанных совместно стад перебили друг друга.

Эвмей некоторое время наблюдал за военными действиями.

Потом хмыкнул, огляделся внимательно по сторонам, улегся под кустом ракитника — и, похоже, заснул. Или сделал вид, что заснул, поскольку никогда нельзя было сказать с полной уверенностью: спит свинопас по-настоящему или только притворяется? Надо заметить, что рябой весельчак засыпал всегда и везде, как только для этого выдавалась свободная минутка. Иногда прямо на ходу, продолжая хромать в нужном направлении. Впрочем, так же мгновенно он и просыпался при первом подозрительном шорохе.

Собачья, славная привычка.

А вот о том, почему он предпочитает спать днем и что в таком случае делает ночью, Эвмей особо не распространялся.

Однажды попробовал, так нянюшка Эвриклея... ох и нянюшка!

Зевесов перун, не нянюшка!

Память!.. горькая память моя!..

Откуда было знать четверке мальчишек-итакийцев, что в это самое время в обильной зерном Мессении, у Могильного камня, схватились насмерть великие: Диоскуры с Афаридами, братья с братьями?! Что эхом игры — убийство? или это игра — эхо?!

Откуда было знать, что новое поколение — всегда эхо старого?! По всему ахейскому *Номосу*, год за годом, мальчишки играют в песке, и один из них — сумасшедший...

Символ эпохи — игра в смерть.

— ...Я тебя убил! Падай!

— А вот и нет, а вот и нет! Мимо! Стрела только хитон зацепила!

— На тебе, дротиком!

Однако от дротика Эврилох увернулся и бросился на врага врукопашную. Мигом подоспели двое других героев, и образовалась «куча мала».

Закономерный итог любой битвы.

— А давайте: один прячется, а трое ищут! — предложил всклокоченный Ментор, поднимаясь с земли в клубах пыли.

— Давайте! Как Зевс от своего папы Крона прятался!

Прятаться выпало Одиссею, и он азартно бросился прочь, пока остальные, отвернувшись и старательно зажмурившись, трижды проговаривали известную всей детворе считалку:

— Вот у весел ждут герои,
Возле каждого их двое:
Здесь Тезей сидят с Язоном¹,
Мелеагр с Теламоном,
Рядом с Идасом — Линкей,
Вот Геракл, вот Анкей,
Полидевк и Кастор рядом,
Братья Зет и Калаид,
Обводя героев взглядом,
На корме Орфей стоит.
На дворе уже темно,
Мы идем искать руно!

Примерно на «Полидевке и Касторе» рыжий беглец кубарем скатился в небольшую ложбину, вскочил на ноги и побежал по дну, подыскивая укрытие.

«Пусть попробуют меня найти! Так спрячусь, что до вечера искать будут! А кто близко подойдет — я его из засады стрелой-молнией! ба-бах!».

Взбираясь по противоположному склону ложбины, Одиссей заметил глубокую рытвину.

«Или, может, еще подальше забраться?!»

— Давай сюда! Тут тебя в жизни не найдут!

Рыжий дернулся на голос, вскидывая свой игрушечный лук.

На верху склона стоял мальчишка. Ровесник или чуть постарше. Кучерявый; кучерявый настолько, что сам Одиссей рядом с ним был, будто лис рядом с ягненком. Этого мальчишку, одетого в нарядный хитончик без рукавов, Одиссей уже видел раньше. Впервые — в отцовском

¹ В разных областях в считалке упоминались разные аргонавты; полный перечень гребцов не использовался по причине громоздкости.

мегароне, на вручении дедушкиного лука; второй раз — в страшном сне про Ламию. И оба раза что-то в лице мальчишки казалось Одиссею странным.

Неправильным.

Однако сейчас сыну Лаэрта было не до разглядывания лиц.

— Давай, забирайся, — кучерявый нетерпеливо дернул рукой. — А то увидят.

Во второй руке мальчишка тоже держал маленький игрушечный лук, а за спиной его висел колчан со стрелами.

Не заставив себя упрашивать, Одиссей через мгновение оказался рядом с кучерявым.

— Сюда! — Новый знакомец схватил его за руку, увлекая в просвет между двумя терновыми кустами. Терн рос настолько тесно, что, того и гляди, от нагледцов одни клочки останутся! Однако между кустами дети проскользнули выюнами, ни разу не оцарапавшись, и вскоре оказались на просторной поляне, сплошь окруженной шипастым частоколом.

...память!

Лишь сейчас, по возвращении на твой берег, я могу назвать по имени чувство, пожаром охватившее тогда маленького ребенка.

Я любил терновник, любил, как любят мать, отца, вожака, игрушку или еду, подкрепляющую готовые угаснуть силы. Я любил терновник, и шипы бережно коснулись детской кожи, а ветви расступились воинами, пропускающими вперед своего владыку.

Так случилось.

* * *

— Тут они нас не найдут! — радостно сообщил кучерявый.

— Ага! — кивнул рыжий, оглядываясь по сторонам. — А я тебя видел уже. Тебя как зовут?

Кучерявый на миг запнулся, словно прикидывая, и Одиссей еще успел удивиться: разве можно забыть собственное имя?!

— Знаешь, зови меня Телемахом, — наконец представил

вился кучерявый с откровенной гордостью. — Далеко Рязящим.

— А я Одиссей! Сердящий Богов. Сын базилея Лаэрта, — выпятил в ответ грудь наследник итакийского престола. — Ты здесь с кем играешь?

— С тобой, — пожал плечами Телемах.

— А ты один?

Одиссей плохо понимал, как можно играть одному. С друзьями куда интереснее!

— Один.

— Без взрослых?! — совсем уж изумился рыжий базиленок. — Тебя отпустили?

— Отпустили.

— Здорово... — Зависть оказалась горькой на вкус. — А меня одного не отпускают еще. С нами няня Эвриклея. И Эвмей, мой лучший раб. Только он заснул. Кажется.

Телемах ухмыльнулся:

— Ну и пусть дрыхнет, соня!

— А давай с нами! — щедро предложил Одиссей.

Наверное, кучерявому наскучило одиночество. Надо обязательно принять его в игру!

— Потом... — неопределенно протянул Телемах. — Когда-нибудь. Лучше мы с тобой из луков постреляем.

Только сейчас Одиссей обратил внимание на лук Телемаха. Лук был маленький, детский, ненамного больше, чем его собственный — зато сделан так, что зависть выросла выше Олимпа! Получше иного настоящего! Тут тебе и хитрый изгиб, и полировка, и резьба — цветы всякие, и листики, в придачу разукрашены, как папина клумба! И накладки костяные, и даже тетива — подумать только! — разноцветная!

Радуга, не тетива!

— Ух ты! — не удержался Одиссей.

Но тут же не преминул похвастаться:

— А у меня настоящий лук есть! Во-о-от такенный! Мне его дедушка Автолик подарил! А тебе твой тоже дедушка подарил?

— Нет, мне — папа, — Телемах ухмыльнулся чему-то своему.

— Хороший у тебя папа!

— Ага. Мой папа — ого-го! Ну что, давай стрелять?

— Давай! А куда?

— А вон видишь — камень? А на камне — фигурка деревянная.

— Вижу.

В дальнем конце поляны действительно возвышался бесформенный ноздреватый камень. И на нем стояла фигурка — отсюда не разглядишь, чья. Но Одиссею на миг показалось: фигурка не деревянная, а золотая. Наверное, солнечный луч шутки шутит.

Оказывается, Телемах успел заранее подготовить мишень.

— Стреляй!

— Далеко-о-о... — протянул Одиссей; но, тем не менее, вскинул лук, натянул его до упора и выстрелил.

Для игрушки-самоделки и мальчика ростом в два локтя это был отличный выстрел. Тростинка-стрела с наконечником, обмотанным полоской меха, ткнулась в подножие камня.

— Я ж говорил — далеко! — развел руками Одиссей.

— Он говорил! — обидно расхохотался Телемах. — Смотри!

Кучерявый поднял свой разукрашенный лук. Медленно оттянул тетиву — и Одиссей даже не понял, в какой момент короткая стрела с бутоном розы, закрепленным вместо наконечника, прыгнула к цели.

Просто была стрела на тетиве — и нет ее.

Просто стояла мишень на камне — и уже не стоит.

Исчезла. Как ветром сдуло.

До камня мальчишки добежали одновременно. Искусно вырезанная и позолоченная фигурка юноши-лучника валялась на траве, стрела — рядом, а во рту юноша закусил алый бутон.

— Ну конечно, из такого-то лука... — со слезами в горле протянул Одиссей.

— Хочешь, дам стрельнуть? — великодушно предложил кучерявый.

— Ага!

Стрела была поднята, мишень установлена на место, и Одиссей радостно схватил Телемахов лук вместе с новой стрелой-красноголовкой.

...Все вещи несут на себе отпечаток своих хозяев. Владельцев. Или мастеров, кто их сделал. Все, без исключения.

Но иногда это проявляется особенно сильно.

У меня ощущение «вещности» почему-то связано в первую очередь с луками.

Я почувствовал дрожь в теле, когда впервые взял в руки лук, завещанный мне дедом, Волком-Одиночкой. И то же самое произошло, когда я впервые коснулся лука кучерявого Телемаха.

Нет, не то же самое.

Иначе.

Мир налился красками, заиграл солнечным гляncем, умытый нянькой-дождем; мир заулыбался мне — и я невольно улыбнулся в ответ. Я любил этот мир! дождь! свет! Мне было хорошо в нем! И я не хотел обижать деревянного лучника-мишень, пронзая его своей стрелой — я выстрелил, любя.

Как не дано большинству.

Мишень качнулась и медленно завалилась на бок — стрела лишь игриво ткнула фигурку в бок, уносясь дальше.

Дескать: ну что же ты? Догоняй!..

— Неплохо для начала, — покровительственно заявил кучерявый Телемах. — Потом я тебе покажу, как надо стрелять по-настоящему!

И я совсем не обиделся на покровительственный тон; словно почувствовал — мальчишка имеет на это право.

Хотя, конечно, тогда я ни о чем таком не думал.

— А ты мне дашь пострелять из своего настоящего лука? — сразу поинтересовался Телемах.

Гордость наполнила меня до краев. Лук кучерявого просто замечательный — но дедушкин лук все равно лучше!

— Конечно, дам! — великодушно пообещал я.

Впоследствии я сдержал слово.

— Ты где прятался? Мы тебя искали-искали...

Одиссей покосился в сторону терновника.

— Вон там.

— Врешь! Мы тут все облазили! Не было тебя там!

— Там терн... не пролезешь... — Антифат вдруг запнулся, глядя на указанный Одиссеем проход. — Не было тут тропинки! Не было!

— Это у тебя глаз нету! Вот она!

За кустами все оказалось по-прежнему: ноздреватый бесформенный камень, истоптанная трава — только кучерявый Телемах с фигуркой-мишенью куда-то исчезли.

— ...Не заметили! — сокрушался Эврилох. — Голос даже твой слышали! Ты нас дразнил! Слепыми совами и этими... землеройками. По шее тебе за это надо...

Ему, Одиссею, — по шее?! От какого-то Эврилоха?! Во-первых, никого он не дразнил, а во-вторых...

— А ну, попробуй!

— И попробую!

Подоспевшей Эвриклее с трудом удалось разнять драчунов — пора было идти обедать.

ЭПОД

ИТАКА

Западный склон горы Этос; дворцовая терраса (Сфрагида¹)

...меня рвало прошлым.

До судорог.

До пены на губах; пока не пошла желчь.

Пловец, я вырвался из моря воспоминаний, разомкнул его цепкие объятия — куда погрузился сам, по доброй воле, в не очень здоровом уме и отнюдь не трезвой памяти;

¹ Сфрагида — часть кифаредического нома, где автор (исполнитель) вместе с основной мыслью-рефреном обязательно называет свое имя.

я бил руками по волнам событий, баламутил воду дней, тонул в былом и вновь всплывал на поверхность...

Я возвращался. Возвращался и уходил, уходил и возвращался, пока не перестал различать: где уход? где возвращение?

Где я?! кто я?!

А проклятый аэд-невидимка все скрипел в ночи стилосом:

— ...Вспухло все тело его; извергая и ртом, и ноздрями
Воду морскую, он пал наконец бездыханный, безгласный,
Память утратив, на землю; бесчувствие им овладело...

Измученный, я пластом лежал на спасительном берегу настоящего — на *настоящем* спасительном берегу?... — ожидая, когда вновь рискну вернуться в воды прошлого.

Я вернусь.

* * *

Зеленая звезда качается над утесами.

Стонет от ветра.

«Эй! тля-однодневка! видишь ли?!»

Кто из нас кому шепчет это?

— Я убью тысячу врагов! я!! тысячу!!!

Они там, внизу, у кораблей, полагают, что я сейчас разговариваю с богами. Я, их басилей. Военный вождь. Иначе они не видят ни одной причины, почему бы мне не спуститься к ним, будущим соратникам, каждый из которых уверен в каждом, как копейная рука уверена в щитовой; действительно, почему бы не тискать податливых женщин, не пить вино и почему бы не кричать во всю глотку о заветной тысяче, только и ждущей, когда ты наконец придеешь и убьешь ее — если, конечно, ты не разговариваешь с богами?!

В каком-то смысле они правы.

В прямом.

К глазам мало-помалу возвращается способность видеть.
Тень.

В углу террасы; у перил.

— Кто?! кто ты?!
— Я — твоя тень.

...это Старик.

Врешь! Ты не моя тень! ты просто тень!

Ты совершенно на меня не похож!

Дергаю плечом — насмешливо, с издевкой. Давай! по-
твори! раз ты моя тень!

Он сидит на корточках в углу террасы, невидимый ни-
кому, кроме меня; впрочем, здесь больше никого и нет.

Не хочет дергать плечом.

— Это ты на меня не похож. Пока.

И добавляет чуть погодя:

— Дурак. Если бы в самом начале я пришел к тебе по-
другому — моей тенью был бы ты. Навсегда; без исхода.
А так... я готов подождать.

Он готов подождать. Нет, вы слышите: моя тень, знаете
ли, любезно готова подождать! А я не готов. Мне с рассве-
том отплывать на войну. Меня проводили жена и любов-
ница. Мою печень ждет самый шустрый копейщик в Пер-
гаме¹. А я не гордый. Я согласен ждать здесь. Я согласен
самого шустрого с его копьем оставить кому-нибудь дру-
гому: громиле Аяксу-Большому, богоравному Диомеду из
Аргоса или, на худой конец, моему другу детства Эврилоху.

— Согласен?

Да, Старик. Ты не ошибся. Согласен; целиком и пол-
ностью. Я, Одиссей Лаэртид, не стану бить себя кулаком в
грудь и кричать, что готов положить душу за други своя,
что заслону собой любого, лишь бы он жил, и с радостью
отойду в Аидову мглистую область, утешаясь прощальны-
ми кличами товарищей.

Лучше я сам провожу их на погребальный костер; горе
войдет в мое сердце, но не разорвет его. Я собираюсь
жить. Я собираюсь выжить. Я собираюсь вернуться.

Мне девятнадцать лет, и я отправляюсь на войну.

¹ Пергам — троянский акрополь (букв. «вышгород», кремль) —
верхняя укрепленная часть города.

Аэд-невидимка!
Что ты пишешь?

— Если уж коротки дни мои, годы ушербны —
Зевс-Громовержец, ты должен мне славы за это?

Вычеркни! разровняй воск! Зевс, не слушай дурака!!!
Напиши иначе:

— Я б на земле предпочел батраком за ничтожную плату
У бедняка безнадельного вечно и тяжело работать,
Нежели быть повелителем мертвых, простившихся с жизнью!

Меня тошнит памятью; и вместе с прочими я извергаю тот день, когда мне впервые стало *скучно*. Когда рассудок неугомонного мальчишки впервые превратился в ледяное лезвие, в капельку черной бронзы; когда я ощутил мой личный *Номос*, еще не зная истинного значения этого слова — душой, сердцем, нутром, тайной глубиной, куда ныряешь за смертью или прозрением.

Это случилось в саду.

Я был один. «Одиссей! — позвала издалека мама. — Иди кушать!» Я оторвался от песочных башенок и внезапно почувствовал себя птенцом в скорлупе. Земля, небо, я сам — все слилось на миг в единое целое: отцовский дом с садом, луг, куда меня водили гулять, бухта Ретра, куда мы ездили на праздник урожая, небо над головой — свинцовое зимой, прозрачно-лазурное осенью, укрытое пеной облаков; люди — папа, мама, няня, рябой свинопас, друзья-мальчишки, дядя Алким... боги, чьи имена были для меня плохо понятны, но которым я молился, потому что ребенку сказали: так надо!..

Яйцо.

И я — внутри; в центре.

Яйцо пульсировало, грозя увеличиться в размерах или треснуть. Мне было *скучно*; нет! — мне *стало* *скучно*. Ушел страх, радость, боль и недоумение; холодно!.. холодно! Рыжеволосый мальчишка стоял в яйце, в своем личном *Номосе*, без слов понимая главное: я совершу все, что не позволит скорлупе треснуть.

Все, необходимое для спасения; в первую очередь, для спасения самого себя, ибо я — центр маленькой вселенной.

Ибо без меня моей вселенной будет плохо, потому что ее не будет вовсе.

— Одиссей! Иди кушать!

Я побежал на зов. Даже не зная, что видение ушло, а знание осталось. Оно, это новое знание, властно пело во мне: я! сделаю! все! Никогда больше я не дремал на уроках дяди Алкима, впитывая его слова, будто губка — воду; никогда не подходил к краю утеса ближе, чем следовало, убивая насмешки приятелей быстрым и обидным ответом; карабкаясь на скалы с риском сорваться, я вымерял риск грядущей пользой — окрепшими пальцами, чутьем тела, силой! даже совершая глупости, я понимал: это необходимо ради обретения опыта...

Нет.

Ничего я не понимал.

Я и сейчас-то мало что понимаю.

Мальчишка оставался мальчишкой, отнюдь не превращаясь в маленького старца. Но время трещин на скорлупе отодвигалось в туман неслучившегося.

Если б еще знать: потерял я или приобрел?!

...А ты, мой Старик? моя тень?

Ты ведь почувствовал, да?!

Иначе зачем ты послушался меня, когда я не позволил тебе отогнать явившегося однажды бесплотного бродягу; и даже помог мне в строительстве кенотафа?

А потом еще раз.

И еще.

Неужели ты знал: придет ночь, одна из многих, и я скажу:

— Я вернусь!

ПЕСНЬ ВТОРАЯ

ОДИН ЖЕНИХ, ОДНА СТРЕЛА И ДЮЖИНА КОЛЕЦ

И море, и Гомер — все движется
любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер
молчит.
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит
к изголовью.

О. Мандельштам

СТРОФА-I

БЕЙ РАБОВ, СПАСАЙ ИТАКУ!



Товорят, была у Сатира Аркадского волшебная раковина. Дунешь на гору — ужаснутся камни, вниз сбегут. Дунешь на море — ужаснутся волны, прочь отхлынут. Дунешь на небо — ужаснутся облака, кинутся врассыпную, а следом ветра-свистоплясы, а следом Гелиос-Всевидец, теряя на бегу лучи-сполохи.

Так вот, один итакийский козленок — почти взрослый, можно сказать даже, совсем козел — орал куда ужасней.

— Ры-жий! Ры-жий!

— Ря-бой! Ря-бой!

Мнения разделились.

И над всем этим гвалтом — истошное «М-ме! ммм-мме! ммме-е-еррзавцы!..»

Даже сейчас, едва вспомню: дрожь по телу... я вернулся.

Второй козел — совсем козел безо всяких «почти» и «можно сказать» — молчал, как мятежник-титан под Зевесовым перуном. Онемел; закусил бороду, полагая происходящее особым козлиным кошмаром, которому рано или поздно придется развеяться.

Ничуть не бывало.

— Рябой! жми!

— Ры-жий! держись, базиленок!!!

На бревне, перекинутом через ручей, раскорякой топтались двое чудовищ. Ну посудите сами: можно ли назвать людьми тех, кто взял сыромятные ремни да и прикрутил себе на спину по живому козлу?! Бедные животные простирали копыта к небесам, моля о пощаде, дергались, мотали рогатыми головами, а подлым мучителям хоть бы что!

В придачу еще и на бревно взгромоздились...

Вот одно чудовище — только и видно за рогами-космами, что ослепительно-рыжее! — присело еще ниже, едва ли не вцепившись босыми пальцами ног в кору. Потянулось лапой, достало, ухватило всей пятерней лодыжку соперника. На себя... еще...

Фигушки!

С тем же успехом можно было двигать Олимп.

Зато соперник, повыше вскинув своего козла, прихватил ладонью затылок рыжего чудовища. Надавил вниз и на себя.

Гиблое дело.

Брось, не срамись!

...Пошли руки навстречу друг другу.

Заиграли, заплясали. Убрать, прихватить, дернуть; дернуть, убрать, прихватить. Шустрей, пальцы! ловчей, плечи! не выдайте, локти! О коленках и речи нет: подломится невольно — лететь брызгам радугой, божьей вестницей!

— Ры-жий! ры-жий!

— Мм-м-ме!

— Ааааааааах!

Сдернули рыжего. Увлекся. Припал коварный враг к бревну, подвела врага хромая нога; тут бы ему и конец, да вместо конца начало случилось. Долго объяснять, откуда что — короче, лети, друг-рыжий, в ручей.

Скучно рыжему самому лететь.

Обидно.

— Бей рабов!!!

И когда он пере-из-под-вывернулся?! когда вражьи щиколотки ухватить успел? — а, какая теперь разница... пальцы-крючья, мозоли из черной бронзы кованы, под ногтями белым-бело, хоть Гефестовыми клещами разжимай!..

Брызги — до неба.

Воплей — хоть оглохни.

Козлы... все.

— А на Большой Земле иначе... — с завистью протянул Одиссей, когда косматые жертвы были отвязаны и с кличем «Мм-мме-ммеееесть!» удрали к стаду. — Благородно; красиво. Дядя Алким говорит, там наследники в палестру ходят... в гимнасий!.. на колесницах!

— Это да! — невесть к чему согласился рябой Эвмей, жадно хватая кувшин с молоком.

Белые струи бежали по его пегой бородачке.

Чуть поодаль, у зарослей тамариска, валялась забытая кем-то кипа овечьих шкур. Бесформенная грудa шерсти. Зрители-пастухи, шумно обсуждая потеху и разбредаясь мало-помалу к шалашам, обходили кипу стороной. Собаки — и те крюка давали, пробегая мимо.

Лишь косились исподтишка.

Наверное, чуяли сидящего близ кипы Старика, незримого для остальных.

Сын Лаэрта встал. С наслаждением потянулся. Малорослый для своих тринадцати лет, он казался еще ниже из-за непомерно широких плечей. Смешное дело: в отличие от буйных кудрей, усы-борода у рыжего оставляли желать лучшего. Много лучшего. У его сверстников, тщательно взлелеянный кабаньим салом и тайными притираниями, на верхней губе закурчавился первый, наивный пушок — а тут хоть бы хны! ни в какую!

Зато грудь сплошь в солнечном сиянии волос.

И холка.

И даже на спине.

— Аргус! ко мне!

Кипа шкур лениво зашевелилась. Встряхнулась. Сверкнула глазом, налитым кровью, из-за лохм-занавесей.

— Я кому сказал?!

Ну ладно, ладно, подойду...

Аргуса мне подарил Эвмей.

Мне тогда стукнуло шесть, и отец позволил некоторое время пожить на пастбищах. Вольной, так сказать, жизнью; протесты мамы остались без внимания. Он никогда ничего не делал просто так, мой отец; и в его дозволении крылась тайная подоплека. На Большой Земле воцарился мир да покой — после того как великий Геракл прошел огнем и мечом от Элиды до Лаконики, сменяя погибших дрянной смертью басилеев на их двоюродных братьев или младших сыновей. Новоявленные правители, выжив чудом и будучи насмерть перепуганы внезапной ролью наследников, чесали в затылках и один за другим возводили храмы неистовому сыну Зевса. Наконец отпылали погребальные костры, удоблив пеплом измученную землю, Глубокоуважаемых умилировали грандиозными гекатомба¹, и женщины стали рожать больше девочек.

А на Итаку, к Лаэрту-Садовнику, начали чаще заезжать гости, у которых появилось свободное время.

Жизнь брала свое.

— Ты боишься, мой басилей?

— Нет. Я беспокоюсь. Оказывается, когда вместо твоих наихудших предположений сбываются надежды — это беспокоит. Вчера я подумал: надежда — самая живучая в мире тварь. Все сдохнут, а она подождет, чтобы умереть последней. Старые моряки говорят: «Кораблю на одном якоре, а жизни на одной надежде не выстоять...»

— Ты боишься, мой басилей.

— Нет. Я примеряю себе имя — Надежда. Лаэрт-Надежда. Это глупо, но если ты остаешься едва ли не один... Герой не должен быть один, Антиклей.

— Ты не один. Ты не герой.

— Едва ли...

Мама с папой думали, что я не слышу.

¹ Гекатомба — жертва в сто голов скота.

Впрочем, мне и в голову не приходило, что, отсылая сына подальше — бывало, я проводил на пастбищах шесть-семь месяцев в году, лишь изредка наведываясь во дворец! — папа намеренно поддерживает миф о моем слабоумии. Миф? правду? — какая разница?! Зато стоустая Осса-Молва пела единым голосом: итакийский базилей стесняется наследника, пряча его в пастушьих шалашах от чужих глаз.

Другие базилята — Аргос! Спарта! Эвбея! Крит, наконец! — в палестру ходят.

В гимнасий.

На колесницах.

Да и в отцовских мегаронах частые гости: глядите, люди добрые, что за чудо-сына я вырастил! завидуйте! привыкайте к будущему владыке!

А здесь...

Вместо гимнасия я лазил по деревьям за сорочьими яйцами и карабкался на скалы Нерита, с боем добывая соты диких пчел. Вместо стадиона носился по крутизне утесов взапуски с молодыми пастухами. Вместо палестры сражался на бревне с Эвмеем, привязав к спине живого козленка. Бил рабов; благо вокруг были едва ли не сплошные рабы. Крепкорукые, украшенные шрамами; многие с серьгой в ухе, особенно кто постарше. Сперва бил руками и ногами; позже Эвмей-умник присоветовал воспользоваться палкой. Короткой палкой. Длинной палкой. Двумя палками: длинной и короткой. Палкой и ивовой корзинкой тоже бил. А нерадивость рабов возрастала день ото дня: поначалу они давали себя бить поодиночке, потом пришлось их лупить по двое, по трое за раз... дальше и вовсе рассобачились: стали уворачиваться, отбиваться, бунтовать, сами взялись за палки — длинные, короткие, гибкие из орешника, крепкие из ясеня...

Я был рачительным господином.

Я давил бунт в зародыше.

— Бей рабов!

...вот и бил.

Но вернемся к Аргусу. В мой самый первый год на пастбищах одноглазая сука Ниоба, гордость всех свор острова, в очередной раз принесла помет. От кудлача Тифона, который если и уступал силой знаменитому тезке-дракону, победителю Громовержца, то злобой он не уступал никому.

Среди щенят обнаружился урод:

Родившись без хвоста и, как позже выяснилось, без ушей, кутенок подтвердил в придачу отсутствие нюха. Положенный на дощечку, выставленную над ручьем, он бодро пополз вперед и сверзился в воду, откуда его никто доставать не собирался.

Никто, кроме рябого Эвмея.

Так у меня завелся Аргус. Я пытался кормить его молоком, давал сметану, но он отказывался. Лишь когда я нажевал ему поросятины, щенок лизнул палец, вымазанный мясной кашицей, и принялся жадно сосать. Через месяц, вернувшись с Аргусом во дворец, я стойко перенес гнев папы, ибо щенок, обнаружив-таки нюх и чутье, сожрал полклумбы какой-то особо ценной травы — но с этого благословенного дня случилось чудо.

Аргус потерял дар речи, напрочь разучившись лаять, рычать или скулить; он по сей день лишь хрипит, когда я чешу старого пса за ухом — зато жрать, подлец, стал за десятилетий. Бесхвостый и безухий, немой и чудовищно лохматый, он непрестанно дергал култышкой, заменявшей псу благородный хвост, умильно заглядывал в глаза, клал челюстями и пускал слюну.

Полгода пускал.

Год заглядывал.

Полтора года клал.

Через два года Аргус, под одобрительное рычание своры, завалил собственного родителя, домогаясь благосклонности родной сестры. Дядя Алким сказал: царская собака. Впрочем, я не очень понял, что имеет в виду дядя Алким, как обычно говоривший загадками. Зато я хорошо понял, что значит быть богом.

Я был богом для немого Аргуса.

Сопровождаемый верным псом, Одиссей вразвалочку прошелся к границе пастушьего лагеря. Похромал на правую ногу; похромал на левую; вовсе перестал хромать. Такое с ним случалось — у Эвмея перенял. Когда глубоко задумывался, начинал хромать: столь же внезапно, сколь и переставал.

Только ноги путал.

Долго стоял у вечнозеленого маквиса-колючника, глядя перед собой и думая о своем.

Чего там было глядеть? тоже мне, Флегрейские поля после битвы с Гигантами! — овцы как овцы, козы как козы. Пасутся, щиплют травку. Бекают-мекают, курдюки наращивают. Молочком запасаются. Ниже по склону, где начинается дальний луг, коровник Филойтий трудится. Храпит, аж горы трясутся. Вокруг Филоития коровы валяются. Он средство знает: как наедятся буренки до отвала, так он их тесно-тесно сгоняет. Бок о бок. Коровы постоят-постоят, и ложиться начинают.

Потом их Посейдоновым трезубцем не подынешь.

— Эвмей!

Со стороны моря ударил холодный порыв ветра, принял, обнял мокрыми крыльями. Но рыжий базиленок не стал ежиться. Не побежал кутаться в накидку. Стоит, как стоял: лишь в повязке на чреслах.

Привык.

— Эвмей, заешь тебя Сцилла!

— Здесь я, здесь...

— Сбегай, подыми Филоития. Ночью отоспится. Скажи ему, пусть возьмет три лоха¹ лаконских щитоносцев. И быстрым маршем перегонит вон туда, в направлении Афин.

Рябой Эвмей почесал затылок, отнюдь не спеша исполнять приказанное. Тоже воззрился на лохи рогатых

¹ Лох — подразделение спартанских воинов, около полутысячи человек. Лохаг — командир лоха.

щитоносцев, на полководца-коровника; на Афины — две дикие оливы, украшавшие пригорок.

— Ты думаешь, базиленок...

— Ага. Думаю.

— А если дама Алким не примет боя и оставит Аттику?

— Разумеется, не примет. Что он, пальцем деланный?!

В придачу, наверное, еще и Афины дотла сожжет. Мы его в Беотии прижмем, во время отступления, — грязный палец ткнул налево, в дальний край луга, где блестели умытыми боками пять-шесть валунов. — У Платей, ближе к Киферонским взгорьям. Возьмем в клещи; добычи захватим — немерено...

При упоминании о добыче Эвмей радостно заушмылялся.

И, припадая набок, ссыпался вниз по склону: «Филойтий! Филойтий, губошлеп! вставай! гони лаконцев в Аттику! у нас союз!..»

Одиссей, морща лоб, глядел вслед рябому свинопасу. Вряд ли рыжий всерьез задумывался, что, услышь их разговор кто посторонний — воистину счел бы обоих безумцами. Изрек бы глубокомысленно: «Кого боги желают покарать — лишают разума!» Не было здесь, на итакийских пастбищах, посторонних; да и считаться меж людьми безумцем сыну Лаэрта было привычней, чем диву-дивному Химере на три голоса рычать-шипеть-мекать.

И потом: разве ж Одиссей виноват? Не виноват. Дело в дяде Алкиме. Это он такие игры придумал.

Потеряв возможность ежедневно мучить Одиссея своими наставлениями — а на пастбищах Алкиму с его ногой ну никак! да и дела у него во дворце... — хитроумный дамад взялся донимать рыжего «домашними заданиями». В том числе войнами. На море; на Пелопоннесе, на Большой Земле — сперва поближе, затем подальше. Спартанцы против мессенцев. Аргос против Микен. Новый поход на Фивы.

Пастухи поначалу недоуменно косились на рыжего базиленка, бегавшего от склона к ручью с воплем:

— А здесь у нас течет Эврот! а это у нас Волчье Торжище в центре Аргоса! а тут...

Но мало-помалу в игру втянулись и пастухи. Особенно которые с серьгами. От них Одиссей получил кучу полезных сведений, и не раз потом ошарашивал дядю Алкима, то высаживаясь в тайных гаванях Афет-Фессалийских, то договариваясь с пройдохами-финикийцами, которые удаются, а выгоды не упустят. По вечерам у костров устраивались военные советы; шел по кругу жезл — ольховая палка — дающий право высказываться. Спорили до хрипоты. А поутру отряды лучников, тряся курдюками, занимали боевые позиции на склонах; быки-гоплиты стеной вставали за правое дело, мыча боевой гимн, и бородатые козьи колесницы окружали врага с флангов.

Свиньи в войне не участвовали, откупаясь поставками продовольствия, а овчарки олицетворяли народ, облаивая всех и вся.

Мрачный Аргус претендовал на роль тирана.

В самом начале нынешней весны дядя Алким решил сыграть по-крупному. С полчищами мидян он вторгся сперва во Фракию, а там, используя перекупленный им флот изменников-финикийцев, на Кикладские острова. Пока Одиссей тщетно пытался вовлечь Спарту, Микены и Афины в военный союз, лавируя между тупостью, гордыней и упрямством, дядя Алким успел захватить Хиос, Лесбос и Тенедос, а также разрушить до основания Милет.

Милет бы удалось удержать, если бы Алкимовы подсылы не подорвали боевой дух населения ложным оракулом:

— Время придет, о Милет, ты, зачинщик всех дел безобразных, Станешь добычей для многих — доставишь роскошные яства, Длинноволосым мужам твои жены мыть будут ноги...

Тогда Одиссей, вняв подсказке патриотов-свинопасов и примкнувших к ним коровников, решил вооружить рабов. Его тяжелая пехота вкупе с многочисленным рабским

ополчением встретила дядю Алкима на Марафонской равнине, не дав времени опомниться и ввести в бой конницу — род войск, придуманный лично вредным Алкимом вместо общеупотребительных колесниц.

Враг был опрокинут в море.

Пастухи неделю гуляли, празднуя победу.

Тогда дядя Алким предпринял вторую попытку вторжения. Проведя совещание, Одиссей сперва хотел встретить незваных гостей в Темпейской долине — под нее, заранее договорившись с хлеборобами, выделили участок близ пахотных земель, где трава погуще — но позже передумал, рассчитывая отойти к Истмийской линии укреплений. И зря: воспользовавшись колебаниями базиленка, дядя Алким внаглую прорвался в Аттику через Фермопильское ущелье, и Одиссей еле успел отвести войска, будучи вынужден пожертвовать заслоном из трех сотен доблестных епартанцев.

Оставался флот.

Пребывая в унынии, Одиссей решил было сосредоточиться на глухой защите берегов Пелопоннеса, но угрюмый коровник Филойтий, до того молчавший и не принимавший участия в битвах, вдруг вспылал праведным гневом. Заткнув всем глотки, он предложил сосредоточить корабли близ острова Саламина — тамошние проливы уже и теснее, чем ножны у девки-недавалки, сволочи-финикийцы застрянут в Элевсинской бухте, а дяде Алкиму, хоть лопни, не развернуться между островками Кеосом и Пситталией.

Заодно двое Филойтиевых дружков наладили на Афинских верфях строительство дипрор — двутаранных кораблей с окованными медью рогами на обоих штевнях. Рулевые весла на носу и на корме дипрор позволяли судам наступать-отступать с одинаковой легкостью.

Коровник оказался кругом прав: дядю Алкима на море ждал полнейший разгром. Пришлось мидянам, не солоно хлебавши, пехотурой отступать к Геллеспонту. Сейчас Одиссей подумывал основать морской союз, где ему бы принадлежала главенствующая роль — во избежание разногласий; а также не помешало бы ответное вторжение во Фракию.

Впрочем, пастухи единодушно были против вторжения, ибо оно сулило лишь политические выгоды, а добычей там и не пахло.

— Одиссей! да Одиссей же!

— Что?

— Парни вечером в Безымянную бухту собираются! на разгрузку! Пойдешь?

— А то...

...Аргус у ноги беспокойно заворочался. Не со злобой или раздражением — именно беспокойно. Это означало одно: на подходе нянюшка. Последовав за своим питомцем на пастбища, несмотря на уговоры хозяев, Эвриклея резко изменилась. Стала строже, суровой; добровольно взялась исполнять обязанности стряпухи, но того же коровника Филойтия, едва он ночью подкатился к нянюшке под бочок, унесли в помрачении рассудка.

Потом расспрашивали — что да как?! — молчит.

Он вообще у нас молчун, этот Филойтий...

А Эвриклею годы не брали. Ведь за тридцать бабе! а ходит! смотрит! не рабыня — богиня! Вот и сейчас: стоит рядом с рыжим базиленком, а на руке, вместо браслета, — змейка.

Живая.

Кольца вьет-кружит; жалом трепещет.

— Ты Эвмея за ногу зачем хватал? — спросила няня Эвриклея, рабыня из Черной Земли, купленная за цену двадцати быков. — Там, на бревне?

— Сама ж показывала...

— Я тебе, маленький хозяин, как показывала? я тебе, маленький ты хозяин, вот так показывала...

Легко присела.

Взялась за щиколотку рыжего.

Кончиками пальцев.

...охнул Одиссей. На колено припал, схватился голень растирать — судорогой мышцы к кости прикрутило. А змейка на нянином предплечье кольца вьет-кружит...

АНТИСТРОФА-I

В КАКОМ УХЕ ТРЕЩИТ?

— ...не повезло!

— Да ладно тебе!

— Нет, ты пойми, Эвмей! Я Итаку люблю, и отца люблю, и маму, и...

Похоже, Одиссей хотел сказать, что Эвмея он тоже любит. Или что ему хорошо с пастухами. Или еще что-то в этом духе. Но не закончил фразу. Негоже базилейскому сыну объясняться в любви рабу-свинопасу!

— Только там, на Большой Земле! там! там!.. Все по-другому. И не обязательно, если ты — наследник. Все приличные люди на Большой Земле своих сыновей... а, да что говорить!

Слова «приличные люди» явно были сказаны с чужого голоса. Рыжеволосый крепыш искоса глянул на шагающего рядом Эвмея, затем перевел взгляд на угрюмого коровника Филойтия, двух его закадычных дружков, няню Эвриклею, увязавшуюся с мужчинами отнюдь не ради разгрузки... на троицу барашков, чья скорая и печальная участь не вызывала сомнений...

Коротко оглянулся на отставшего Старика.

Вон он, толстый — тащится, на скалы зыркает, на мокрую гальку, словно у него что-то отняли, а возвращать не торопятся!..

Из всех спутников разве что Старик с няней могли произвести впечатление «приличных людей». Но Эвриклея — женщина, и к тому же рабыня; а Старика все равно никто, кроме Одиссея, не видит. Возможно, еще кучерявый приятель Телемах... но Далеко Разящего самого, похоже, видели не все и не всегда.

Да и он, Одиссей, сын Лаэрта, из приличных ли?..

Подросток мысленно окинул себя взглядом со стороны. Увы.

Коренаст, плечист. Ростом мал. Такого за красоту живьем на небо не возьмут, не быть ему Ганимедом, олимпийским виночерпием; да и в Аполлоны дорожка куда как далека. В лесные сатиры много ближе: вино хлебать, нимф

по кустам заваливать. Огненные вихры давно нуждаются в гребне, но успели изрядно подзабыть, как онный гребень выглядит; глаза вечно щурятся, будто замышляют невесть какую хитрость. А рожа вся (ну, не вся! только справа!) терновником исцарапана. Хламида из оленьей шкуры, вдобавок некрашеной; ремни на сандалиях вдрызг облупились, левая подошва с дыркой, пора менять, а выкинуть сандалии жалко — привык...

Ну, серьга еще в ухе — так у пастухов тоже серьги. Правда, у него — *железная!*..

С серьгой история была давняя и прелюбопытнейшая.

В первую свою бытность на неритских выгонах юный базиленок мигом перезнакомился с оравой пастухов и подпасков — обратив внимание, что не все, но многие из них носят серьги. Причем одинаковые, в форме вытянутой медной капельки; и непременно в левом ухе.

— Хочу! — во всеуслышанье заявил Одиссей. — И я такую хочу!

Няня Эвриклея взялась шептать на ухо наследнику, что негоже базилейскому сыну носить рабские украшения, и рыжий мальчишка уже готов был согласиться; однако выяснилось, что пастухи успели тем временем посоветоваться между собой.

И выступивший вперед коровник Филойтий буркнул:

— Будет тебе серьга, парень! Настоящая, базилейская!

В скором времени коровник принес уж незнамо где добытую золотую капельку с проколкой-застежкой. Такую же, как у всех, но — золотую!

Одиссей мужественно терпел и совсем не хныкал-ойкал, когда Эвриклея прокалывала ему мочку левого уха, не доверив важное дело никому из пастухов. С неделю сын Лаэрта щеголял обновкой, нарочито поворачиваясь левым ухом даже к ягнятам в загоне — любуйтесь! ага, баранина! Дальше привык и перестал обращать на серьгу внимание.

Вспомнив о ней, лишь когда настало время возвращаться домой.

— *Что скажет папа?!*

Однако итакийский базилей Лаэрт не только не отчитал сына и не наказал пастухов за глупость и самоуправство. Наоборот: отнесся к новому украшению с крайним одобрением. А на следующий день Одиссею вручили точно такую же капельку с застежкой, но — железную! Вот это уже было поистине базилейское украшение! Даже у папы с мамой имелось не так много настоящих железных вещей. А золото — что? Подумаешь, невидаль! Золотые цацки у любого состоятельного горожанина есть...

Вот железо — это да!

А золотая капелька, подаренная пастухами, с тех пор хранилась в особой шкатулке, куда маленький Одиссей складывал свои детские «драгоценности»: красивое перышко сойки, блестящие цветные камешки, перламутровые раковины. Конечно, у него были и настоящие драгоценности — отец не слишком баловал сына, зато отцовы гости с Большой Земли и других островов не скупились на дорогие безделушки.

Однако их подарки мало волновали рыжего сорванца. Ну, золото или там серебро. Ну, красиво. Ну, повертел в руках, полюбовался. Потом стало скучно. Сунул в ларец и забыл.

Зато золотая серьга-капля была *своей*. Совсем другое дело.

Иногда Одиссей даже вдевал ее в ухо вместо железной.

Однако сейчас в мою мочку была продета именно железная серьга.

Дар отца.

Разумеется, я-маленький понятия не имел, отчего папа одобрил такое, едва ли не варварское, украшение! Но пастухи решили правильно. Знали, что делали. И знали, что базилей Лаэрт не станет возражать.

Впоследствии серьга-капля не раз сослужила мне хорошую службу...

* * *

...короче, сам Одиссей на приличного человека тоже не больно-то смахивал, несмотря на серьгу. Такие, как он, не ходят в палестры-гимнасии, таких не учат специально

нанятые учителя; один — грамоте-счету, другой — игре на лире или флейте, третий — кулачному бою, четвертый — колесничному делу...

Такие, как он, небось, даже во тьме Аида бродят где-нибудь в захолустье, избегая встреч с приличными тенями.

— Брось горевать! — хлопнул парня по плечу Эвмей. — Если б меня во младенчестве не сперли... небось, тоже бы по палестрам ошивался. У героев всяких учился, у бого-равных...

— Они там и на колесницах ездят, и на мечях настоящих дерутся, и на копьях! вместо камней диски кидают... — Одиссей насупился.

Замолчал.

Жизнь определенно не складывалась: Ему, Одиссею, похоже, придется до конца дней просидеть на Итаке, заниматься торговлей, жениться, шлепать детей по голым задницам... И никаких подвигов, славы, блеска начищенной бронзы. Все самое интересное происходило далеко, на Большой Земле. Да и там-то, честно говоря, уже мало что происходило. Он не успел. Опоздал родиться. Чудовища, в которых и верилось-то слабо, перебиты великим Гераклом со товарищи задолго до его, Одиссеева, рождения. Эпоха войн, сотрясая до основания — не хуже Колебателя Тверди! — Большую Землю, также миновала. Сполна отомстив за убитого брата, Геракл наконец утихомирился, и теперь сидит в своем Калидоне с молодой женой, ни в какие походы явно не собираясь.

Говорят, он с ума свихнулся.

Окончательно.

Наверное, правда. Иначе с чего бы Гераклу вместо новых подвигов...

Помнишь, папа: «Ты можешь себе представить обремененного заботами о семье Геракла?» Так сказал ты однажды, не зная, что я вернулся и подслушиваю из мрака будущего. Сперва мне показалось, что ты ошибся: вот же он, Геракл, в Калидоне Этолийском, с женой Деянирой, — тихий, мирный, хозяйственный...

К сожалению, папа, ты редко ошибался. Мы много чего

не могли себе представить. Я, в частности, не мог. Например, я тогда даже не представлял, что пастухи в Беотии или Мессении отнюдь не обсуждают вечером у костра способы крепления весел в ременных петлях.

Или разницу между критским и малым сидонским узлом.

Почуяв настроение хозяина, трусивший рядом Аргус придвинулся ближе. Потеря теплым лохматым боком о хозяйское бедро, словно успокаивая: «Я здесь, я рядом, если что — рассчитывай на меня!»

— У нас на колеснице не разгуляешься, — задумчиво протянул Эвмей, хромая больше обычного. — Это верно. Зато насмотрелся я на этих, из палестры, при abordage! Мечишком машет, «Кабан! — вопит. — Кабан!...»; а ему, кабанчику, крюк в шею — и приплыли. Откричался. Не печалься, базиленок, дома тоже неплохо. Слушай, — он резко понизил голос (чтоб не услышала няня, сразу понял Одиссей), — давай я тебя к девкам свожу! Разом никуда не захочется! Здоровый парень! я в твои годы, базиленок... знаешь, есть в Афродитиных храмах такие чушки — иеродулы! любому дают! а по большим праздникам, в честь Пеннорожденной...

Дальше Одиссей слушать не стал: рассказы Эвмея о девках, бабах и соответствующих подвигах на сей стезе были ему хорошо известны. Впрочем, наблюдения подтвердили: слова у Эвмея редко расходились с делом. А вот само предложение свинопаса вдруг показалось заманчивым. Даже волнующим. Так что на некоторое время мрачные мысли о жизни, впустую проходящей мимо, напроочь вылетели у парня из головы.

Но все-таки: у них там даже иеродулы есть, а у нас...

* * *

— Радуйся, Фриних! Помощь пришла!

— Давай, что тут у тебя?

В сумерках черный просмоленный корпус корабля казался выползшим на берег морским чудищем-гиппокампом. Приподнятая верхушка кормы, сделанная в виде пучка птичьих перьев, схваченных имитацией броши, только

усиливала сходство. Сейчас чудище, утомившись, дремлет, но докучливые людишки непременно его разбудят: вот-вот зверь заворочается, взревет, прочищая глотку — и кинется на обидчиков!

Одиссей встряхнулся. Корабль как корабль. Правда, разгружается не в Форкинской гавани, и даже не в Ретре, а здесь, в Безымянной бухте, у самой вершины залива. Рядом располагался Грот Наяд, хорошо известный многим итакийцам — моряки всегда жертвовали морским девам поросенка и горсть маслин, уходя в плавание. Пастухи с серьгами тоже наяд не обижали; навещали, таскали приношения. Значит, так надо — здесь причалить, здесь разгрузиться. Значит, мореходы кормчего Фриниха не хотят привлекать лишнего внимания. Может, груз какой особый привезли. Вон, в прошлый раз отцу опять редкостные саженцы с семенами доставили.

Хорошие человеки передали.

Работы рыжий подросток не чурался, да и приятно было почувствовать собственную силу. Ощутить, как играют, наливаясь и твердея, мышцы, когда взваливаешь на спину тяжеленный сундук и топаешь по скользким камням (сохранять равновесие? пустяки, это Одиссею было раз плюнуть: впервые, что ли?!) — а потом сваливаешь груз в общую кучу, наравне со взрослыми моряками!

Дело нашлось всем. Даже няне Эвриклее, которая мигом принялась наводить порядок, заставляя моряков стаскивать остродонные пифосы — к пифосам, мешки — к мешкам; сундуки — отдельно; амфоры с вином — тоже отдельно... а, это не вино? масло? — тогда сюда!

Моряки посмеивались, зубоскалили, но слушались, в результате чего бесформенная груда всякого добра очень скоро превратилась в настоящий упорядоченный склад.

Мачту кормчий с двумя помощниками тем временем успели снять и уложить рядом на берегу. Когда разгрузка была закончена, настал черед вытаскивать на берег сам корабль. Навалились всей толпой, уперлись плечами в просмоленные борта, заскрипел под днищем мокрый песок...

— Еще наддай!

- Пошел! Пошел!
- Ну, еще немного!
- Наддай!..

Одиссей упирался и толкал вместе с командой, радуясь, что смолили буковую обшивку корабля достаточно давно, и смола уже не мажется. Впереди сопела какая-то черная тень, почти неразличимая на фоне темного провала грота и смоляного борта.

— Коракс¹, ты? — скорее угадал, чем узнал Одиссей.

— Я, маленький хозяин! Вот, вернулся, да! — весело оскалилась из темноты белозубая ухмылка.

Почти сразу слышался зычный окрик кормчего Фриниха:

— Порядок! Разжигай костры, готовь ужин!

— Радуйся, маленький хозяин, да! — перед Одиссеем возник старый знакомец, эфиоп Коракс, прозванный Вороном за необычный цвет кожи. Настоящего его имени — М'Мгмеи — никто никогда выговорить не мог.

Даже не пытались.

У них там, у этих черномазых, на краю света, где клубит седые пряди вод титан Океан, обтекая Ойкумену, и Посейдон-Конный заезжает на пир без чинов, попросту... Короче, не имена у них — сплошное недоразумение!

— Ты где пропадал, Ворон? — напустился на него наследник итакийского престола. — Небось, новостей сто талантов² привез? Давай, выкладывай!

— Привез, да! — еще шире (хотя это казалось невозможным!) расплылся в улыбке эфиоп. — Мимо Сидона плыл, мимо Крита плыл, мимо Родоса плыл, мимо Эвбеи тоже плыл — да! О, слушай, маленький хозяин: главная новость, да! Корабль с Эвбеи шибко бежит, на Итаку. Завтра небось добежит. Дядя Навплий сына женить везет, да!

Почему-то всех басилеев Ворон звал дядями. Наверное, потому что себя самого полагал незаконным сыном богини любви.

¹ К о р а к с — ворон (*греч.*). На Итаке Кораксов утес был назван в честь Коракса-Ворона, сына нимфы источника Аретусы.

² Т а л а н т — мера веса, около 26 кг.

Да?!

— Тоже мне новость... — презрительно цыкнул зубом рыжий.

Он-то надеялся: может, война какая новая приключилась! А тут... Подумаешь, «дядя» Навплий-эвбеец своего сына Паламеда (спасибо Алкимовым зубодробительным урокам! имя молодого Навплида само всплыло!) женить надумал.

— Новость, да!

— Раздакался... Кто невеста хоть?

Ворон-Коракс изумленно вытаращил глаза, сверкнув белками:

— То есть как — кто?! Твоя сестра, маленький хозяин, да!

...и тут на меня накатило.

Память ты, моя память... острое чувство опасности ударило сразу, со всех сторон, без всякой видимой причины — я кожей ощутил, как скорлупа моего собственного Мироздания, скорлупа яйца, которое было моим личным **Номосом**, затрещала, грозя вот-вот расколоться. Треск оглушил, заполнил уши, я уже не слышал, что каркает мне Ворон; я вдруг перестал понимать его язык, чего со мной не случилось уже давно, с тех пор как... впрочем, не важно, с каких.

Не случилось!

Моему миру, всему, что было мне дорого, — и мне самому в том числе! — грозила опасность. От кого? От эвбейского басилея Навплия, которого я-маленький однажды мельком видел у отца в гостях? От его сына Паламеда, которого я не видел никогда? От предстоящей свадьбы? Помню, при этой мысли треск скорлупы, заполнявший мои несчастные уши, взревел штормовым прибоем и медленно пошел на убыль.

Я понял: это означает — «да».

Любимое Вороново словечко.

Но почему?!

— ...не слышишь? Жрать пошли, да?

— Да, — словно в беспамятстве, кивнул рыжий подросток. Побрел к костру вслед за Вороном. Ноги плохо слушались, оскальзываясь на тех самых камнях, по которым только что уверенно носили своего хозяина с грузом на плечах.

Может быть, новый груз оказался куда тяжелей?

— Садись с нами, базиленок! — так, с легкой руки вездесущего Эвмея, его называли теперь и пастухи, и мореходы, и... да все, почитай, называли! Кроме эфиопа с няней.

Одиссей привык.

Моряки подвинулись, уступая место; в руки сунули дымящийся, истекающий горячим жиром ломоть баранины, предусмотрительно уложенный на тонкую ячменную лепешку. В деревянную чашу нацедили на треть вина и под взглядом бдительной Эвриклеи изрядно долили водой — куда больше, чем хотелось бы Одиссею.

Впрочем, сейчас он не обратил на это внимания.

Дружно плеснули из чаш в костер — Амфитрите-Белонгой, морским старцам Нерею с Форкием, помянули также Эола-Ветродуя — и приступили к трапезе.

Смачно трескали разгрызаемые крепкими зубами кости. Весело трескали поленья в костре. А в ушах Одиссея стоял иной треск — треск окружающей его скорлупы. Треск привычного миропорядка, готового рухнуть. Он не слышал пышных здравниц и соленых морских шуток, не слышал других, мелких и пустых новостей; он был не здесь. Съежился внутри маленького мира, которому грозила опасность. Пронзительное ощущение незащитности, хрупкости собственного бытия, угрозы, нависшей над ним и его близкими, не давало покоя.

Надо что-то сделать! Предотвратить угрозу! Отвести удар от Итаки! отца! мамы!..

Но — как?

Рыжий подросток не знал — как. Просто вдруг, без видимой причины, ему стало *скучно*. И некто холодный и бесстрастный, другой, живущий внутри «него» человек, спокойный и расчетливый, лишь изредка поднимавшийся на

поверхность из темных глубин души — этот человек, которого звали Одиссей, что значит Сердящий Богов, сказал:

«Ты сделаешь все, что понадобится. Завтра явишься к отцу — а там посмотрим. Если нужно будет убить — убьешь. Если нужно будет обмануть — обманешь. Если нужно будет предать — предашь. Твой личный *Номос* важнее предрассудков. Ты справишься».

И безумный треск наконец исчез. Лишь перекликались угли в догорающем костре, подергиваясь сизой изморозью пепла.

Рыжий базиленок тупо смотрел в пустую чашу.

— Ты чего, да? — спросил эфиоп.

— Ничего.

ИТАКА

Безымянная бухта, берег близ Грота Наяд (Монодия¹)

Галька ворочалась под босыми ступнями. Сандалии остались у костра, возвращаться за ними было лень, и с неба насмешливо мерцали мириады глаз звездного титана Аргуса.

Другой Аргус — земной — бесшумно стелился позади.

Было плохо. Ой, мамочки, как же плохо-то! В ушах насмешливо толклась память о треске, раздирающем бытие надвое. Ты безумец! рыжий, ты безумец! кого боги хотят покарать...

Ворочалась галька.

Ворочалось море; бормотало обидные слова.

— Ну ты-то! ты-то чего за мной ходишь! Что тебе надо?!

Пожав плечами, Старик отстал.

— Не уходи! подскажи! посоветуй!

— Что тебе подсказать?

— Я сумасшедший?

¹ Монодия — песнь или часть песни, исполняемая одним голосом.

— Да.

Еще два года назад выяснилось: разговаривая со Стариком, не обязательно произносить слова вслух. Это помогло. В последнее время удавалось даже вести две беседы одновременно: первую — с отцом, с даматом Алкимом, Ментором, Эвмеем — да мало ли с кем еще?! А другую, слышимую чужими не более, чем слышно эхо молчания — со Стариком. Мама была рада... и во взглядах родных, вспыхивающих украдкой, перестала сквозить боль и неизбывная грусть.

Они ведь не слышали приговора:

— Я сумасшедший?

— Да.

— И что мне теперь делать?

— Ты сумасшедший, потому что собираешься что-то делать.

— Разве это плохо?

— Что-то делать? Нет. Не плохо. А почему ты решил, что быть сумасшедшим — плохо? Тебе так сказали, да?

Последние слова Старика живо напомнили эфиопскую манеру разговора.

— Прекрати отвечать вопросом на вопрос!

— Если я стану отвечать на вопрос ответом, я тебя убью. Ты умрешь, а я стану тобой. Хочешь?

— Нет...

— Тогда не говори глупости. И научись самостоятельно отвечать на вопросы, которые ты задаешь, а я лишь повторяю другими словами. Хорошо? плохо? ответы — убийцы вопросов. И сами по себе — будущие вопросы.

— Ты врешь! Я хочу, чтобы мне было хорошо! маме — хорошо! папе! няне!.. тебе, будь ты проклят!

— Пелопс, сын Тантала, взялся воевать с Илом, владыкой дарданов, и проиграл. Пелопсу было плохо, а Илу — хорошо. Затем Пелопс влюбился в прекрасную Гипподамию, и ему сперва стало хорошо, а затем плохо, ибо отец прекрасной Гипподамии, писский базилей Эномай, вызывал женихов на колесничные состязания и, победив, убивал. Кстати, самому Эномаю от этого было хорошо, а его дочери — плохо. Тогда хитроумный Пелопс подкупил

некоего Миртила, колесничного мастера, и тот подменил в колеснице Эно́мая бронзовую чеку на восковую. Эно́май разбился и погиб, отчего ему стало плохо; Пелопс женился на прекрасной Гипподамии, отчего ему стало хорошо. Позже он столкнул Миртила-предателя со скалы, а умирающий Миртил проклял потомство Пелопса на века, и всем стало плохо: Миртилу, Гипподамии, Пелопсу и их потомству. Аэды поют о проклятии Пелопса на рынках, получая обильную мзду, и аэдам хорошо. Ты видишь во всем этом хоть какой-нибудь высший смысл? '

— Я еще маленький! Я не понимаю тебя!

— Ты сумасшедший. Тебе не нужно понимать.

— Но я слышу треск! я вижу трещины! я чувствую опасность! — и не знаю, что делать!..

— Ты сумасшедший. Тебе не нужно понимать. Тебе нужно слышать, видеть, чувствовать и делать. Мальчик, ты даже представить себе не можешь, как тебе повезло...

Эта песнь была одноголосьем.

Ибо ответы — убийцы вопросов.

СТРОФА-II

ЛУК И ЖИЗНЬ — ОДНО

Старик давно умолк, но душевный покой по-прежнему бежал рыжеволосого подростка. Урчал прибой, заботливо кутая валуны в пенную накидку, вылизывал берег, как ошенившаяся сука — слепых кутят; откатывался прочь, чтобы сразу вернуться. Шипы звезд терзали черную плоть небес; всегда здесь, рядом, и в то же время — неизмеримо далеко. Одиссей брел наугад, один в лживом мире, вдруг сжавшемся в точку, какой видится копейное жало, направленное тебе в лицо — и некому было дать дельный совет, протянуть руку помощи, подставить дружеское плечо. Он должен все сделать сам.

Что?!

«Ничего-о-о-о!...» — дразнилась нимфа Эхо.

Бухта прихотливо изгибалась, выводя рыжего к месту, куда итакийцы обычно не забредали, хотя ничего особен-

ного здесь не таилось. Всего лишь иной вход в Грот Наяд, чье чрево сейчас надежно укрывало груз кормчего Фриниха. Есть двери для хозяина; есть для рабов. Есть пути смертных и пути богов. Есть широкие дороги и тайные тропы. Негоже путать одно с другим. У пеннокудрых дев моря тоже должно быть свое, доступное только им, пристанище. Разве есть в этом что-либо обидное? противоестественное?..

И море смеялось звездами.

Еще в позапрошлом году Далеко Разящий привел Одиссея к гроту, предложив удивительную игру: «Пойди туда — не знаю куда, найди то — не знаю что». Телемаху не хватало слов, чтобы объяснить приятелю истинный смысл игры; он подпрыгивал на месте, размахивал руками и временами спрашивал, жадно заглядывая в глаза:

— Ты видишь? видишь?!

Одиссей хотел было сообщить, что все он вокруг прекрасно видит, и нечего, мол... Не сообщил. Промолчал. Вместо этого внимательно огляделся, цепляясь взглядом за каждую мелочь, по его мнению, способную оказаться необычной или хотя бы достойной внимания.

Как и следовало ожидать, ничего особенного не обнаружил.

— Эх ты! — возмутился Телемах, показав Одиссею язык. — Выпятился он... Ты что, на маму точно так же смотришь?

При чем здесь мама, Одиссей не понял.

— Эх ты! — повторил Телемах. — Дурила... Смотри еще раз. Вот что ты сейчас видишь?

— Море вижу. Бухту. Тебя, вредного, вижу.

— Еще!

— Камни вижу. Скалу. В скале грот есть, я там бывал.

— Ну и как? — туманно осведомился Телемах.

— Что — «как»?

— Тебе в гроте понравилось?

— Ну... — задумался мальчишка. — Понравилось! Я еще представил, будто это пещера на Крите, где младенец Зевс от своего отца-богоеда прятался! Вроде бы темно, а

едва солнце снаружи выглянет — блики по стенам пляшут, играют... Красиво!

— Ты любишь Грот Наяд?

Вот уж спросил так спросил, кучерявый!..

— Н-не знаю... люблю, наверное...

Далеко Разящий обидно передразнил:

— Наверное! Все у него — наверное! А нужно — наверняка! Думай! Сердцем думай!..

Одиссей честно попытался. Зажмурил глаза, вспоминая: вот он впервые входит в Грот Наяд. Рябой Эвмей с Эвриклеей остались позади, они рядом, но в то же время далеко, не здесь! Он наедине с весельем солнечных бликов, играющих на стенах в пятнашки, наедине с темнотой, прячущейся в глубине; но темнота лишь притворяется страшной, а за спиной ласково нашептывает прибой вечное: «Шшшли-пришшшли-вышшшли! шшшли-пришшшли...» — мир замкнулся привычным яйцом, центром которого был рыжий мальчишка, Грот Наяд ощутился частью этого яйца, частью *Номоса*, неотъемлемой, естественной долей, и вдруг подумалось: а здорово, наверное, было бы тут жить! Мысль явилась совершенно внезапной, безумной, с вяжущим привкусом гранатового сока — и оттого необъяснимо привлекательной. Новое чувство захлестнуло с головой, мягко увлекая в глубину; шшшли-пришшшли-вышшшли...

— Да! Люблю!

...когда Одиссей очнулся, поспешно открыв глаза, то с удивлением обнаружил: оказывается, он уже не стоит на месте, а идет. В обход скалы, к другому краю Безымянной бухты.

— Эх ты! — в третий раз крикнул Далеко Разящий. Но сейчас в его крике не было ничего обидного; напротив, этот крик был вовремя подставленным плечом. — Зачем остановился?! ведь получилось! Получилось!!! А зажмуриваться не обязательно...

Во второй раз волнующее чувство возникло быстрее, и Одиссей уверенно зашагал туда, куда мягко влекла его

теплая волна любви к Гроту Наяд. Он словно был внутри грота, просто ему не доставало какой-то малой капельки; прикоснулся к чуду, увидел тайну краем глаза, не успев охватить целиком — и теперь недостающая часть звала его к себе.

Он шел на зов.

Оказывается, любить — это очень просто...

Вход открылся сам собой: вот только что кругом беспорядочно громоздились крутобокие валуны — а вот они расступились, и Одиссей даже не сразу понял, что он внутри грота.

Только с другой стороны!

Он стоял по колено в воде, забыв снять сандалии, зачарованно глядя на известковые сосульки сталактитов, свешивающиеся с купола-свода; слушал звонкую капель, и капли вспыхивали золотыми искорками в лучах предзакатного солнца...

— Вот это да!.. — только и смог выдохнуть рыжий. Здесь было не просто красиво — здесь... Нет, ему не удалось облечь в слова переполнявшие сердце чувства. На краткий миг показалось: из воды тянутся прозрачные пенные фигуры... изгиб бедра, прихотливо изогнутое запястье! — но тут, в самый неподходящий момент, снаружи донеслось давно ставшее привычным:

— Одиссе-е-ей! Ты где, маленький хозяин? Одиссе-е-ей! Легко убить очарование.

Крикни погромче, и конец.

Однако мальчик, как ни странно, ничуть не обиделся на позвавшую его няню. Сейчас он любил все вокруг: грот с его веселой капелью и призраками пенных дев, предзакатное солнце, морской берег, своего друга Телемаха, няню, отца, мать, веселого Эвмея, драчливого Эврилоха, дядю Алкима с его больной ногой...

На ум пришли нянины сказки, где герои неслись с края на край Ойкумены через таинственные Дромосы — коридоры богов, открывающиеся только по велению бессмертных.

— Это Дромос, да? — и, видя недоуменное лицо Телемаха: — Ну, тайный ход?

— Нет, — Далеко Разящий внезапно снова обиделся: впрочем, остыл он еще быстрее, грустно улыбнувшись про себя. — Здесь нет Дромоса. Тайные ходы нужны, когда не любишь. Тогда ломишься силой, подкрадываешься со спины или идешь в обход. Когда любишь, просто идешь. Навстречу; без тайны.

Он потер висок, словно у него вдруг заболела голова, и пообещал:

— Мы сюда еще придем.

Далеко Разящий сдержал слово.

* * *

Одиссей никогда раньше не заходил в Грот Наяд после заката, да еще с этой стороны. Остановился перед черным зевом входа в нерешительности. Одно дело являться сюда вместе с Далеко Разящим, и совсем другое — притащиться одному среди ночи! Вот если бы к нему домой так, без спросу, ввалились — ему бы понравилось?

— Радуйся, Сердящий Богов!

От неожиданности рыжий подросток вздрогнул; резко обернулся.

Смех был продолжением приветствия.

Кучерявый Телемах — помяни, и появится! — любил внезапность. Да и сам Одиссей достаточно вырос, чтобы однажды напрямую спросить:

— Ты бог?

Ответ был такой же прямой и очень серьезный:

— Нет.

Больше они к этой теме не возвращались.

Врать Далеко Разящий не умел.

...он действительно никогда не врал. К сожалению, этому я так и не сумел от него научиться. А жаль: я ведь тоже не бог...

— Радуйся, Далеко Разящий! Я вот как раз думаю: зайти или не стоит?

За прошедшие годы Телемах вырос, вытянулся; сейчас он был почти на голову выше коренастого Одиссея. В се-

ребристом блеске звезд черты Далеко Разящего странно заострились и смотрелись сейчас неправдоподобно четко и...

Одухотворенно, что ли?

Телемах весело тряхнул буйными кудрями — и наваждение исчезло: характер у Одиссея друга оставался родом из детства: озорной и нарочито таинственный.

— А что тут думать? Пошли! Сегодня Ночь Игры!.. Наяды не будут против.

Откуда Телемаху известно, что наяды не будут против и что за Игра предстоит, — этого Одиссей спрашивать не стал. Просто зашлепал по мелкой, на удивление теплой для этого сезона воде вслед за другом.

В гроте клубилась почти осязаемая тьма, но она не казалась промозглой, сырой или зловещей. Редкие блики лунного света у входа и падающие с потолка капли, время от времени взблескивая в золотой паутине, лишь подчеркивали темноту, не разгоняя ее. Тьма вкрадчиво нашептывала в уши разные пустяки, ласкалась, заигрывала, весело смеялась знакомой каплей — пожалуй, ночью здесь было не хуже, чем днем!

Лучше!

— Я знал, что тебе понравится, — шепнул, останавливаясь, Телемах. Одиссей тоже остановился. Неужели наяды сейчас явятся им?! Да еще и примут в Игру?!

— Помнишь, ты хотел пострелять в темноте, на звук?

— Конечно!

— Самое время. Доставай лук. Это и будет Игра — вернее, часть ее.

Одиссей кивнул, не сомневаясь, что Далеко Разящий прекрасно видит его в темноте. Затем протянул руку и привычно напряг ладонь, медленно сводя пальцы, ставшие вдруг слегка влажными.

Мгновение — и в его руке возник лук.

* * *

Мне было восемь лет, когда мы с Телемахом впервые стащили мой лук из кладовой, где он хранился. Дверь в кладовую висела не на ременных, а на бронзовых петлях,

и запиралась не на щеколду, как большинство дверей в ба-силейском доме (многие и на щеколду-то не запирались!), а на два засова и самый настоящий замок, который открывался медным ключом.

В общем, неприступная твердыня. Надо было или украсть сначала ключ (я даже не знал, где папа его прячет, а спросить — боязно), или...

Мы выбрали второе «или».

Как ни странно, малолетние взломщики вполне преуспели в своем деле. При помощи няниной заколки и обломка ножа без рукояти крепость пала, и вожделенный лук (заодно с полупустым колчаном) оказался в руках двух сорванцов.

Стрелять было решено в саду. В дальнем его конце, у стены, куда редко кто забирался. Еще по дороге, остановившись, я попытался натянуть на лук тетиву.

Тщетно!

Помнится, я едва не расплакался от собственного бес-силia!

— Можно? дай я попробую?! — попросил Телемах с робостью, и я, не раздумывая, протянул ему лук.

И тут Далеко Разящий стал иным. Как будто мое разрешение изменило правила игры; как будто я снял оковы и распахнул дверь темницы настежь: иди! свободен! Сквозь сорванца-шалопаю проступило что-то, кто-то... Ни тьма, ни свет, ни плач, ни смех: вечно враждующие пряди бы-тия, туго заплетенные в косу. Даже страшно. Наверное, в тот миг я впервые заподозрил в нем бога.

И ошибся.

Теперь знаю: ошибся.

Телемах как-то по-особому принял от меня лук — так принимают на руки капризного младенца, готового с ми-нуты на минуту обделаться. Дурацкое сравнение! полагаю, оно принадлежит мне-большому, ибо непоседе-мальчиш-ке такое вряд ли придет в голову! Забыв о моем существо-вании, Далеко Разящий бережно, с трепетом огладил лук, задумчиво повертел в пальцах ушко тетивы — и вдруг, одним легким движением, с улыбкой согнул древко и на-тянул радостно зазвеневшую тетиву.

— Вот так, — кивнул он, словно доказал невесть что невесть кому. — А ты думал: только силой?.. ах, Стрелок, Стрелок!..

Мне вовсе не было обидно или удивительно. Я и сам частенько разговаривал с невидимыми прочим собеседниками, под оханье: «Боги, за что караете?!»; отчего бы и Телемаху... Меня обуревала зависть. Лук мой! мне его подарил добрый, милый дедушка! — а натянул лук Телемах.

Выходит, я слабак?!

— Я тебе сейчас покажу, — словно прочтя мои мысли, обернулся Далеко Разящий; я даже не заметил, когда он снял тетиву обратно. — Ты тоже хочешь — силой. А надо иначе. Надо просто очень любить этот лук...

Древко изогнулось обезумевшей от страсти женщиной, радугой над пенною водой, податливо и с наслаждением изогнулось оно, подчиняясь пальцам — нет! голосу! трепету! словам Далеко Разящего!

— ...надо очень любить эту тетиву...

Змея, сплетенная из жил — нет! из слов! смеха! тайны! — скользнула между пальцами; роговой наконечник вошел в тетивное ушко, как дух ясновиденья входит в пророка, как входил Лаэрт-Садовник к возлюбленной супруге своей, чтобы дом однажды огласился детским плачем — и натянувшаяся струна застонала, отдаваясь.

— ...надо очень любить... очень... ибо лук и жизнь — одно!.. Ты разрешаешь мне выстрелить? один раз?! пожалуйста!

— Конечно! — мигом оттаяв, великодушно позволил я.

Все-таки это *мой* лук! Мне и разрешать: стрелять или нет! А натягивать его Телемах меня научит...

— Валяй!

На ветке дерева сидел обыкновенный воробей. Удивляюсь, что я вообще его заметил. Далеко Разящий вскинул лук, плавно потянул тетиву — по-варварски, к уху...

Короткий хищный свист. Метнувшись золотой молнией, стрела сбила с дерева лист совсем рядом с воробьем — того, кажется, даже ветром обдало. Глупая пичуга меньше всего поняла, что произошло, хотя, на всякий случай, вспорхнула и улетела.

— Промазал! — не удержался я.

— А ты думал: только силой!.. — пробормотал Телемах, по-прежнему говоря не со мной. — Ах, Стрелок!.. зря ты так думал...

Позже я понял: мой друг не промахнулся.

Промач и вранье для Далеко Разящего были — одно; как лук и жизнь.

* * *

Разумеется, с первого раза у меня ничего не вышло.

Телемах горячился. Он размахивал руками (любимый способ вести беседу!), обзывал меня тупым ослом; вновь принимался объяснять. Я же втихомолку думал, что лучше бы он молчал. Ну как, как можно ощутить (нет, это я сейчас так говорю! а он тогда говорил иначе — представить, кажется?..) — представить себе, что лука без тебя не существует?!

Лук-рука.

Лук-нога.

...Лук-жизнь.

И глупо злиться: ах! не сгибается! Глупо приказывать; заставлять. Ты его, дурачок, полюби — себя ведь любишь? Как это: нет? А если я тебе сейчас локоть наизнанку выверну? Да не хочу я с тобой драться! это я так... для примера! Ты ж не станешь сам себе локоть ломать? Ах, больно! — ясное дело. А луку не больно, когда ты его насилуешь?!

Понятное дело, я злился и на лук, и на Далеко Разящего; я старался, сопел, пыхтел — тщетно.

В конце концов, оставив бесплодные попытки, я устал привалился спиной к стволу какой-то очередной папиной диковины. Оперся на злополучный лук. И вдруг подумал: если я так устал — насколько больше устал он?! В тот же миг лук легко согнулся под моим мальчишеским весом, а подоспевший Телемах помог надеть ушко тетивы на роговой наконечник — и петля надежно упокоилась в предназначенных для нее бороздках.

А у меня даже на радость не осталось сил.

Оказалось, что таскать лук из кладовки, а потом втайне ставить на место, проще простого. Дважды взломщики, правда, были на волосок от провала, но — пронесло. Все шло хорошо, лук понемногу начинал слушаться Одиссея, только все хорошее когда-нибудь заканчивается. Весенний Эвр надул щеки,дохнул, согревая землю, — значит, скоро рыжему предстояло отправляться в горы, на летние пастбища. Впервые Одиссей не радовался свободе: лук с собой втихаря не возьмешь! А жизнь без лука (эти слова теперь сами цеплялись друг за друга!) не мыслилась.

— ...Ты чего нос повесил?

— На пастбища еду. Послезавтра.

— Здорово!

— Ага, здорово... а лук?!

— Эх ты! — расхохотался Телемах, беззаботно махнув рукой. — Пошли в сад!

— Погоди. Сначала в кладовку...

— Успеется. Пошли, покажу чего-то.

«Интересно, что он мне собрался показать в папином саду, чего я сам не видел?» — недоумевал Одиссей, топая по тропинке вслед за приятелем. Рядом трусил Аргус, из всех Одиссеевых дружков Телемаха выделявший особо — в смысле, иногда разрешал кучерявому себя погладить, чего не дозволялось даже спасителю-Эвмею.

На знакомом месте у стены Одиссей остановился, и они с Аргусом вопросительно воззрились на Телемаха: «Ну, зачем привел?»

— Тебе не надо брать с собой лук. Потому что ты его не оставляешь, — без обиняков заявил кучерявый.

И вновь сыну Лаэрта почудилось: есть, есть в лице Далеко Разящего некая странность! Капелька малозаметной дичи! ускользающая тень! Но, отступив назад, рыжий споткнулся о бесформенный камень — треклятый валун являлся всегда следом за Телемахом, прячась в траве или пене прибоя! — охнул, моргнул, и наваждение прошло.

— Не оставляю? фигушки! Говорил же: надо в кладовку заглянуть... теперь обратно топать!..

— Зачем топать?! Просто — возьми!

— На солнышке перегрелся? — с участием поинтересовался Одиссей.

— Дурак! дурак!! — рассердился Телемах. — Я тебе врал когда-нибудь?! Кто тебе показал, как лук натягивать?! Кто тебе...

— Ну, не врал, — угрюмо буркнул Одиссей. — Ну, показывай.

— Вот и не нукай! Делай, что велено. Бери! Ты уже в кладовке!

— Сам не нукай! — огрызнулся сын Лаэрта. Зажмурился изо всех сил, представляя себя в темной кладовке; протянул руку, изумляясь собственному безрассудству...

— Тетиву! тетиву достал! — завопил Телемах, прыгая от восторга. — Давай еще раз!

Глаза открылись сами.

Действительно, из плотно сжатого кулачка свисала знакомая тетива.

Обалдев от внезапной удачи, Одиссей попробовал еще раз; однако пальцы — скользнув по костяной накладке! — поймали пустоту.

— Ты кулак так сильно не сжимай, — посоветовал Далеко Разящий, перестав гарцевать козлом. — Не тряпку выкручиваешь. Он же к тебе в кулак не пролезет, лук-то...

А потом Одиссей долго стоял с вожденным луком в руке. Стоял, молчал. Смотрел в землю. Только казалось: не в землю мальчишка смотрит. На приятеля; на Далеко Разящего. В упор.

И Далеко Разящий понял: отмолчаться не удастся.

Мы много раз возвращались позже к этому разговору. В конце концов он слился для меня в одну большую повесть о луках и лучниках, о богах и людях, о жизни — которая лук! — и о смерти, которая тоже...

— Чей это лук? — Телемах, как всегда, сразу взял быка за рога.

— Мой.

— А до тебя?

— Дедушкин. Мне его дедушка Автолик завещал!

— Правильно. А у дедушки твоего он откуда взялся?

— У дедушки? Дядя Алким говорил, дедушке его Ифит-Ойхаллиец подарил! За добрые дела, наверное...

— Наверное, — согласился Телемах. — А у Ифита лук откуда взялся?

— Ну... от его дедушки?

— От отца. От Эврита-Лучника, базилея Ойхаллии.

— Точно! Ух ты! Это же Эврит-зазнайка, которого сам Аполлон за гордыню застрелил! И правильно сделал, нечего себя с богом равнять!..

— Нечего, — кивнул Телемах, двусмысленно поджав губы. — Аполлон правильно сделал: сперва научил Эврита из лука стрелять, потом застрелил. А подарок свой забрать забыл.

— Какой подарок?

— Да ерунда... лук. Вот этот.

Далеко Разящий умолк. А я все не мог сообразить, чего он от меня ждет; пока не задохнулся от запоздалого озарения!

— Мой лук — лук Аполлона?!!

— Да, Одиссей. Один из его луков.

* * *

Рыжий мальчишка стоял, потрясенный.

Слова Далеко Разящего вились вокруг роем ос, пытаюсь пробиться через броню беззвучия; миг, другой, и способность слышать вернулась к Одиссею:

— ...хвастаться! Не вздумай! Помянешь Отпирающего Двери всеу — возьмет да и явится за своим луком! Отберет!!! Если, конечно, не клялся водами Стикса...

Телемах, как всегда, разил без промаха. Ясное дело, Одиссей уже прикидывал, как похвастается Ментору с Эврилохом, как сдохнет от зависти трусишка-Антифат... а

они не поверят!.. а он протянет руку и — р-раз! И они все тогда...

Увы.

Будущие лавры увяли в зародыше. Судьба зазнайки-Эврита вовсе не улыбалась сыну Лаэрта.

А Далеко Разящий еще подлил масла в огонь:

— Даже если Аполлон не услышит, отец тебе точно стрелять запретит: мало ли что? Возьмет бог, прогнева-ется...

— Прогневается? — В душу закралась тревога.

— А-а! — резко меняя тон, присвистнул Телемах. — Мы ж не будем хвастаться? Не будем! А лук ты по наследству получил, через третьи руки. Все честно, подарки не отдарки! — если кое-кто языком трепать не станет.

«Кое-кто» на всякий случай обиделся, но язык прикусил.

...на всю жизнь.

Зато на пастбищах удалось пострелять вволю. Эвмей с другими пастухами оставались к детским забавам равнодушными: стреляет наследник из лука, и пусть его. Дело полезное. В луках пастухи разбирались слабо: тот ли, другой... А Одиссея долго мучил один вопрос: если кто-нибудь заглянет в кладовку, когда они с Телемахом упражняются в стрельбе — окажется лук на месте? нет?!

Однако проверить это так и не пришлось. Не сложилось.

По сей день не сложилось.

* * *

— А почему ты тогда сам лук не достал? из кладовки? Мне рассказал-показал, а сам даже не попробовал!

— Это твой лук. Переданный по наследству. Без твоего разрешения он бы мне не дался. Его даже украсть нельзя — хозяин руку протянет...

— А что еще он может?!

Одиссею уже грезились чудеса и подвиги. Дядя Алким

говорил: «У людей нет шлемов-невидимок, крылатых коней-пегасов и алмазных серпов, закаленных в крови Урана...» А у меня есть! Лук Аполлона! Значит, я — герой! И воевать могу по-геройски!

— Нежить отпугивать. У такого лучника руки светятся, если уметь правильно смотреть. А еще он может из хозяина раба сделать.

— Как из Эврита-Лучника?

— Не только...

Мне кажется, сейчас я понимаю тебя, мой загадочный друг. Лук и жизнь — одно. Слишком много для простого совпадения слов. Ты говорил мне: «Отнять жизнь и подарить жизнь можно одной стрелой. А стрелы Аполлона и его сестры Артемиды-Девственницы только отнимают чужие жизни, ничего не даря взамен. Твой лук слишком долго пробыл в руках Феба¹...»

Вещи несут на себе отпечатки прежних хозяев.

Оружие — вдвойне, втройне.

В особенности — *такое* оружие.

Берегись, Сердящий Богов! Иначе лук будет стрелять из тебя, стрелять тобой...

АНТИСТРОФА-II

ЛЮБОВЬ СТРЕЛЯЕТ НА ЗВУК

Память ты, моя память... из волн на берег...

В Гроте Наяд царила темень.

Привычным движением натянув тетиву, сын Лаэрта выдернул стрелу из кожаного колчана, возникшего вместе с луком и уже успевшего перекочевать за спину; после чего выжидательно замер. В ответ Далеко Разящий широко улыбнулся — к своему удивлению, Одиссей разглядел в темноте эту улыбку, словно она излучала свет. Наверное,

¹ Феб — Блестящий, прозвище Аполлона по имени его матери, Фебы-Латоны.

лунный луч, отразившись от поверхности воды, упал на лицо Телемаха.

— Сейчас, сейчас...

И пришел напев.

На самом пределе слышимости.

Чужой протяжный напев, и струны лиры вторят ему ропотом волн (или на самом деле море шумит?) — оживает тьма грота, оживает вода, чуть подсвеченная луной, и яркий блик вдруг летит с пенным шипением к куполу-своду!

Рука рванула тетиву к уху — но в последний миг, когда стрелу уже было не остановить, Одиссей испугался.

А что, если...

Стрела ушла в темноту.

Стук наконечника о камень; тихий всплеск-шепот:

— ...попробуй еще раз.

Одиссей молча закусил губу; потянул из колчана другую стрелу. Все-таки Телемах иногда бывает совершенно несносен. Хоть бы расщедрился, сказал: нет там никого, стреляй без опасения...

Напев стал явственней. Закачал рыжего подростка в колыбели волн, растворил в себе — тепло и радость, звук и тайна. Ушел страх, сгинули темные мысли. И когда новый блик взмыл к своду, на самом гребне песни — тепло и радость, звук и тайна, любовь и жизнь изверглись наружу, поющей стрелой уйдя в темноту.

Своды грота озарились призрачной вспышкой — это полыхнуло ослепительной лазурью кольцо из пены, когда стрела Одиссея прошила его насквозь, слегка зацепив пузырящийся край.

На мгновение показалось: встала из водяных струй дева-наяда, смех серебряной каплей пролился под куполом...

Тишина.

— Ничего не спрашивай, — шепот Телемаха горячо обжег ухо. — Просто стреляй, и все.

— А ты?

— И я! — В руках Далеко Разящего уже был его маленький лук с радужной тетивой.

Напев взлетел с новой силой, в воздухе светлячками заискрились капли воды — и шипение брошенных колец перекрыл звон тетивы, вторя свисту двух стрел, одновременно ушедших в темноту.

Две вспышки.

Серебристые блики на стенах.

Чудо-саженцами вырастают из воды танцующие фигуры.

Смех-капель.

Еще! о, еще!

Плели кружево танца пеннокудрые наяды, взлетали к своду-веселые кольца, вспыхивая под лаской стрел: по два, по три кольца сразу! Пять! Десять! Вихрем закручивался напев, брызжа искрами безудержной радости — прочь, печали! сгиньте, тревоги!

Одиссею было хорошо.

Хо-ро-шо-о-о-о!!! — согласно откликнулась нимфа Эхо под сводами грота...

Даже сейчас, когда мне плохо, мне хорошо.

— ...Жаль, что все закончилось.

— Не жалей. Не надо. Скоро восход. Удачи!

— И тебе удачи, Далеко Разящий.

Телемах растворился в редеющей перед рассветом мгле. Одиссей еще немного постоял, а потом побрел к лагерю. Ноги заплетались, глаза слипались, но сын Лаэрта знал: выпастся сегодня не удастся. Его ждали гости с Эвбеи; родины Эврита-зазнайки, от которого неисповедимыми путями пришел к Одиссею его лук.

Совпадение?

Случайность?

* * *

— Ты бы хоть переоделся, что ли! — недовольно бросила мама.

И с осуждением воззрелась на няню: ты-то куда смотрела! пристань народу полна! знатные гости на подходе! а мальчик чумазей Кедалиона, наксосского кузнеца-карлика из подземных мастерских!

Эвриклея лишь руками развела: знаете же вашего сына, госпожа! упрямец! если что в башку втемяшится!.. едва поспела за ним, оглашенным...

Вот такой разговор без слов.

А папа, стоя в окружении строгих геронтов, даже не взглянул в мою сторону.

...Память ты, моя память!.. попутного тебе ветра!

Под парусами, трепеща от волнения, ты стремишься на причал Форкинской гавани, полный народа, — куда быстрее, чем «Стрела Эглета»¹, корабль эвбейского басилея Навплия. Сегодня тебе много легче возвращаться... нет, иначе: *в сегодня* тебе много легче возвращаться.

. Еще б знать, почему!

«Стрела...» подходит к пристани. Охи-ахи в толпе, приветственные кличи, резная Химера на носу корабля дышит мечтой о красоте и реальностью уродства; упали на дно двулапые якоря, брошены канаты, опущены сходни, и, забыв о приличиях, я бегу вперед, готовый, если понадобится, разгружать этот прекрасный корабль, таскать вещи гостей хоть в Грот Наяд, хоть в отцовский дворец, начисто забыв о ночном треске Мироздания и помня лишь о празднике нового, только что причалившего в Форкинской гавани...

— Шустрый раб, — одобрительно кивает мужчина лет сорока пяти: пухлый, холеный, светлая борода завита кольцами. Он стоит у борта и щурится на меня. Подхваченная ранним ветром, с плеч гостя рвется багряная хлена², заколотая у плеча золотой фибулой: Пифон раздувает колючий гребень. Мужчина излучает спокойствие и прекрасное расположение духа; благожелательно скользя по мне взглядом, он левой рукой перебирает кольца бороды (ответно взблескивают многочисленные кольца на пальцах!) и повторяет:

— Шустрый раб. Эй, ты! недомерок! хочешь, я тебя перекуплю?

— Не разоришься, Навплий?

¹ Эглет — Сияющий, одно из прозвищ Аполлона.

² Хлена — накидка, теплый плащ.

Это папа. Подошел, опередив геронтов, встал рядом. Улыбается.

— Велика ли цена, Лаэрт? — Тихий смех путается в бороде.

— Как кому. Ты своего наследника во сколько ценишь? Махнемся не глядя?

Басилей Навплий с минуту пристально ощупывает меня взглядом. Всклокоченного, в хитоне из оленьей шкуры, с серьгой в ухе; с руками, измазанными смолой — все-таки налипла, проклятая! ремни на сандалиях облупились...

Смотрит.

...смотрит.

И начинает хохотать. Необидно, от души, взახлеб — так смеются над самим собой, допустившим легкую, вполне простительную оплошность, которая разрешилась ко всеобщему удовольствию.

Рядом с Навплием хохочет его двойник: пухлый, холерный, низенький (хотя и повыше меня). Обильный пушок на подбородке намекает: и я! и я кольцами! скоро!.. Двойнику около двадцати. Отец с сыном. Мы с папой тоже: отец с сыном.

Мы стоим друг против друга: Итака и Эвбея.

Лаэрт с Одиссеем — и Навплий с Паламедом.

— Ну, Лаэрт! ох, Лаэрт! Уел-таки! И я хорош: забыл, с кем дело имею! Радуйся, Басилей итакийский! И ты радуйся, наследник! Ох, Лаэрт...

Легко сбежав по сходам, Навплий мимоходом треплет меня по вихрам и начинает обниматься с папой. Сейчас они отправятся во дворец, будут долго говорить о всякой скучище!.. люди разбредутся кто куда... праздник разбредется, став буднями...

Утро бьется за плечами гостя, схваченное Пифоном из золота.

— Это надолго, — словно угадав мои мысли, сын Навплия идет ко мне; подмигивает втихомолку. — Пошли, ты мне покажешь ваш остров?

И меня на миг разбирает стыд: такой он чистенький и ухоженный.

— Ага, — кивнул Одиссей.

Треск в ушах не возвращался. Оттого ли, что опасность ушла? Оттого ли, что рыжий все делал правильно? — хотя много ли тут правильного: заявиться на встречу гостя грязней грязного?..

— Только я... я переоденусь, ладно?

— Да ну его! — махнул рукой Паламед и подмигнул еще раз, наклонившись близко-близко. — Толку-то?

У него был меч с рукоятью, сплетенной из золоченых ящериц, которые в пастях держали хрустальный набалдашник.

Рыжий еще подумал, что все отдал бы за такой меч.

* * *

...Эвбея — остров на крайнем западе Лилового, иначе Эгейского моря, вытянут в длину примерно на тысячу стадий, известен Ридийскими медными рудниками, крупнейший рынок рабов; ближайшие гавани на восточном побережье Аттики — Рамнунтская, Киносура, Псафисская...

Да, дядя Алким, я помню.

Возвращаться становится трудно. Я изо всех сил рвусь на поверхность, молочу руками по воде, захлебываясь и тараща полуослепшие глаза.

Трудно.

Очень.

— Теперь ты будешь меня ненавидеть?

— Нет. Я буду тебя любить. Как раньше. Я умею только любить.

— Наверное, ты действительно сумасшедший, — вздохнул Паламед.

Это случилось слишком недавно, лишь на шаг вспять от настоящего к прошлому; это еще свежо в памяти, и память зарывается носом в волну, отливающую на закате кровавым багрянцем.

Но я все-таки вернусь.

Три дня мы провели вместе с Паламедом.

Три, полных восторга зарождающейся дружбы, дня. У меня раньше никогда не было такого друга — опытного, остроумного, мягкого в обращении, понимающего с полуслова. Паламед казался идеалом: старше меня ровно настолько, чтобы вызывать уважение, не отдаляясь. Пока наши отцы вели долгие беседы в мегароне, мы излазили весь остров, от источника Аретусы до отрогов Нейона, от Кораксова утеса до Грота Наяд (правда, далеко вглубь не заходили!); если бы не боязнь прогневать папу, я бы украл лодку и свозил Паламеда на Астер-остров, куда давно тайком собирался.

Я рассказал ему про древнего героя Итака-Силача, в честь которого моя родина получила имя. По слухам, любой свой подвиг легендарный герой начинал со слов «Итак...», лишь потом кидаясь в бой. Паламед слушал внимательно, ни разу не улыбнувшись; а потом показал мне, как укладывать волосы в настоящую мужскую прическу. Сам Паламед, конечно же, успел пройти обряд пострижения во взрослые; и, поймай кто нас за этим занятием, эвбейцу не миновать бы взбучки.

Нас никто не поймал.

Утащив сына Навплия на дальние выгоны, я целый день демонстрировал ему войну спартанцев с мессенцами, измучив войска сражениями у Свиного оврага до такой степени, что резко упали вечерние надои. На бревне я был непревзойден: привязанный к спине козел охрип, а пастухи один за другим шлепались в ручей. Затем я показал гостю Волчье Торжище — мою гордость; Паламед осмотрел постройку и согласился, что это да! здорово! Заодно рассказал, что в настоящем Аргосе люди прозвали торжище Волчьим из-за расположенного там храма Аполлона-Ликия¹, самого высокого в Аргосе здания, видного якобы даже из златообильных Микен.

— Говорят, когда аргосский кабан хрюкает, притворя-

¹ Л и к и й — Волчий; одно из прозвищ Аполлона.

ясь волком, микенский волк настораживает уши, притворяясь свиньей, — добавил Паламед.

Я плохо понял смысл шутки, хотя знал от дяди Алкима, что между Микенами и Аргосом — всего шестьдесят пять стадий по прямой.

Рукой подать.

Мой Старик все это время никуда не пропадал, тенью бродя за нами, и я даже попытался познакомить молчаливого спутника с Паламедом. К его чести, эвбеец долго всматривался перед собой, потом развел руками, извинившись. Не все и не всем даровано богами, сказал он, а мой Старик долго после этого глядел на него, кусая губу.

— Я тебя не замучил? — спросил я на рассвете третьего дня.

Паламед улыбнулся:

— Что ты! мы ведь скоро станем родичами! считай, братьями! Какие обиды между братьями?

— Никаких, — радостно согласился я.

Когда Паламед улыбался, на его щеках играли милые ямочки.

...и никакого треска. Сердце подсказывало: все идет как нельзя лучше. Обожать — значит, уподоблять богу. Наверное, предложи мне кто принести Паламеду жертву у алтаря — я согласился бы с радостью.

Когда его отец призвал сына к себе, я лег возле шалаша и стал смотреть в небо. Редкие облака паслись за утесами, скрывая венец солнца; метелка дикого овса щекотала мочку уха.

Мне было хорошо.

Скоро мы станем родичами. Почти братьями. И я упрошу Паламеда взять меня с собой: сперва к нему, на Эвбею, а после на Большую Землю. Он подарит мне меч с хрустальным навершием, меня постригут во взрослые, мы будем биться бок о бок, и аэды в своих песнях назовут нас неразлучными, как братьев Афаридов или Диоскуров.

Мне было очень хорошо.

Рядом грудой свалявшейся шерсти разлегся сонный

пес; не волнуйся, мой немой Аргус, тебя я тоже возьму с собой...

— Паламед, он аргосский проксен¹, — Старик подошел ближе и сел на корточки. — Общественный гостеприимец. Храм Аполлона-Ликия строили в основном на его средства.

— Ну и что? — спросил я.

— Ничего, — пожал жирными плечами Старик.

И стал глядеть в сторону моего Волчьего Торжища. Я приподнялся на локте. Тоже поглядел. Ощущение блаженства уходило стремительно и неотвратно; зябкий холодок пробежал по плечам, по спине... Мне стало *скучно*. Очень *скучно*. Я смотрел на устроенное мной Волчье Торжище — груды дурацких камней; я видел Паламеда, стоящего у настоящего Волчьего Торжища, у настоящего храма Аполлона-Ликия, самого высокого здания в настоящем Аргосе, видного, по слухам, даже из настоящих Микен.

Ниже по склону мекали козы — мои удалые мессенцы, наголову разбившие овец-спартанцев у Свиного оврага.

Понимание явилось незванным гостем на пир.

— Боги! — одними губами выдохнул я. — Он же принял меня за сумасшедшего!

Старик еще раз пожал плечами: то ли от безразличия, то ли соглашаясь.

Наверное, стыд должен был пожрать меня живьем. С косточками; с потрохами. Тогда я еще не знал: если Сердящему Богов становится *скучно*, страсти бегут его. Холодок перестал шустрить между лопатками, объяв целиком; стыд замерз, обида замерзла, не осталось ничего, кроме рассудка — ледяного, равнодушного.

Я скорчился нерожденным птенцом в скорлупе своего личного *Номоса*.

Паламед принял меня за сумасшедшего. Три дня, проведенные вместе, однозначно подтвердили эвбейцу: на-

¹ Проксения — закон гостеприимства; проксеном называли чужеземца, оказавшего большие услуги тому или иному городу и обладающего вследствие этого множеством привилегий.

следник Лаэрта-Садовника — слабоумен. Бегаёт в драной одежке, говорит с призраками, играет в войну с козами. Не Навплий ли дал поручение сыну: подтвердить или опровергнуть то, о чем давно говорят за пределами Итаки?

Зачем?!

«Мы ведь скоро станем родичами! считай, братьями!..»

— Говорят, у твоего деда Автолика долго не было сыновей, — буркнул невпопад Старик. — Антикля, твоя мама, родилась первой. Поэтому ее имя — «Не-милая» — плод отцовского раздражения. Если бы сыновья так и не появились на свет, владеть бы зятю-Лаэрту, помимо родной Итаки, угодьями тестя близ Парнаса...

Мне было холодно.

Мне было *скучно*.

— Став зятем Лаэрта, Паламед получает право наследования в случае гибели прямого наследника. Или невозможности того вступить в права.

Кто это сказал?

Я?!

...сестер не помню. Почти. Они всегда существовали как бы отдельно от меня: и в детстве, и после, когда разъехались вслед за мужьями на Самос, Закинф, Эвбею... Я знал, что у меня есть сестры, как знают, что есть камень у дороги. Ну, есть. Пускай.

Сейчас я жалею об этом.

— Зачем Паламеду право наследования басылейства на Итаке? — спросил Одиссей, глядя в небо.

— Итака? при чем здесь Итака? — прозвучал ответ.

Нет, не ответ.

Вопрос.

— Знаешь, — помолчав, добавил Старик, — больше четверти века тому назад приключилась одна история. Некий молодой человек решил подзаработать. Собрав компанию себе подобных, он снарядил судно — пятидесятивесельную пентеконтеру, способную, кроме гребцов-воинов, принять на борт до сотни быков! — и принялся шастать у побережья, зажигая ложные маяки. Многие

купцы и мореходы, обманувшись, шли в западню и расшибались о камни. Выживших добивали; уцелевшее имущество делили по справедливости — львиную долю отдавали предприимчивому молодому человеку. Лет за шесть-семь много поднакопилось... Кое-кто знал о шалостях с маяками, но доказать не удалось.

Одиссей смотрел в небо.

— Судно молодого человека называлось «Стрела Эглетта». Символично, однако...

— Это не может быть тот же самый корабль, — сказал рыжий. — Прошло слишком много времени.

— Много, — согласился Старик. — Не может.

* * *

Глубокой ночью Одиссей подкрался к шалашу, где обитала няня. Вольно или невольно подражая Старику, присел на корточки — неподалеку, чуть-чуть не дойдя до сложенного из веток жилища. По правую руку, ближе к кустам маквиса, горел поздний костер: там клевал носом кто-то из пастухов. Отсюда не различить, кто именно.

Думалось о странном.

Живя на пастбищах, вместе со всеми, Эвриклея умудрялась всегда выглядеть опрятной, казалось, не прилагая к этому никаких усилий. Чистая одежда, складка к складочке, пояс под грудью заранее выглажен разогретым камнем, волосы аккуратно уложены вечной раковиной, прядь к пряди; сандалиям сносу нет, хотя камни под ногами у всех одинаковы...

Глупые мысли.

Совсем глупые.

Или он, рыжий Одиссей, мечтая о далеких палестрах с гимнасиями, просто раньше плохо понимал, чему следует учиться, а чему нет?

— Не спится, маленький хозяин?

Вопрос раздался из недр шалаша: спокойно и буднично, как если бы няня ожидала позднего явления воспитанника.

И от этой обыденности вдруг выплеснулось:

— Няня... если Паламеда призвал его отец — значит, завтра будет свадьба?

— Нет, маленький хозяин. Завтра будет помолвка. Обряды в честь Гименея и Геры. Состязания; подарки. Пышная трапеза. И все. А свадьбу сыграют на Эвбее, родине жениха. Или, может, в Аргосе: ведь Паламед — аргосский проксен, там у него много влиятельных друзей. Им наверняка придется по душе брак сына Навплия и дочери Лаэрта...

И мой Старик — моя тень! мой вопрос без ответа! — тихо усмехнулся за спиной сказанному няней Эвриклеей, рабыней, похожей на богиню, если боги могут стоять на рынке цену двадцати быков.

— Няня... с утра я пойду домой, на помолвку. Я должен! должен! Но Паламед... его отец, басылей Навплий... их люди... Они такие чистенькие! ухоженные! у них дорогая одежда и украшения!

— Ты завидуешь, маленький хозяин?

Честность за честность.

— Да. Завидую. Они словно из другой жизни. Но дело в ином. Думаю, сын хозяина дома должен появиться в день помолвки своей сестры так, чтобы все сразу его заметили. Мне очень надо, няня... я чувствую: надо! — но объяснить не могу. Выходит, есть всего два способа. Первый я уже израсходовал.

— Ввалившись на пристань в драных сандалиях, грязном хитоне и по уши измазанный в смоле? — Тихий смешок вместо обычной укоризны.

Одиссей тоже рассмеялся в ответ:

— Ага. Остается второй способ. Но я не умею. Помогите!

— Маленький хозяин становится большим... Скоро ему не понадобится няня. Но пока я еще нужна. Нам надо выйти после полуночи, чтобы быть дома перед рассветом. Полагаю, мы подыщем в кладовых все, что потребуется.

— Нам надо выйти сейчас, — донеслось из тьмы, но недр шалаша здесь были ровным счетом ни при чем.

Рябой Эвмей беззвучно выступил вперед, расплескав мрак.

— Не надо домой, Эвриклея. Не надо домой, базиленок. Заметят; испортят весь праздник. Если мы выйдем сейчас, то успеем к Гроту Наяд так, чтобы после вернуться утром в дом Лаэрта.

— И попозже! — сообщили от костра грубым басом коровника Филоития. — Чего являться на заре... не грабить, чай, придем? В самый разгар и ввалимся! Слышь, Рябой, там дня за три перед Фринихом «Белоногий» причаливал... в дальних сундуках порыться надо!..

Еще два голоса от костра подтвердили вразнойбой: мол, сундуки с «Белонного» — это да! пороемся, раз надо!

Дружки Филоития всегда горой стояли за атамана-коровника.

И Одиссей вдруг почувствовал себя юным предводителем, ведущим в бой малочисленное, но сплоченное войско.

* * *

— А-а-ах!

— Вина! Фасийского вина мне! Подогретого!

— Итис! Итис первый! Хвала Итису!

— Мою победу я посвящаю прекрасной Марпессе, дочери базилея Лаэрта и мудрой Антиклей, невесте богоравного Паламеда Навплида! Да будут дни ее...

— Лей, виночерпий, мой мальчик кудрявый!.. глаза твои томною негой...

— Выведите его, пусть проблюется!

— Ги-мен! Ги-ме-ней! Ги-мен!..

Память ты, моя память... любопытно, можно ли вернуться за миг до действительного возвращения? Рассудок говорит: нельзя. Но я все-таки попробую...

Глинобитный пол мегарона был залит вином и усеян объедками. До полудня оставалось еще время, но если начать с самого утра, то можно и до полудня успеть совер-

шить круг возлияний, придремать у очага, а потом успеть заново осушить кубок в честь помолвки. Слуги сбивались с ног, разнося блюда с жарким, колбасами в меду, оладьями с тертым сыром; во дворе истошно визжали свиньи под ножом, вторя блеянию овец; быки умирали молча. Там же, во дворе, молодежь состязалась друг с другом: итакийцы и эвбейцы готовы были надорваться, лишь бы не посрамить честь родных островов. Взмывали в небо диски, а зачастую просто камни, борцы корячились, блестя натертыми маслом телами, всякий удар кулачных бойцов сопровождался воплями зрителей; сизоносый аэд терзал струны на кифаре, рассчитывая снискать великую славу в виде бараньей ляжки; кое-кто уже тискал податливых рабыnek, завалив красотку в уголке — здесь тоже собирались зрители, делая ставки.

Посреди двора извивалась живая змея плясунов, возглавляемая неугомонным Эврилохом. С самого утра слуги выставили для всеобщего обозрения подарок от Навплия хозяину дома: дюжину критских лабрисс — двойных секир из черной бронзы, способных в умелых руках отсечь голову быку. Солнце играло в масляных лезвиях, бросая стрелы-зайчики в глаза любопытным; секирные рукояти торчали под одинаковым углом, полированной стеной, копейщиками в фаланге, и тяжкие кольца на рукоятях смотрели на ворота дюжиной глаз, ожидая: кто еще придет поздравить жениха с невестой?!

А между лабриссами истово плясали подростки, возложив руки на плечи идущего впереди.

— А-а-а-ах!!!

— Пищи откушайте нашей, друзья, на здоровье!..

— Слева! слева бей!..

— Ги-мен! Ги-ме-ней!

Казалось, взорвись сейчас двор Зевесовым перуном или содрогнись от удара трезубца Колебателя Земли — нет такого шума, который бы привлек внимание собравшихся в мегароне знатных гостей. Итакийские геронты, жених с невестой, родители молодых, дама Алким, примостившийся в уголочке со своей больной ногой... здравицы, степенные пожелания долголетия и плодовитости, восхва-

ления благородных предков, обеты по возвращении совершить жертвоприношение... обсуждение свадьбы на Эвбее... сетования базилея Лаэрта, кому дела мешают отплыть вместе с богоравным Навплием, дабы лично присутствовать на свадьбе...

Все прекрасно знали, что Паламеду вряд ли удастся насладиться девственностью невесты: старшенькая дочь Лаэрта и Антиклеи, прозванная Марпессой в честь этолийской наяды, к сожалению родителей, и норовом удалась в нимфу. Слаба была на передок. Бранили; запирали; даже поколачивали — без толку. Рябому Эвмею-свинопасу, и то, по слухам, не отказала! — впрочем, о таких подробностях жениху с его отцом знать незачем.

Да и не за девственностью эвбейцы приехали.

Дело с делом породниться решило.

— Слава богоравным базилеям Лаэрту и Навплию!

...тишина снаружи ударила по ушам стократ большее перунов-трезубцев. Здравница сбилась, скомкалась; геронт подавился криком. То, что не мог сделать шум, сделала она, тишина, случайным чужаком явившись на помолвку.

Лишь визжал, захлебываясь, недорезанный поросенок — предсмертным визгом оттеняя общее молчание.

Первыми встали базилеи. Следом — жених с невестой и мать невесты. Дальше потянулись из-за столов: геронты, гости, дама Алким, смешно подпрыгивающий на ходу...

А тишина все разгуливала по двору, дразнясь беззвучно.

Даже поросенок смолк.

* * *

Память ты, моя память...

В распахнутых настежь воротах стоял незнакомый юноша. Огненные кудри, схваченные обручем из серебра с чернью, падали на широкие плечи, как восход солнца заливает еще дремлющую землю. Хитон из плотной, отливающей бирюзой ткани был по кайме украшен вышивкой: нити темно-синего и белого цветов сплетались в бесконечных волнах прибоя. Плащ, свежее первого снега в го-

рах, складка за складкой ниспадал к сандалиям на медной подошве; левый край плаща оттопыривался эфесом меча.

Железного меча.

И еще: пояс, усеянный полированными бляхами из бронзы, на каждой из которых красовалась одна из букв финикийского алфавита.

Алеф, бет, гимет, далет, хе, вав...

За спиной юноши мрачно замерли четверо дюжих телохранителей: кожаные панцири, шлемы, густо усеянные кабаньими клыками, легкие копья наперевес — как если бы их господину угрожала опасность. Рядом с одним из телохранителей, рябым крепышом, статная женщина равнодушно играла кольцами живой змеи.

В левой руке юноша держал превосходный лук.

— Господин! он! он!.. — первым опомнился буян Эврилох, хотя первым ему не полагалось говорить ни по возрасту, ни по чину. — Насквозь! Кольца — насквозь! стрелой... мы врассыпную, думали: он в нас! целится!.. а он!.. насквозь!..

...назад!

На миг, на минуту — назад!

— Надо просто очень любить этот лук...

И, явившись из пустоты — позже, не поверив очевидному, скажут, что я принес его с собой, — возникает лук, подаренный дедом-Автоликом своему сумасшедшему внуку.

— Надо очень... очень любить...

И натянутая единым движением тетива отзывается счастливым трепетом.

— Надо очень любить эту стрелу... эти секиры... надо любить их целиком, от лезвий до колец!..

И кольца критских лабрисс усталились на пришельца не дюжиной — нет! единым! общим глазом!

— Надо очень любить своего отца... свою мать... надо любить этот остров, груды камня, затерянную в море...

Тетива, застонав в экстазе, двинулась назад.

— ...любить свою сестру, радуясь ее счастьем... любить

ее будущего мужа... и тогда все случится легко и просто, ибо лук и жизнь — одно!..

Стрела ушла в полет.

В единственно возможный полет — насквозь.

Через двенадцать секирных колец.

* * *

Я подошел к Навплию с Паламедом, зная: мои спутники идут сзади, отставая всего на шаг.

Коротко склонил голову:

— Богоравные... Мы ведь скоро станем родичами! Близкими родичами! Простите! — мне, наследнику бедной итакийской базилеви, нечего подарить вам на память из дорогих вещей. Да и можно ли удивить вас, богоравные, чем-либо ценным? Я делаю то, что в моих силах: посвящаю вам свой сегодняшний выстрел. А свою стрелу я посвящаю Стрелку-Олимпийцу, нарекая ее Стрелой Эглета, невидимо и неотвратно поражающей цель! И еще...

Тишина.

Рядом, вокруг, бок о бок.

Возможно, я говорил вовсе не так гладко — сейчас, по возвращении, я даже уверен в этом. Но какая разница?

— И еще. Возьмите, как дар, этот совет юнца, пропахшего козами: никогда не верьте ложным маякам. Иначе есть риск разбиться о камни, предоставив другим подбирать добычу. Даже если ты — исконный моряк¹. А я ведь желаю вам только счастья, богоравные родичи мои...

И почувствовал: треск бытия, треск моего личного *Номоса*, отдалился. Затих. Исчез до поры.

Значит, я все сделал правильно.

...Их глаза.

Глаза базилея Навплия и его сына Паламеда.

Они глядели на меня секирными кольцами, сливаясь в один, широко распахнутый, потрясенный увиденным глаз.

Словно ожидали стрелы.

¹ Двойной намек: имя «Навплий» буквально означает «моряк».

ИТАКА

**Западный склон горы Этос; дворцовая терраса
(Сфраггид)**

— Вздывает море
Валы-громады,
Любая — чудо,
Любая — воин...

Встав, я прошелся по террасе. Постоял у перил, невидящими глазами уставясь перед собой. На этот раз возвращаться было легче. Легче — и трудней. Одновременно. Так бывает.

Мурлыча старый гимн кормчих, я смотрел перед собой, постепенно обретая способность видеть. Зеленая звезда — моя подружка! — зацепилась за край утеса, ободравшись в кровь. Я сочувствую тебе, звезда. Я не вижу снаружи ничего, кроме тебя, звезда. Зато внутри...

...в тот день, прямо среди помолвки, меня постригли во взрослые. Под буйные крики одобрения базилей Навплий — сын Посейдона и отец Паламеда! Навплий, ты велик!.. — собственноручно совершил обряд пострижения, по просьбе моего отца.

Навплий, ты велик! я благодарен тебе, я люблю тебя, Навплий!

Почему дрожали твои руки, базилей?!

Тогда я не знал, что минутой раньше заслонил собой отца. Я, Одиссей, закрыл Лаэрта-Садовника, как щит закрывает тело от копейного жала. Слабоумный наследник всегда пребывает в безопасности, ибо его право наследования — дым, мираж, обман чувств! Ему даже позволяют доживать свой век в сытости, играя с козами в войну — если, тем или иным путем, будет устранен благоразумный родитель бедного дурачка, дабы открыть дорогу трижды благоразумным родичам.

Особенно когда родитель обладает более ценным имуществом для передачи, нежели затерянная в глуши Итака.

Папа, я же не знал, отчего на самом деле трещит скорлупа моего *Номоса*! я же не знал, что ты — такая же неотъемлемая часть Вселенной по имени «Одиссей, сын Лаэрта», как и я сам!..

Папа, я люблю тебя.

Постриженный во взрослые, я стоял в буре восторгов, а ты, Лаэрт, улыбаясь счастливо и чуть-чуть смущенно, стоял рядом и немного позади.

Да, в день пострижения я был... нет, я стал твоим щитом.

Тем, кто принимает первый удар.

Принимает, не понимая — зато мама поняла все сразу и бесповоротно; Антикля плакала, не стыдясь слез. «От счастья! — шептались рабыни, и эхо металось между людьми. — От счастья! Такого сына...» Мама, не плачь. Не надо. Ни в прошлом, ни сейчас.

Мама, я вернусь.

Ты же знаешь, я никогда не обманывал тебя; я почти совсем не умею лгать, мама, не дотянувшись в искусстве честности до Далеко Разящего лишь на пол-локтя; вместо лжи я просто говорю не всю правду, но сейчас я говорю ее всю.

Я вернусь.

— ...Лазурноруки,
Пеннокудрявы,
Драконьи шлемы,
Тритоньи гребни...

И от кораблей, словно в ответ мне, донеслось под бряцанье старенькой кифары:

— Муза, воспой Одиссея, бессмертным подобного мужа!
Голени, бедра и руки его преисполнены силы,
Шея его жиливата, он мышцами крепок; годами
Вовсе не стар. Ни в каком не безопытен мужеском бое...

Одобрительный гомон заглушил песнь. Они там собирались убивать по тысяче врагов в день, и героям для полного счастья требовался истинный вождь, гроза троянцев — аэд прекрасно понимал чаяния пьяных героев.

Спуститься, что ли, вниз?

Выпить с парнями вина, а потом засунуть руку по локоть в луженую глотку аэда и вырвать его раздвоенный язык? с корнем?! бросить собакам?!

Вместо этого я зажмурился.

Крепко-крепко.

...Постриженный во взрослые, я стоял в буре восторгов, а ты, Лаэрт, улыбался счастливо и чуть-чуть смущенно.

Позже ты спросил у меня: «Что это за намек про лживые маяки?»

Я отговорился пустяками. Даже тринадцатилетнему подростку стало ясно: ты ничего не знал о бывшей «Стреле Эглета», утонувшей в пучине прошлого, и о предприимчивом молодом человеке. Ты был младше Навплия, папа. Если договориться с мойрами-Пряхами и отмотать назад четверть века, — а я уже научился возвращаться туда, где не был! — ты обернешься едва ли не сверстником юного сына, на грани пострижения.

Откуда тебе было знать?

На миг я ощутил себя мудрым и многоопытным. Спусти несколько лет мне было стыдно за этот миг. Папа, ты знал о лживых маяках во сто крат больше любого знатока: таким способом берегового пиратства промышляли многие, собирая на камнях растерзанную добычу. «Стрела Эглета» не являлась исключением, но тайная, коварная подлость крылась в другом: предприимчивый молодой человек никогда не работал дважды на одном и том же месте, мгновенно исчезая после грабежа.

А месть пострадавших, если кто-то чудом выживал, или их родичей, чье горе требовало выхода... Мечь обрушивалась на местных жителей — ведь их и только их обвиняли в случившемся.

Этого я тогда не понял.

Папа, я прошу у тебя прощения за гордыню.

— Вздывает море
Валы-громады,
Любая — диво,
Любая — дева...

Зеленая звезда, у тебя я тоже прошу прощения.

Без причины, про запас.

Паламед-эвбеец, прости и ты — тебе пришлось смириться с гулящей женой без надежды на будущий барыш. Впрочем, здесь я не прав — надежды умирают последними, а ты надеешься по сей день.

Я люблю тебя, Паламед, мой обаятельный шурин, приложивший все старания, дабы я смог получить свою долю военной славы; я люблю тебя, потому что не умею иначе.

— И, горсть жемчужин
Пересыпая,
У nereиды
В глазах — томленье...

Я вернусь.

Я уже, я сейчас... только дух переведу...

ПЕСНЬ ТРЕТЬЯ

ХОЧУ БЫТЬ ЭПИГОНОМ!

...В восьмой песне «Одиссеи» мы читаем, что боги создают злоключения, дабы будущим поколениям было о чем петь...

Х. Л. Борхес

СТРОФА-I

МАЛЬЧИШКИ ИДУТ НА ФИВЫ



апа хохотал как резаный.

Одиссей еще подумал, что ошибся — это орут как резаные, а хохочут как-то иначе. Впрочем, тонкости сочетания слов пусть больше интересуют аэдов, им за это платят. Ибо история, приведшая басылея Лаэрта в бурный восторг, даже в кратком изложении была прелестна.

Вечным Сизифом взойдя на перевал и покотившись вниз, к зиме, нынешняя осень явила препаскудный норов. Ежедневно до полудня над Итакой висел сплошной туман, состоявший, казалось, из мелких капелек божьего наказания; небо сочилось гнилым соком, будто червивый плод, забытый на ветке; население оглушительно чихало, шмыгая красными носами, и руно овец сваялось неопрятными колтунами, странным образом напоминая о проказе.

Дрянь, не осень.

Тут и случилась история, о которой упоминалось раньше. В ожидании гиблого безделья зимы семеро охломонов¹ с близлежащего островка Дулихия решили подзаработать. Снарядив лодки и подвесив к поясам кривые ножи, они отплыли на ночь глядя, в надежде к рассвету

¹ Охломон — предводитель толпы (охлоса), вожак.

достичь побережья Акарнании. Но, заблудившимся в тумане, вместо обильной дарами Акарнании им суждено было высадиться на берегу соседки-Итаки — где великолепная семерка и принялась, взойдя по склону, споро резать ножами подвернувшееся им стадо свиней.

Пока вкупе со стадом им в тумане не подвернулись и пастухи.

Справедливость была восстановлена, кулаки разбиты в кровь, кривые ножи радостно поменяли владельцев; после чего между ревнителями итакийского свинства и налетчиками, отдохавшими в жидкой, пахнущей навозом грязи, состоялся разговор примерно следующего содержания:

— Вы кто?

— М-м-м-м...

— Ты мне зубами не плюйся, охвостье драное! внятно отвечай!

— Мы... мы п-пираты...

— Это вы — пираты?!

— М-м-мы... А в-в-вы сами к-кто?

— Мы свинопасы.

— Это в-вы — свинопасы?!

Да, папа смеялся. А вместе с ним смеялся и Одиссей, радуясь, что папе не пришло в голову обратить внимание на кулаки наследника. Ободренные костяшки — это, конечно, пустяки, но все-таки негоже... да еще постриженному во взрослые... мог бы и подождать, пока свинопасы сами разберутся... нет, кинулся первым... вон, на скуле синяк!..

Все папины доводы, буде Лаэрт собрался бы заняться-таки воспитанием сына, Одиссей знал заранее.

* * *

Ниже по лестнице, ведущей на северную террасу, зашлепали сандалии. Много сандалий. И, под дружное кряхтенье, взорам явились носилки с восседавшим на них да-

матом Алкимом. В сырую погоду больная нога Алкима ныла пуще капризного дитяти, принуждая хозяина либо безвылазно сидеть дома, либо путешествовать на чужих плечах.

— Радуйся, мой базилей! Воистину радуйся, ибо наши расчеты оказались верны!

Одиссей наострил уши.

— Фивы?! когда?! — Лаэрт мигом забыл о свинопасах и пиратах-растеряхах; глаза базилея сверкнули острым, коварным огоньком.

Одиссей редко видел отца таким и очень любил эти редкие минуты. Забывалось, что на земле есть люди, зовущие отцами Геракла, Тезея-Афинянина или, на худой конец, мятежного лапифа Пейрифоя.

Сыновья истинных героев.

Папа, ты прости меня, ладно?

— Фивы, мой базилей. Мальчишки идут на Фивы. Эпигоны¹, сыновья Семерых. В Форкинской гавани причалил кормчий Фриних, а его вести — самые верные. Кому, как не тебе, мой базилей, знать это...

Дамат Алким заругался, требуя от носильщиков, чтобы те сгрузили носилки у перил; на миг воцарилась суматоха — носилки сгружались, из покоев уже тащили любимую Алкимову скамью со спинкой, базилей Лаэрт нервно расхаживал из конца в конец террасы, а Одиссей стоял, бледный, и мечтал об одном.

Чтобы о нем забыли.

Чтобы — взрослого! постриженного! — не выгнали.

Чтобы еще раз дали услышать потрясающую, сногшибательную, грандиозную новость, которая верна, ибо вести кормчего Фриниха — самые верные.

Мальчишки идут на Фивы.

Боги! добрые, милостивые боги! — мальчишки...

О нем вспомнили. Но, по всей видимости, боги вняли мольбам: папа и дядя Алким одновременно устались на рыжего, улыбнулись... Не сговариваясь, кивнули:

— Ишь, вытянулся! звенит! — это папа. — Тоже, небось, Фивы брать хочешь? да, сынок?

¹ Эпигоны — потомки (косв. значение: «последователи»).

— Ему нeинтересно, — а это дядя Алким. — Он уже брал. Два раза. Правда, Одиссей?

Впервые в жизни захотелось ударить калеку.

Нахлынуло; прошло. Я же люблю тебя, хитроумный дамат, — зачем ты так?..

Сразу прояснилось главное: папа отнюдь не намерен собирать армию и плыть на Большую Землю, дабы поучаствовать в очередном и, похоже, последнем взятии Семи-вратных Фив. Папу интересует что-то другое, и дядю Алкима интересует что-то другое.

Что?

А, какая разница, если все равно... а мальчишки идут на Фивы!.. гребни шлемов, бронза и медь, дождь плещет водяными крыльями, подражая Нике-Победе...

— Какие мальчишки, дядя Алким?

— Ну ты даешь, наследник! — Алким сморщился: видать, доняла боль в ноге. — Слушаешь, а не слышишь. Сказано же: эпигоны, сыновья Семерых. Отцы десять лет назад под фиванскими стенами головы сложили...

Разом вспомнилось детское: ого-го, и на стенку.

...братья Алкмеон и Амфилох, сыновья Амфиарая-Вещего; лагает Эгиалей, сын Адраста-Счастлищика¹; Диомед, сын Тидея-Нечестивца; Промах-тиринфец, сын Партенопея, кому родителем доводился сам неустовый бог войны, Арей-Эниалий²; Сфенел, сын Капанея-Исполина; Ферсандр, сын Полиника, из рода фиванских басилеев; Эвриал, сын Менестея; Полидор, сын лернейского Гиппомедонта-лошадника...

Имена, имена... гребни шлемов, бронза и медь... сладкий звон славы...

— ...теперь детишки подросли, славы родительской взыскуют. Заправилой у них Диомед Тидид, из Аргоса. Семнадцать лет парню, шило в заднице... остальные едва

¹ Адраст — правитель Аргоса, единственный из Семерых, кто не пал под Фивами при первом походе; выжив, всячески провоцировал новый поход. Его смерть послужила сигналом к выступлению эпигонов.

² Эниалий — Воинственный; прозвище бога войны Арея.

ли не младше будут. Мне верные люди доносили: Диомед от рождения бешеный, припадочный — отцова кровь, порченная...

При этих словах дядя Алким ненароком глянул на Лазерта, будто опасаясь обидеть. Нет, пронесло. По-прежнему улыбается итакийский базилей:

— Бешеный, говоришь?

— Да, мой базилей. В драке неистов, себя не помнит. Свидетели рассказывают: хуже Тидея-покойника. Папаша один на полсотни кидался, мозг из вражьего черепа пил; сын в запале на Олимп взбежит. Только другом, сыном Капанея, Тидейского побратима, и спасается: у Капанида рука крепче бронзы, скрутит бешеного — беги, кто успел!

— Двое мальчишек играют в песке. По всему ахейскому *Номосу*, год за годом, двое мальчишек играют в песке, и один из них — сумасшедший. Символ эпохи, можно сказать. Божий промысел.

...это не папа. Не дядя Алким, дама-т-умница.

Это я вдруг сказал.

Вот уж сказал так сказал.

Оба мужчины воззрились на рыжего юношу, словно только что впервые его увидели. Тяжелая, странная тишина повисла над террасой, чтобы разрешиться кашлем дамат Алкима.

— Я полагаю, мой базилей, — откашлявшись, бросил он, — на сей раз Фивы падут. Диомед-то, пока остальные на востоке шороху наводят, засел в дикой Куретии, близ Калидона Этолийского: ест-пьет-гуляет, головы дуракам морочит. Не сегодня-завтра свалится оттуда на Фивы, первым снегом на темечко. Бешеный, а понял: с запада город брать надо, с запада!

«С запада! — откликнулось прошлое, детскими-недетскими играми. — С запада!..»

— Есть у меня, мой базилей, в Аргосе разумный знакомец Эвмел... тоже калека, вроде меня, хоть и сын Адраста-Счастливого. Воюет, не выходя из дому. Так он писал однажды: «Когда большие умные дяди дают мальчишкам

оружие и точно указывают, куда надо идти умирать, — из этого часто выходит толк. Особенно если среди мальчишек попадаются упрямы...

«Фивы! падут!» — эхом отдалось в мозгу Одиссея.

— Падут — это ладно, — согласился базилей Лаэрт, как будто вопрос падения Фив зависел исключительно от его мнения. — А добычу небось по Коринфскому заливу сплавить захотят? Или обозом, через Истмийскую линию?

— Надо бы, чтоб заливом, — лицо дяди Алкима вспотело, и он промокнул щеки куском ткани. — Очень надо, мой базилей. Обоз ведь по ночам щипать станут. Вот за этим, собственно, я...

И в третий раз посмотрели мужчины на Одиссея. Все здесь взрослые, все постриженные; двоим оставаться, одному уходить.

Отгадajte: кому?

* * *

...я брел наугад, не разбирая дороги. Мальчишки идут на Фивы, а я — наугад. Гребни шлемов, бронза и медь; а я — куда глаза глядят. С запада город брать надо; а я — шаркая по грязи.

По грязи, и так — до самой смерти.

Скорлупа вокруг меня отзывалась привычным треском, словно чуяла: решение уже на пороге. Шаг, другой, третий, и оно будет принято, решение безумное и безудержное; но сейчас в треске крылся незнакомый отзвук. Тогда я не знал: так трещит *Номос*, когда ему приходит срок расти. Это чревато разрушением, трещинами и гибелью; преодолевая собственные границы, Мироздание обречено пройти через все рубежные страхи и опасности, какие в нем сыщутся; но в пору расширения, оставшись вопреки зову в прежних границах, *Номос* начинает гнить.

Прости меня, мама.

Пойми меня, папа.

Если сможете, простите и поймите.

Я вернусь.

Решение принято; пора действовать. Однако наобум действует лишь самоубийца. А отнюдь не сын басилея Лаэрта и ученик мудрого дамата Алкима. Первым делом надо — что? — выяснить, куда ты собрался. И за чем.

Ответ был ясней ясного: на войну за подвигами.

«Славно, славно... — будто наяву, скрипнул в голове рассудительный Алкимов голос. — И как мы намерены добратся до войны с подвигами?» Одиссей даже вздрогнул; обернулся. Однако рядом никого, кроме привычного Старика, не оказалось, а Старик молчал.

Или все-таки не молчал?

Ладно, ерунда. Ответы — убийцы вопросов; вот он, ответ — встал напротив вопроса в броне и шлеме, выставил копье! Удар! Наповал!.. Если герою охота примкнуть к войску эпигонов, надо достичь Калидона, где расположен богоравный Диомед, сын Тидея! И путь один: морем. В гавани сейчас стоит корабль кормчего Фриниха. Значит, разыщем Фриниха, а лучше — старого знакомого, эфиопа Ворона...

Осталось тайно выбраться из дворца: не хватало еще, чтобы Эвмей или, того хуже, няня увязались за ним!

Вскоре, радуясь удаче, сын Лаэрта что есть духу припустил по каменистой дороге, ведущей в гавань. На подходах к береговому поселку перешел на шаг, выравнивая дыхание. Спешка? волнение?! что вы! — гуляю, дышу эфиром осени... Позади тенью влочился Старик — однако гадать, как ему удастся поспевать за легконогим юношей, Одиссей не стал. Давно привык к странностям вечного спутника.

Корабль Фриниха лежал на песке у причала, грузно придавив фаланги — вереницу катков из черного тополя. Судя по всему, кормчий сегодня отплывать не собирался.

Успел!

Ворон после недолгих поисков был обнаружен в ближайшем притоне. Эфиоп вел неравный бой с превосходящими силами противника в лице двух винных кувшинов — одновременно готовя пути отхода в укромное местечко,

захватив в качестве трофея самую пухлую из служанок. Битва шла успешно: один из врагов был уже разбит вдребзги, сам Ворон — полон желания сражаться до победного конца; а судя по подмигиваниям служанки, с путями отхода забот не предвиделось.

Одиссей опустился на скамью напротив эфиопа. В ответ на предложение вина мотнул головой: «Не сейчас!»; скучающим взглядом обвел притон. Лениво поинтересовался:

— Догуливаешь? Когда отплытие?

— Скоро... маленький хозяин, — Ворон запнулся, раздумывая: можно ли взрослого, постриженного Одиссея звать по-прежнему, «маленьким хозяином»? Но ничего другого не придумал. — Скоро, да! Завтра-через-завтра.

— На Эвбее будете? — сразу про Калидон спрашивать не следовало.

— Не будем. К Коринфу поплывем, да! Наверное. А зачем тебе Эвбея, маленький хозяин?

— Шурина в гости пригласить хочу. Паламеда.

Это прозвучало солидно, по-взрослому. В самом деле, почему к отцу гости ездят, а к нему, Одиссею, нет?! Он теперь тоже большой! наследник...

— Ай, жалко! не будем на Эвбее! — искренне огорчился Ворон. — Совсем не по пути, да!

— В Коринфский залив, небось, мимо Калидона поплывете? Задержитесь на денек?

Одиссей прикинул в уме перипл¹, который рисовал им с Ментором дядя Алким. Все сходилось.

— Мимо, да! Только заходить не станем... Зачем? Были недавно, что там еще делать, да?

— Ладно, свежей воды вам! — махнул рукой Одиссей, вставая. — Никто другой на Эвбею не плывет, а?

— Не плывет, точно, не плывет! Обожди, маленький

¹ П е р и п л — древний аналог карты; описание морской поездки с зарисовками маршрутов и указанием важнейших ориентиров, включая звездные.

хозяин, вернемся — я узнаю, кто на Эвбею собирается. Тебе обязательно скажу, да!

— Удачи, Ворон, — и, не слушая эфиопа, сын Лаэрта вышел вон.

В гавани стояло еще два корабля. Двдцативесельная эйкосора под иссиня-черными парусами — отличительным знаком Сидона; и торговое судно из Тиринфа.

Два вопроса, ждущих прихода ответов — своих убийц.

* * *

...Сюда мне возвращаться проще: крики чаек, людской гомон временами перекрывает глухой плеск и хлюпанье воды под причалом, соленый ветер хватает за грудки, портовым забулдыгой глядит в лицо, дыша перегаром смолы, моря, гниющих водорослей, подгорелой баранины... И вместе с воплями людей, вместе с гвалтом чаек в мои уши вновь врывается знакомый треск скорлупы.

Треск *Номоса*.

Птенец не может вечно оставаться в яйце. Рано или поздно приходится раздвинуть границы своего мира... Нет, иначе. Ведь птенец, покидая яйцо, разрушает его раз и навсегда. Я же хотел выйти за пределы своего Мироздания, не разрушив, а расширив его рубежи. Увидеть и понять: мир не ограничивается затерянным в море клочком каменистой суши, который зовется Итакой.

Я хотел быть *вне* — этого хватило, чтобы предостерегающий треск раздался в ушах. Но не останавливая, а лишь предупреждая.

Крыльям пришла пора окрепнуть.

Иначе сейчас я бы не смог повторить с твердой уверенностью:

— Я вернусь!

* * *

К вечеру точно выяснилось: в Калидон попутчиков нет. Значит, оставалось плыть самому, на лодке. Опасно? да. Ну и что?

Одиссей, сын Лаэрта, твердо решил идти в эпигоны.

Домой вернулся уже затемно. Впрочем, отлучка тревоги не вызвала: мало ли куда мог на полдня отлучиться взрослый парень четырнадцати лет? А хоть бы и по бабам...

С утра выпало заняться сборами; прежде всего — оружие. Нож всегда с собой: черная бронза, рифленая рукоять из кости. Хоть мясо за обедом резать, хоть врагу глотку... Лук можно извлекать из кладовой в любое время, по мере надобности; спасибо Телемаховой науке. Опять же, меньше поклажи. Но таскать стрелы без помощи Далеко Разящего получалось через раз.

Ладно. В Гроте Наяд — на складе, указанном пастухами, — сыскался кожаный колчан с двумя дюжинами стрел.

«Прихвати меч! — зудел даймон на плече. — Железный!» Однако Одиссей не по годам здраво рассудил: с такой ценной вещью неприятностей не оберешься. А брать меч поплоше... В итоге остановился на широком листовидном наконечнике для копья. Древко недолго по пути вырезать, да и без древка этой штукой вполне можно орудовать наподобие меча.

Полезная вещь.

Доспехи, имевшиеся на складе в изобилии, не вдохновили. Таскать с собой эдакую тяжесть... У врага отберем. Зато новые сандалии пришлось очень кстати. Ага, и теплый, шитый серебром плащ на меху — чай, не лето на дворе! Кресало, крученный трут; еще цацек всяких в котомку кинем — в случае чего на еду сменяем...

Кстати, о еде!

Выручила привычка собираться на итакийские пастбища. Сыр, лук-чеснок, лепешки, полоски вяленой козлятины (дольше хранится!); три пригоршни изюма. Бурдюк «лягушатника» — вина, на две трети разбавленного водой из родника. Морской водицы поди хлебни-ка! — не коз пасти плывем, имеем соображение! Пускай всей дороги — дня три от силы! Двое суток морем, дальше берегом полдня...

Еда — не обуза.

На тайные сборы ушел целый день.

Ночь пролетела в грезах о славных деяниях; утро — в поисках подходящей лодки. Как назло, попадалось больше ободранное старье, на котором рыбачить в стадии от берега — и то риск великий, а уж плыть на Большую Землю — верное самоубийство!

Одиссей метался по берегу Безымянной, шипя проклятия: ведь уйдет же Диомед со товарищи! уйдет на Фивы! без него, Одиссея!

Нужная посуда, названная каким-то местным шутником «Арго», обнаружилась к вечеру, в Ретре. Шутник оказался в придачу грамотеем (или попросил кого), ибо название было криво выведено по-финикийски на носу лодки. Борта еще пахли свежей смолой; рядом нашлась пара весел и припрятанная мачта с двумя парусами — главным гистионом и малым, вспомогательным долоном.

Отправляться в путь на ночь глядя?

* * *

...противоречия раздирали душу на сотню маленьких Одиссеев. С одной стороны, драгоценное время уходило водой в песок; и я порывался отплыть немедленно. С другой — здравый смысл подсказывал: отчаливать лучше с рассветом. Дабы к вечеру достичь Эхинадских островов, переночевать в скалах и утром продолжить путь на восток, к Калидону.

Встретить ночь в открытом море не улыбалось.

И еще думалось: славно путешествовать вместе с верным другом. Аргус не в счет — то, что пес увяжется следом, было вне сомнений. Он увяжется, а я возьму; но собака — не человек. Ведь говорил же дядя Алким: «Герой не должен быть один»! Позвать Ментора? ох, вряд ли рассудительный Алкимов сын согласится на побег! Эврилох? Этот — с радостью... Жаль, обоих еще не постригли во взрослые! А вдруг на войне друзей ранят или убьют? Общий у смертных Арей; иди знай, чем дело обернется! Получится, что я — взрослый! — утащил на войну мальчишек...

Мысль о возможности собственной смерти меня не посещала.

Вот если бы Далеко Разящий объявился! Уж мы бы с ним... Однако Телемах, как назло, обретался в неведомых далях.

— Если нет друга, ищи покровителя, — проворчал за спиной Старик, но я лишь отмахнулся. Какого еще покровителя? где?!

Ночь на дворе, а он с глупостями...

На задворках сознания, пульсируя в висках, мягко похрустывала скорлупа моего *Номоса*.

* * *

Черного ягненка Одиссей не то чтобы украл. Просто взял без спросу. В конце концов, это папино стадо? Папино! А он — папин сын и наследник. Значит, имеет полное право одолжить ягненка! для благого дела — жертвы богам!

Потом выпал черед отдубасить назойливого Эвмея: свинопас преисполнился счастьем и отстал без лишних вопросов. А няне — наврать про задание дамата Алкима. Вот, теперь шастай по острову, готовь очередное «сражение»...

Няня поверила — отчего на душе было особенно гадко.

Сырые дрова шипели, ворчали, но Одиссей с усердием дул на тлеющие угли, совал огрызки коры — и пламя наконец занялось. Жалобно всхлипнул ягненок, встречая бронзу; и черная в предрассветных сумерках кровь брызнула в огонь. Лежавший рядом Аргус принялся. Выжидательно покосился на хозяина: мол, закусим? Однако, не дождавшись ответа, положил башку на лапы: хозяину виднее. Хотя лично он, Аргус, на его месте...

Одиссей хорошо помнил, как обращался к богам папа, чувствуя Глубокоуважаемых, но при этом избегая прямых имен: Зевс, Посейдон, Гера, Афина... Пышные гимны

жрецов; униженные мольбы пахарей; велеречивые песни аэдов...

Не то!

У одних боги вызывают опаску и уважение. Другие тупо боятся, стараясь не гневить лишний раз. Третьи задабривают, лишь бы что-нибудь вымолить... Дурачье! Богов надо просто любить! — и ответом тебе будет любовь. Не молния, не тайная стрела — любовь, дружба, покровительство...

Старик в тени криво усмехнулся: а я о чем?!

У каждого истинного героя был свой бог-покровитель. Персею-Горгоноубийце помогал легконогий Гермий, Язону-Аргонавту — могучая Афина, Защитница Городов; Гераклу — его небесный отец... Так чем он, Одиссей, хуже? О нет, он не станет сердить покровителя, оправдывая имя! Он будет любить его, приносить жертвы — не забывая, конечно, остальных Глубокоуважаемых...

Кто ты, мой покровитель?

Назовись?!

Путь ляжет морем, по владениям Посейдона. Однако затем ждут земные дороги, где странников опекает Гермий, а гостей — сам Дий-Гостеприимец. Дальше: война, удел неистового Арея... Ведь покровитель должен стать для него, Одиссея, *особым* богом, в некотором роде — единственным! и чтобы любить его... «Любить его» — прозвучало непривычно. Почему «его»? — ее!.. богиню, добрую, как мать, и властную, как небожительница!

Волоокая Гера? — но вспомним того же Геракла...

Артемиды-Охотница? — этой мужчины вовсе безразличны.

Афина Паллада? — когда настоящий «Арго» выходил из гавани, на его носу стояла статуя Афины...

И тут Одиссей ясно осознал: он выбрал! Афина-Дева, символ мудрости и справедливой войны — о, он сумеет полюбить богиню, как никто другой, он уже любит ее! Ниспошли удачу, великая! помоги, как помогала прежде Тидею-Нечестивцу, отцу Диомеда из Аргоса! Наверняка благосклонность твоя осенила и самого Диомеда — а ведь Одиссей направляется именно к нему! Лучшие друзья, по-

братимы, они будут биться плечом к плечу, вместе ворвутся в Семивратные Фивы — а если понадобится, Одиссей закроет Диомеда собой! Внемли же, богиня, сыну Лаэрта — он говорит правду, ибо слова эти идут из глубины сердца!

...пламя вспыхнуло ярче. Коснулось протянутых рук; но не обожгло. Лишь обдало пальцы ласковым теплом, чтобы почти сразу угаснуть. Порыв ветра взметнул золу — в носу засвербило, и знатный чих огласил притихшую Итаку.

Добрый знак?

Когда Одиссей отгребал от берега, туман слегка разошелся, и сын Лаэрта увидел на вершине Кораковского утеса женскую фигуру. Статную, высокую; больше ничего из-за тумана рассмотреть не удавалось.

«Эвриклея! Спohватилась-таки. Сейчас побежит к отцу, тот снарядит погоню...»

Юноша сильнее приналег на весла. Однако женщина стояла молча, не призывая блудного наследника вернуться. Наоборот, она растерянно оглядывалась вокруг, словно не понимала: где она и как здесь очутилась? Солнце, на миг пробив пелену, облило женщину с ног до головы расплавленным золотом, а когда Одиссей протер глаза — туман вновь сгустился, скрыв утес.

СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЧАСТЬ ИОНИЧЕСКОГО МОРЯ:

**Итака — Карн — Таф — Левкада;
побережье Акарнании южнее порта Ализии
(Френ¹)**

...плаванье — сплошная судорога бытия. Косой дождь насквозь прошивает, не разгоняя, гнусные клочья тумана. Время от времени приходится сушить весла и вычерпы-

¹ Френ — плач; часть песни.

вать набирающуюся в «Арго» воду. Потом налетает изрядный боковой ветер, и я совсем теряюсь.

В море.

В мире.

...убрал парус.

Аргус беспокойно оглядывается по сторонам, ворочается в поисках сухого места. Но не ропщет — так решил хозяин, живой бог.

Старик молча сидит на корме.

Несет на северо-восток.

...Волдыри на ладонях вздуваются, чтобы сразу лопнуть. Язвы саднит от соленой воды. Ветер разогнал туман, но из-за мутной пелены дождя все равно ничего не видно.

Скоро сдохну.

...К вечеру сквозь завесу дождя проступает серая громада острова. Заскребли камни о днище. Вываливаюсь на прибрежную гальку.

Рядом беззвучно плачет Аргус.

...буря. Настоящая. К счастью, удалось оттащить «Арго» подальше от ярящихся бурунов. Отсиживаюсь в пещере, жую изюм, изредка выглядывая наружу.

Тошнит.

Аргус пускает слюни, и я кормлю его козлятиной с лепешками.

Старик молчит.

Если это не один из многочисленных безымянных клочков суши, где даже козы не живут — значит, мы на островке Карн.

Бесформенный камень в углу пещеры дышит теплом. Жмусь к нему, будто к старому другу; засыпаю.

Сплю.

...снятся пакости: будто я герой Тезей, иду из родных Трезен в Афины, а мне по дороге каждый встречный — в морду. И Перифет-Дубинщик. И Синид — Сгигатель Со-сен. И Прокруст-Мучитель. Даже Минотавр, сбежав сюда из критского лабиринта — в морду.

А я, герой, все иду.

...третий день, как покинул Итаку. Распогодилось; оставляю Карн. Проплыви я в сумерках мимо... даже думать об этом не хочется.

Молюсь своей покровительнице Афине.

...По-прежнему несет на север. Впрочем, грех браниться: умудряюсь вклиниться между Левкадой и Тафом. Тихо. Скалы защищают от ветра.

Ночую на северной оконечности Левкады — чтобы с первыми лучами солнца совершить последний отчаянный рывок.

Вон она, Большая Земля.

Отсюда видно.

АНТИСТРОФА-I

НЕ БЕССЛАВНО ЕМУ, ЗАЩИЩАЯ ОТЧИЗНУ...

«Арго» мягко ткнулся носом в прибрежный песок. И наследник итакийского престола ступил наконец (вернее, скакнул горным козлом!) на Большую Землю, следом за верным Аргусом, воспрявшим духом при виде суши.

Огляделся.

Будто и не уезжал с Итаки. Покладистые с утра волны лениво лижут песок; блестят валуны, заросли раkitника тянутся выше по склону. Листья: охра в крови. Вон пара лодок на берегу сушится...

— Ай, гости! ай, по наши кости!

Сминая раkitник, по склону ссыпался ухмыляющийся дядька в плаще из козьей шкуры: поперек себя шире, рышка от румянца чуть не треснет. Однако двигался дядька на удивление проворно, напомнив своими повадками Одиссею что-то до боли знакомое...

Опять же, дубина в руке. Знатная штука.

Одиссей тайком прозвал дядьку Дубинщиком, себя же ощутив Тезеем — не из пакостного сна, а настоящим.

— Ай, кто к нам приплыл?!

— Я приплыл, — сообщил рыжий Дубинщику, на всякий случай прихватывая пса за шерсть на загривке. — Радуйся! Где тут у вас дорога на Калидон?

— На Калидон? — Дядька завертел головой, словно надеясь высмотреть Калидон прямо отсюда. — А на кой тебе Калидон?

— Нужен, — Одиссей начал испытывать раздражение. — Иду, значит, в эпигоны! Воевать.

Последнее он добавил, чтобы заранее пресечь дальнейшие вопросы.

— Дык ясен пень! куда ж еще идти такому герою! А лодку, выходит, с собой потащишь?

— Зачем? — удивился Одиссей. — Здесь оставлю. До возвращения. Или тебе продам!

Мудрая мысль! Еще сопрут, лодку-то, до возвращения... Много за такую посудину не выручишь, но харч пригодился бы: взятый из дому запас стараниями проглота-Аргуса изрядно истощился.

— Или тебе лодка не нужна? Ты, небось, пастух?

— Пастух, пастух! — заржал Дубинщик сивым меринном. — Сидим тут с братаном, пасем...

Повеяло родиной. Что наши итакийцы, что этот! Словно по-прежнему дома. Вон и серьга у Дубинщика в ухе знакомая — капелька меди.

Одиссей машинально коснулся своей, железной серьги: отцовского подарка. Кроме нее, из украшений он взял только дешевый перстенок, доставшийся маме в наследство от дедушки Автолика. Мама надевала перстенок лишь раз в году, в день смерти деда. Перстень был простым, медным, без самоцветов; зато на нем был искусно вырезан волчий профиль — личный знак Автолика, Волка-Одиночки. Одиссей взял украшение на память сразу о двоих: о маме с дедушкой.

А еще — как залог возвращения.

— ...ай, лодку продаешь? Тут думать надо. Братана

кликнуть... Ай, небось, за свое корыто дорого спросишь? У нас, бедных людей, и не найдется столько?

Похоже, Дубинщик издевался.

— Еды возьму, — постепенно закипая, ответил Одиссей ледяным тоном. — Сколько унесу. И вина бурдюк. Лодка того стоит.

— Ай, Левкон, беги сюда! Герой лодку продает! Торговаться будем!

— Лодка? — Из зарослей ракитника возникла другая ряшка, точное подобие первой. — На кой нам лодка? Ежели приплатит, тогда ой!.. тогда возьмем. Сандалии пусть докладывает. И котомку.

Левкон стал с завидной резвостью спускаться вниз, а у Одиссея закололо в крестце. Дурное предчувствие. Наверное, сон про Тезея оказался вещим...

— Ты, Левкоша, не гоношись! — Дубинщик расхохотался, мимоходом щелкнув себя по медной капельке, висевшей в мохнатом ухе. — Ай, славная лодка у парня. И сам парняга славный. Герой! За его посудину трех барашков — мало будет! Только ай! куда герою с бараном на плечах идти?

Одиссей представил себя в походе с бараном на плечах.

Кивнул, соглашаясь.

— Ай, ты гость или не гость? Пошли, обедать будем! На сытое брюхо торговаться сподручнее...

Подбежавший Левкон, перехватив взгляд Дубинщика, закивал так, что стало страшно: оторвется башка, покажется в воду! Это, наверное, потому, что у самого Левкона серьги нету...

Братья-пастухи оказались милейшими людьми. Хоть зови их переехать на Итаку! Без лишних вопросов они накормили до отвала и Одиссея, и Аргуса (последнее было истинным подвигом!), наполнили бурдюк вкуснейшим вином, заодно всучили круг овечьей брынзы — в итоге Одиссеева котомка раздулась до неприличия.

В придачу «ай! ой! юному герою!» была едва ли не насильно вручена оловянная цепочка с кулоном из агата.

Дескать, за такую хорошую лодку сколько ни дай, все мало...

Левкон самолично проводил юношу до уходящей в гору тропинки, показав нужное направление — и вскоре Одиссей с псом выбрались на наезженную дорогу.

...А еще спустя полчаса за спиной послышался мерный топот и скрип колес.

* * *

Одиссей потеснился к обочине, уступая дорогу процессии. Нога соскользнула в рытвину, подол плаща разом намок от обильных брызг. Проклиная собственную неуклюжесть, рыжий юноша устоял в земле, надеясь, что чужие насмешки минуют его.

Стук копыт приблизился.

Замедлился.

Остановился рядом.

— Радуйся, достойный путник!

Бдительный Аргус заступил хозяина. Горло собаки напряглось, и легкое, еле слышное сипение, напоминающее скорее гадючий шип, вырвалось наружу. Всякий, знающий Аргуса не понаслышке, понял бы намек; а не знающий понял бы тоже, едва увидев вздернутую губу пса, изпод которой сверкали убедительные доводы в пользу миролюбия.

— Тихо, Аргус! тихо! свои...

Одиссей поднял взгляд. Напротив стояла колесница, запряженная двумя смирными кобылками. И лицо колесничего — рослого мужчины средних лет, одетого не столько богато, сколько опрятно, — дышало приветливостью. Обладая рыжий проницательностью, приходящей с годами, он бы отметил: резкие складки у рта колесничего, трепет крыльев плоского, утиного носа — все это выдавало человека гордого и честолюбивого, обладающего властью, пределы которой никогда не казались ее обладателю достаточными.

Сейчас колесничий смотрел не на путника с собакой

и даже не вперед, на дорогу, а в мутное небо. Туда, где вились чернобокие ласточки, шумно бранясь с оголтелыми жуликами-воробьями.

— Воистину свои, благородный юноша. Я Калхант-троянец. Прорицатель, внук Аполлона, — представился колесничий с тайным удовольствием. Видимо, собственное имя было ему по душе.

Одиссей еще отметил: имя отца Калхант назвать за был. Или не захотел. Ну что ж, вежливость за вежливость.

— Меня зовут Одиссеем, о мудрый прорицатель Калхант. Просто Одиссеем, ни больше ни меньше.

Позади колесницы сучали солдаты в кожаных доспехах: десятка два. Пластины панцирей сверкали каплями росы, и казалось: доспех каждого взмок от пота. Солдатам была абсолютно безразлична беседа прорицателя со встречным мальчишкой; солдаты жили от привала к привалу. Рядом с ними и в то же время — особняком, не смешиваясь с мужчинами, стояла высокая девушка, разглядеть которую подробнее у Одиссея не было возможности; впрочем, солдаты также относились к девушке с полным безразличием, даже не глядя в ее сторону.

Девушка слушала беседу с интересом.

— Кружение птиц подсказывает мне, — Калхант поправил жреческий венок из цветов и лавра, продолжая глядеть ввысь, — что наша встреча неслучайна. Как неслучайно все, творящееся под медным куполом небес. Крики ласточек утверждают: наши пути еще не единожды пересекутся. Общие испытания падут на нашу долю, и судьба одного будет часто зависеть от судьбы другого.

— А что говорят воробьи? — поинтересовался Одиссей.

Ему внезапно захотелось, чтобы воробьи посулили им с Калхантом — по всему видать, прекрасным человеком! — гору военных подвигов и память поколений.

— Чирикают, тупицы, — Калхант мигом развеял мираж. — Жрать хотят. Воробей — птица глупая. Ни один уважающий себя птицегадатель не опустится до гадания

по воробьям. Орел, голубь, ласточка, наконец, — но воробей?!

И сразу, без перехода, бросив изучать небеса:

— Я еду из Ализии в обильный благочестивыми людьми Астак, куда меня пригласили для прорицания воли Деметры-Фесмофоры¹. Городишко, надо сказать, так себе, но дороги прорицателя в руках богов. Если нам по пути, могу подвезти.

У прорицателя оказались чудные глаза: совиные. Россыпь искр, желтое на сером. И черные иглы зрачков — навывлет. Такому филину не с Аполлоном — с Афиной-Совой в родстве состоять.

Счастливый случай? совпадение?!

Дважды упрашивать Одиссея не пришлось. Рассыпавшись в благодарностях, он не без опаски вскарабкался на колесницу — гогот солдат резанул по сердцу; спустя мгновение процессия тронулась дальше.

Аргус трусил обычной рысцой, время от времени беззвучно разевая пасть на кобыл. Хозяина везете, дуры! бога живого! — а ну, без глупостей!..

* * *

Привал застал их возле речушки, грозившей со временем превратиться в откровенное болото. Встреченный на берегу рыбак живо согласился обменять дневной улов на бронзовое запястье; Калхант же заметил, что людям благородного происхождения есть рыбу зазорно.

Вручил десятнику еще одно запястье — широкое, в виде рифленой полосы — и послал за рыбаком в селение: сменять на двух-трех овец. Кстати, девушка тоже исчезла чуть погода, забыв вернуться к трапезе.

Девичья память — короткая.

Одиссей, искренне желая быть полезным, предложил свои услуги в походе за овцами или чистке рыбы, но прорицатель еще раз заявил о достоинстве людей благородно-

¹ Фесмофора — Законодательница; одно из прозвищ Деметры, богини плодородия.

го происхождения. И рыжий — в придачу красный как рак от слов Калханта — пошел собирать хворост для костра.

Такую кучу припер — солдаты только диву давались, охая.

...по сей день кажется: вкуснее обеда я не едал.

Насытившись, решили сразу в путь не трогаться. Толкование воли Деметры вполне могло обожать лишних полдня, ибо плодородие, в отличие от войны или, скажем, мора — вещь долгая, торопливости отнюдь не приветствующая.

Ковырялись в зубах.

Говорили о всяком.

Просили Калханта предсказать судьбу; тот отговаривался усталостью и отсутствием подходящих птиц.

Вспомнили о сидонском корабле с грузом благовоний, которого ждали, не дождались, в ализийской гавани.

— Решили бурю не испытывать, — глубокомысленно заявил бельмастый детина, получасом раньше на спор разгрызший баранью кость едва ли не быстрее Аргуса. — Небось, в левкадийских бухтах отсиживаются.

— Или на дне, — возразил один из солдат, зевая. — Мне верный человек шепнул на ушко: вонючие сидонцы десятину с «пенного сбора» зажали. Вот и топят их нынче почему зря.

— Врешь!

— Иди ты! Говорю ж: десятину. Выходит, без Лаэрта Пирата здесь не обошлось. Знаешь, как на Итаке детишки считалки считают? Шел кораблик мимо моря, нахлебался вдоволь горя, раз-два-три-четыре-пять, я иду на дно пускать... кто не спрятался, я не виноват!

Никакой такой считалки Одиссей слыхом не слыхивал. Разморенный сытной пищей, он чуть было вовсе не пропустил замечание о Лаэрте-Пирате мимо ушей. А когда понял — приподнялся, раскрыл рот, чтобы обложить солдатика на чем свет стоит. Ишь, скотина! и как только язык повернулся?!

Но увидел: прорицатель сам решил вмешаться.

Сейчас, небось, покажет болтунам!

— Не знаю, как там дети считают, — благодушно сообщил Калхант, закидывая руки за голову и потягиваясь всем телом. — Но шелест листьев на ясене вещает мне: сидонский корабль покамест цел. И если «пенный сбор» вовремя и целиком поступит куда надо, Ализия скоро вдохнет аромат благовоний. А Лаэрт-Садовник еще раз напомнит мореходам, — слава Посейдону, Колебателю Тверди! — чья волна круче.

— Са-адовник! — насмешливо протянул бельмас-тый. — А почему «Садовник», ежели он — Пират?

Калхант рассмеялся:

— Потому что сажает. В мешок да в воду. Глядишь, лет через сто прорастешь пеной...

Больше ничего прорицатель сказать не успел. И птицы ему самому намекнуть опоздали, и листья невпопад прошелестели. Забыло будущее открыться — с неприятностями, с ними вечно так.

Приложился кулак к скуле.

Опрокинул Калханта, Аполлонова внука, в беспамятство.

* * *

...чья-то усатая рожа.

— Н-на!

...значит, кораблик? значит, мимо моря?! итакийцы умирают, но не сдаются! Трещат ребра, трещит Мироздание, мерзким хрустом забивая дыхание, будто глотку — кляпом...

— Ах ты, рыжая паскуда!

— Клеон! братцы — сучий выкидыш! он! нашего!

— Пополам зашиб!

— Получи!

...хорошо, что Аргус много жрет!.. хорошо, что сразу после трапезы удрал в ближайший лесок — поохотиться!.. хорошо... ох! больно! Убили бы пса... одному бы глотку перервал — другой копьём...

- Копьем! копьем бей!
- Бей рабов!

Кто кричит? а, это я... еще кричу.

...на спине — козел. Будто привязанный. Орет; дергается. Вскинуть повыше... поудобнее... лети, к-козел, с берега!..

- Хррррр! больно!
- Это уже не мне больно — ему.
- И мне — тоже.

— В бой! воздвигайтесь на сечу! Кто между вами,
Ранен мечом иль стрелой, роковою постигнется смертью,
Тот умирай! Не бесславно ему, защищая отчизну,
Здесь умереть...

- Дайте! дайте я его, рыжего...
- Калхант! очнись, Калхант!
- Не бесславно! отчизну!
- Дайте!!!

...тяжело. Упало сверху, придавило. Распластало по земле: не поднять головы, не рвануться напоследок. Не дойти до Калидона Этолийского, где ждет меня юный Дидомед, сын героя Тидея, никогда не виданный мною; не выбиться в люди... да что там! — вздохнуть, и то...

- Пощадите! смилуйтесь! он больной! безумный!!!

Это я — безумный.

...Эвмей?! откуда ты, свинопас? почему лежишь на мне, раскинув руки, почему встать мешаешь, закрываешь от Таната Железносердого?

Уйди, Эвмей... пожалуйста...

- Он безумен! пощадите!

И Калхантовым тихим голосом — нет, трубой! боевым рогом! вещим оракулом:

— Безумцы под защитой богов! Остановитесь!

Больше ничего не помню.

Возвращайся, не возвращайся — ничего.

* * *

— Эх ты, базиленок...

Хромая больше обычного, Эвмей тащился по раскисшей дороге. На плечах свинопаса тряпкой обвисло тело рыжего героя. Левая рука, болтаясь, все время тяжело хлопала Эвмея по бедру, но тот не обращал внимания.

— Эх ты... эх я...

— Дуй, Эвр! — в беспамятстве иногда вскрикивал рыжий. — Эвр! дуй! я за тобой!..

— Да уж ясное дело, — вздыхал свинопас. — Как же иначе?

И шлепал по грязи на юго-восток — вдоль пути юго-восточного ветра Эвра.

Рядом трусил верный Аргус, проклиная свою ненасытную утробу. Случись он рядом, не пал бы бог-хозяин в неравном бою! опоздал! опоздал верный пес! Временами Аргус порывался броситься в погоню за обидчиками — растерзать! напиться жаркой крови! — и лишь боязнь снова оставить хозяина один на один с неизвестными опасностями удерживала немого кудлача.

В зубах у Аргуса болталась жирная белка.

Жертва павшему богу.

— Забрали они все, базиленок... котомку твою забрали... Выкуп, говорят! за увечья. Сандалии забрали... Этот, остроглазый, велел им тебя пальцем не трогать — так они мне приказали: снимай, дескать! хорошие сандалии, пригодятся! А что было делать? снял. Отдал. Хвала богам, в живых оставили... Эх ты...

В бурчании Эвмея не крылось осуждения. Восхищения, впрочем, тоже не крылось. Голос свинопаса был серым и усталым, как окружающая реальность: вот, котомку забрали, сандалии... в живых оставили.

Чет-нечет, хорошо-плохо.

Жизнь есть жизнь.

— Дуй, Эвр!..

— Дует он, дует... и я дую. Не кричи. Вон уж селение, на взгорке!.. отлежишься...

Эвмей, пожалуй, был первым, кто на Итаке заметил исчезновение Одиссея. А какая-то незнакомая девица — статная красотка со строгими, ярко-синими глазами — мимоходом сообщила свинопасу: видела, мол. С котомкой. Одет в дорогу, в дальнюю. По берегу шлялся: на море глянет, на горы, а у самого лицо! — будто навеки прощается!

Фыркнула девица, да и ушла себе.

Вместо того чтобы немедленно доложить Лаэрту, свинопас опрометью бросился в Форкинскую гавань. Сердце подсказывало: базиленок прячется где-то на корабле, рассчитывая тайно выйти в море. Нет, у Фриниха базиленка не оказалось, и на иных судах — тоже; зато удалось поживиться свежими новостями.

А чуть позже дружки коровника Филойтия сообщили Эвмею о пропаже «Арго».

Когда днем корабль кормчего Фриниха вышел в море, на носовой полупалубе бродил туда-сюда свинопас Эвмей. Так и не явившись к Лаэрту с дурной вестью. Чего тут докладывать? — сам проморгал, сам и верну. Потом пускай хоть всю шкуру бичами обдерут...

Иначе шкуру все равно обдерут, а толку?

Высадиться Эвмей рассчитывал под Калидоном, куда, по его прикидкам, собирался бродяга-базиленок. Фриних был того же мнения, дав согласие сделать малый крюк на пути к Коринфу.

Однако погода разыгралась, час от часу становясь все скверней. Сначала едва не сорвало мачту, дальше ветер стал относить корабль северо-западней, вдоль побережья Акарнании. Усилия гребцов пропадали втуне. Эвмей молился, упрашивал, проклинал и святотатствовал — тщетно. Противный ветер уgomонился лишь близ Ализии, и кормчий принял решение: пересидеть в ализийской бухте.

Свинопасу решение кормчего было — нож острый.

Удивительное дело: словно чья-то властная рука вела

его верным путем. В первом же притоне, где гуляли моряки, заливая скуку дешевым вином, он узнал о лодке «Арго» и ее странном владельце — верней, бывшем владельце. Упоминание о железной серьге сразу поставило все на свои места. Заверив ализийцев в благодарности Лаярта-с-Итаки — да-да! ни мало ни много!.. — свинопас ринулся выяснять дальнейшую судьбу базиленка.

Складывалось впечатление, что боги наконец оглянулись: хромого Эвмея подобрала телега, запряженная гнедым лошаком, и возница смутно припомнил рыжего парня, — масть в масть! точно мой лошак! — встреченного им на дороге к Астаку. По счастливому совпадению, вознице нынче пора было возвращаться, а случайно попавшаяся им девица — небось, родная сестра статной итакийки — сообщила о привале на речном берегу, указав короткий путь через холмы.

Правда, трус-возница живо смылся, едва завидев драку. Зато свинопас успел вовремя.

* * *

— Дуй, Эвр! Неси в Калидон!..

— Дует он, дует... несет рыжего...

Чей это голос? Эвмей? — нет...

Круглое девичье лицо склоняется над Одиссеем. Хлопают длинные ресницы — копыта ночи. Лук рта изгибается в усмешке... лук и жизнь — одно...

Жизнь.

— Лежи, рыжий... Ну хоть до завтра полежи, ладно?

— Скорей! в Калидон!

— Будет тебе Калидон, будет... Спасибо даймону Телесфору¹, кости целы!.. скоро плясать будешь, рыжий! драться! девок любить! Нравится девок любить, а?

— Любить... надо просто любить...

— Эй! рыжий! да что ты творишь-то?!

¹ Телесфор — даимон выздоровления, спутник бога врачевания Асклепия.

— Надо просто очень любить эти руки... эти губы...
Надо очень любить глаза, в которые смотришь!.. плечи,
созданные для твоих ладоней!..

— Рыжий...

— Надо просто любить...

Было?

Не было?

...наверное, все-таки было, потому что, когда завтра
Одиссей с трудом поднялся на ноги, дочь хозяйки дома,
где приютили бродяг, ибо Зевс любит гостеприимцев,
умоляла гостей задержаться еще хоть на денек.

Плакала даже.

Вослед глядела.

Нет, ушли... вон, хромают в свой треклятый Калидон!..
и свора деревенских собак уважительно облаивает лохматого
гиганта, молча улучшившего местную породу всего за
одну ночь.

Упрямо глядя перед собой, босиком, по ночам заворачиваясь в драный плащ, я шел в эпигоны.

* * *

Поди разберись в хитросплетении горных тропинок,
просек и ухабистых, раскисших от дождя путей! Дважды
пришлось возвращаться на ближайшую развилку: сперва
тропа вывела к замызганному лужку с язвами старых
кострищ, обрывавшемуся в пропасть; затем — и вовсе
обратно. Блуждания сожрали целый день. Ночевать
пришлось под дождем, наскоро соорудив в сумерках некое
подобие шалаша.

Свинопас полночи бухтел: поворачивать надо. Домой.
Сгинем, мол, без вести. Наконец умолк, засвистел носом.
И правильно. Кто его слушать станет? Никто. Куда надо,
туда и пойдем. Куда надо... куда...

Утром, промокшие, голодные (скудные припасы, которыми
снабдили в деревне, иссякли) и злые, снова двинулись в путь.
Расплескивать пятками то безобразие, что в Этолии гордо
именовалось «дорогой». Аргус изгваздался в

грязи по уши (вернее, по их куцые огрызки!), отчего казался еще больше, чем был на самом деле. Сейчас пес напоминал помесь ежа с кабаном: дождь наконец прекратился, и подсыхающая грязь топорщилась на Аргусе колтунами-иглами.

Встречные люди, едва завидев этакое чудище, шарахались в кусты с воплями о новом Калидонском Вепре, и расспросить их не представлялось возможным.

Когда из-за поворота в очередной раз слышались чьи-то вопли, Одиссей даже обрадовался. Орали-то, еще не видя Аргуса! Может, хоть этот не убежит? Судя по всему, горлопан давно удрал бы от опасности, если б мог.

Поворот сам прыгнул под ноги.

Заросли мирта с осинником скрывали пригорок, где творилось невидимое действо: лишь мелькали силуэты, да явственно слышалось истошное:

— На помощь, люди добрые! Аэда обидеть хотят! А-а-а! Уже обижают! Гидры! Людоеды! Гарпии вас раздери! Спасите, люди добрые!..

Время от времени крики обижаемого аэда перемежались деловитым ворчанием:

— И чего я орал бы? В первый раз порют, что ли?

— Так, вроде ж, еще не порем?

— Как же он блажить зачнет, когда до дела дойдет?..

— До тела!

— О-хо-хо! Эй, лозы нарезал?

Одиссей прибавил шаг.

На плоском замшелом камне, больше похожем на древний жертвенник, лицом вниз валялся тощий аэд. Хитон на нем был задран до самой шеи, набедренная повязка отсутствовала — явно с целью обнажить прославленную часть тела, что самой природой предназначена для экзекуций и высокопарно именуется афедроном, а в просторечии — задницей.

Цель была успешно достигнута, а дабы аэд никуда не сбежал от грядущих обид, его за руки-ноги держала четверка дюжих молодцов. Еще один стоял рядом, намереваясь приступить к палаческой работенке, едва приятель,

резавший прутья в ближайшем лозняке, доставит инструмент.

Двое зрителей сидели на бревне поодаль, заранее предвкушая удовольствие, а последний устроился на грязном, напоминавшем свинью, валуне. Он был занят: отковыривал ножиком серебряную накладку от аэдовой лиры.

В момент появления Одиссея на пригорке аэд как раз ухитрился чудом извернуться — и узрел страдания возлюбленной лиры. До сих пор рыжему казалось: орать громче, чем аэд уже орет, попросту невозможно.

Оказалось — можно!

От нового вопля мучители буквально подскочили, едва не выпустив пленника. А горбоносый палач-любитель сунул корявый мизинец в ухо — в тщетных попытках извлечь застрявший наглухо вопль аэда.

Вмешаться? опять драка? Девять человек все-таки. Правда, за плечами Эвмей с Аргусом...

Дядя Алким говорил: худой мир лучше доброй ссоры!

— Радуйтесь, уважаемые! — Одиссей на всякий случай вцепился в Аргуса, недвусмысленно оскалившего клыки. — Что это вы делаете?

— Радуюсь, — ухмыльнулся в ответ горбоносый. Забыв объяснить: было это ответное приветствие или ответ на вопрос. — Ты, парнишка, историю про Фамира-кифареда слышал?

— Которого музы ослепили? — машинально кивнул Одиссей.

— Ну, значит, мы и есть... навроде муз. Поет тут, понимаешь, Ехидна знает что! Богов поносит, с-скотина...

Одиссей покосился в сторону оскорбителя богов. На ослепление предстоящая порка походила слабо. Разве что у аэда глаза находились на соответствующем месте.

— Только мы музы добрые, — добродушно продолжил горбоносый. — Выпорем, как Зевс — козу Амалфею, да отпустим. Эй, Клио¹! — хохотнул он. — Заснул, что ли? Путья давай!

— Лиру не трожь! — отчаянно взвыл аэд.

— Аэдов бить нехорошо, — без особой уверенности

¹ Клио — муза героических песен, затем муза истории.

начал Одиссей. Вспомнились уроки Старика: что такое хорошо и что такое плохо.

А вдруг этот доходяга и вправду богов оскорблял?

Зато лиры ломать — точно нехорошо.

— Иди, парень, иди, — отмахнулся горбоносый. — Говорю ж, мы — музы добрые, но ежели осерчаем... А ты, Терпсихора¹, ковыряй помаленьку!.. серебришко, оно за труды...

— Лиру!.. пусти!..

И Одиссей не выдержал.

В два прыжка очутившись рядом с Терпсихорой, он яростно рывкнул: «А ну не трожь!» Пальцы сами вцепились в лирные рога. Терпсихора, однако, не послушался; дернул к себе. Оба застыли в неустойчивом равновесии, но тут взгляд упряма-Терпсихоры случайно упал на побелевшие от напряжения пальцы Одиссея, сжимавшие несчастный инструмент (по идее, лира давно должна была сломаться! чудо?!).

И медный волк с перстенька оскалился прямо в глаза музе.

В следующий миг Терпсихора отпустил лиру — спешно, как если бы она раскалилась добела! — и Одиссей вместе с трофеем кувыркнулся в ближайшую лужу.

Дружный гогот.

Разъяренное сипение Аргуса.

— Басиленок! Я его не удержу!

Это Эвмей.

Сейчас будут пинать ногами. Почему медлят? Встать! Скорее встать!

— Аргус, назад! Назад, я сказал!!! — еще не уяснив до конца, что происходит, Одиссей уже понял: драка отменяется или, по крайней мере, откладывается.

Ф-ф-ух, вроде пронесло! Успокоился Аргус. С неохотой, огрызаясь беззвучно, бранясь на чем свет стоит — но утих. Слово живого бога — закон.

Теперь пора оглядеться.

Терпсихора уже плевал горячим шепотом в ухо горбо-

¹ Терпсихора — муза танца и хорового пения.

носому. Четверка муз, державших аэда, тоже вслушивалась — жаль, до самого Одиссея ничего не долетало.

— Отпустите птичку, — буркнул наконец горбоносый.

И, обращаясь непосредственно к аэду, проворно соскочившему с камня:

— Благодарю богов. Послали тебе, змеюке, спасение... Но имей в виду: еще раз услышу гадкие стишки про Гермия-Благодетеля — Аполлон не спасет!

— О, богоравные герои! — немедленно внял совету аэд. — Вы, спасшие певца от мучительного позора! Посланцы великого Гермия! О, моя лира! Она тоже спасена! Хвала богоравным героям!

— Я не герой. Я свинопас, — уточнил Эвмей.

— О свинопас богоравный, лучший среди тех, кто свиней наблюдает! — возликовал аэд, рванув струны вновь обретенной лиры.

Одиссей не удержался: фыркнул.

— Идем с нами, в деревню, — тронул его за плечо горбоносый. — Праздник у нас. Вот, аэда нашли, народ ублажать — а он, гадюка... Ладно, забыли. Пошли. Гостями будете.

— Вы небось пастухи, — догадался Одиссей.

— А то! — ухмыльнулся горбоносый. — Пасем тут, понимаешь... Ну как?

— Пошли!

* * *

Помню, тогда я изрядно выпил на празднике. По пьяному делу разоткровенничавшись с горбоносым:

— П-пастухи — люди! — проникновенно вещал я, в очередной раз наполняя чашу. — П-пастыри! Хоть на Итаке, хоть здесь! Вы, потом братья эти... на берегу! Левкон и... и...

— Левкон и Каллий, братья-Ракушечники, — сразу понял горбоносый. — Верно говоришь, Волчонок!

— Милейшие люди!

— Мухи не обидят!

— Накормить! переночевать! всегда рады! Одно сло-

во — люди! А солдаты... козлы шлеморогие! Сперва дразнятся, а обидишься — все на одного...

— Точно, Волчонок! Солдаты — они наипервейшие разбойники и есть! То ли дело мы, пастухи...

— Вот я ж и говорю...

Аэд, которого, как выяснилось, звали Ангелом¹, тем временем затянул песню:

— Воспоем, о други, память
О могучем славном муже —
Хай, великий!
Крепость рук его стосильных,
Лисью хитрость, острый разум,
Верность клятвам!
Звался Волком-Одиночкой,
Близ Парнаса был хозяин
Тучных пастбищ...

Я даже не сразу понял: аэд воспевает маминого папу, дедушку Автолика!

Сельчане одобрительно зашумели, почти сразу умолкнув, чтоб не мешать песне. Мы слушали вместе со всеми: я, Эвмей и мой Старик. Не знаю уж, почему я глянул в его сторону; Старик склонил голову набок, глубокие складки залегли у него на лбу, а глаза блестели двумя звездами. Отсветы пламени из очага? Я никогда не видел, чтобы Старик плакал...

Ангел последний раз тихо перебрал струны — и общий вздох ветром прошел по толпе.

— Помянем Одинокого Волка! — поднял чашу горбоносый.

— Помянем!

— Человек! человек был! настоящий!..

— В кулаке держал!

Выкрикнув последнее, горбоносый зачем-то хлопнул меня по плечу.

Я хотел ему сказать, что Волк-Одиночка — мой дедушка. Но не сказал. Подумают: хвастаюсь...

¹ Ангел — посланец, вестник.

На другой день путники отсыпались едва ли не до полудня. Однако трапезничать не остались — пора было идти дальше.

Ангел увязался следом. Заявил, что военный поход — именно то, что нужно ему, аэду, для сочинения великого гимна богоравным героям, который несомненно прославит их, героев, в веках — а заодно и его, недостойного слугителя муз.

— ...которые вчера чуть не надрали тебе задницу! — не удержался Эвмей. Аэд сделал вид, что обиделся, но вскоре ему надоело, и Ангел принялся на ходу слагать обещанный гимн богоравному Одиссею со товарищи.

Одиссей только диву давался, что способен сочинить аэд на пустом месте.

А вообще с Ангелом шагалось куда веселее.

...аэд-невидимка! ты, что скрипишь стилосом в ночи, сочиняя небылицы! Тебя зовут не Ангелом?!

СТРОФА-II

Я — ОДИССЕЙ С ИТАКИ!

Ангел покинул нас незадолго до калидонских ворот. Покинул по-критски, не прощаясь: был и сгинул. Но я не заметил исчезновения аэда. Я пребывал в восторженном забытии. Мои ноги — босые, черные от грязи, сбитые в кровь ступни! — попирали не землю. Нет! они попирали легенду. Мои глаза — слезящиеся, воспаленные, с набрякшими от усталости веками! — видели не холмы и деревья. Нет! они видели воплощение славы! обитель величия! Всякий лог мог служить некогда пристанищем Калидонского вепря. Всякий склон, бородатый от маквиса-колючника, — местом, где нынешний басилей Ойней (встречные этолийцы за глаза звали его Живоглотом) получил в дар от Диониса волшебную лозу. Всякий старик мог оказаться соратником неуязвимого героя Мелеагра; всякая старуха могла помнить охотницу Аталанту, соперничавшую с богиней Артемидой.

Я шел по земле легенд и подвигов.

...кровосмешительства, сыноубийства и ударов в спину.
Одна и та же земля: Калидон.

Я шел.

Следом тащились Эвмей с Аргусом, равнодушно считая ворон. Они ничего не понимали в истинном величии. А я мог не есть сутками, питаюсь одним восторгом.

В ушах мягко похрустывал, расширяясь, мой *Номос*. Вся дорога, оказывается, была лишь прологом к осознанию главного. Что известно с детства, но известно как бы вообще, без реального воплощения, когда наконец понимаешь дважды, умом и сердцем: правда. Мир не ограничивается пределами Итаки. Папа, мама, Эвриклея и дядя Алким — еще не все люди. У каждой реки свой бог; их множество. У каждого пути свой путник; их множество. Медь небес, плоская ладонь земли — больше, шире, просторней...

Я шел — грязный, оборванный омфалос, пуп Мироздания.

Моего *Номоса*.

Как и вы — вашего.

Если хотите, можете тоже уехать воевать под Трою.

Я даже одолжу вам пергамского копейщика, который ночами грезит о моей печени.

* * *

В город вошли без особых тягот. Стражники, увлеченно игравшие в кости, махнули на бродяг рукой: товара при них нет, значит, пошлину снять не за что, а вставать и гнать прочь — себе дороже. Ты встанешь, а Диокл-обманщик скажет, что «тройного быка» выбросил. Проверая потом...

Пусть их идут.

Оборванцы.

На базарной площади, где Эвмей мигом подрядился на разгрузку за обед для троих, Одиссей узнал трагическую

новость. Окончательную и бесповоротную. Диомед, сын Тидея, не просто ушел с войском на соединение с другими эпигонами. Тогда можно было бы попытаться догнать. Диомед ушел *давно*. Пожалуй, Одиссей еще только высаживался в Акарнании, а конница куретов во главе со своим юным вождем уже неслась на Фивы — через Озольскую Локриду, мимо святых Дельф, по беотийским равнинам...

Семивратные Фивы пали без участия итакийца.

Он опоздал.

Сейчас весь Калидон жил иным ожиданием. Диомед-победитель не сегодня-завтра должен был вернуться. Деда своего, басылея Ойнея, скидывать. Победителю все можно. Особенно если победитель — общий любимец. Басылея Ойнея местные тоже любили, но не так, как молодого Диомеда.

Иначе.

Втихомолку друг дружке рассказывали: как бы они Ойнея-Живоглота любили, попадись к ним почтенный старец в руки без басылейского венца. И главное — без охраны.

Одиссей даже порадовался, что на Итаке все за папу — горой. И дедушек своих, хоть Автолика, хоть Аркесия, папиного папу, он никогда бы скидывать не стал. У него хорошие дедушки. А здесь сказал одному калидонцу, что дедушки хорошие бывают — на смех подняли. Не драться же со всем базаром?!

Лучше молчать.

Вот так, молча, двое суток и проторчал у ворот басылейского дворца.

Ждал.

...дождался.

* * *

Память ты, моя память! С утра крысы побежали прочь. Мордочки — остренькие. Глазки — шныряют. И в лапках — узелочки, сверточчики... Стража удрала первой. Хорошая стража у басылея калидонского! Сотник даже сандалию на ступеньках забыл. Правую.

Вон, валяется...

Сразу стало ясно: гроза на подходе.

А первый удар грома пропустил. Отбежал по большой нужде: не у дворцовых стен же справлять?! Туда-сюда, пока вернулся, они уже в ворота втянулись и створки за собой заперли. Крепко-накрепко. Кто они? — куреты. Местные. Диомед небось первым въехал... опять ждать надо! Обида горше пыли: герои в ворота, оборванцы у ворот, герои входят, оборванцы ждут.

Спешил сюда, думал... Ангел говорил: титан тоже думал, да в Тартар попал.

Потом на площади торчал. Калидонцев собралось: море. Полсотни, наверное, а может, и сотня целая. На Итаке такое сонмище в одном месте не собрать. Из-за спин тянулся, Диомеда-Победителя выглядывал. Проклинал свой малый рост. Сперва перед народом старенький дамад чирикал, по табличке: базилей Ойней... признаю права наследника, законного и единственного... Диомеда, сына Тидея, внука вышеупомянутого Ойнея... Сердце екнуло: высмотрел! Вон он, Диомед!

А много ли видно из-за спин с головами?

Почитай, ничего толком не разглядел.

Молчали вокруг калидонцы. Губы жевали. Думалось: они от радости все небо шапками забрасают. Нет, тишина. Первый лед, не тишина — того и гляди, хрустнет... обломится в стылую жижу.

Плохо видимый, стоял герой Диомед — эпигон, сын Тидея, покоритель Фив Семивратных. Был любимец, стал наследник, единственный и неповторимый; а всем понятно — владыка.

Хмурый, озабоченный юноша.

Не его это был *Номос*. Не его Мироздание. Гостем он стоял в этом здании, Диомед Тидид, с подвигами под мышкой, с мрачными бойцами в меховых плащах за спиной; незваным, нежеланным гостем. Слава была, а счастья не было.

Сирота он, подумалось. Ни папы, ни мамы, подумалось.

Ну их, эти подвиги, подумалось.
Зато папа... мама...
Подумалось-забылось.
...когда двое, стоя на одной площади, чувствуют себя
чужими — это сближает.

* * *

— Богоравный... Богоравный Диомед! Богоравный...

Он уже на колесницу сел. Уже вожжи в руки взял:
прочь ехать. Сейчас, сейчас брызнет грязь из-под колес...

Кинулся Одиссей молодым бычком.

Будь что будет! В тычки погонят злые куреты — ладно!

— Богоравный!.. можно мне...

Обернулся юноша с колесницы. Вот бывает так: один-единственный взгляд меж двоими ударит молнией, и сразу ясно — навсегда. Или друг друга в бою от смерти прикроют, или друг друга в кровной сваре зарежут.

Или — или.

Без недомолвок.

— Если можно, богоравный Диомед, я бы хотел поприветствовать... познакомиться!

Улыбнулся Диомед, сын Тидея. Эпигон; мститель. Росточку небольшого, едва на пядь самого Одиссея повыше. Гибкий, звонкий. Темные кудри по плечам, светлые глаза родниковой воды прозрачней. В тайную синеву отливают, смеются сквозь думы тяжкие.

Увидели рыжего, вот и смеются.

А что смешного?

— Радуйся! — отвечает тайная синева взгляда. — Я — Диомед. Только — не богоравный. Просто — Диомед.

Вот бывает так...

— А я... Я Одиссей. Одиссей, сын Лаэрта, с Итаки. Я сын басыля Лаэрта...

Чужими глазами рыжий себя увидел. Сын Лаэрта! — босой, ноги в трещинах, грязь въелась, не отскребешь. Плащ — рвань, хоть и серебром заткан... был. На голове пожар заревой; курчавое недоразумение. Маленький,

встрепанный: воробей. Верно говорил Калхант-троянец: воробей — птица глупая.

За подвигами воробей прилетел, а выходит, что за милостыней.

Улыбнутся воробью лишний раз, и ладно.

— Одиссей? с Итаки? — спрыгнул Диомед-победитель с колесницы. Руку, не гнушаясь, протянул.

Вцепился рыжий в протянутую руку, будто утопающий — в обломок мачты. Все, что было — бурю, дорогу, сердце, душу — в пожатие вложил.

Охнул герой Диомед, сын героя Тидея.

Хрустнула Диомедова ладонь.

— Извини, богоравный... Извини, Диомед! Я... Больно?

Ну конечно, больно! Куда ты лезешь, рыжий, со своей итакийской лапой, к благородным пальцам! Козы к палестрам, бревна к гимнасиям! — и мы, дескать! мы тоже! Стыд наотмашь перекрестил витым бичом: а не суйся, где не звали! Бродяга-побирушка...

Одиссей в растерянности озираться стал. Будто подмогу высматривал. Вон она, подмога: Эвмей-свинопас, да немой пес Аргус, да тень-Старик. Жмутся у стеночки; смотрят.

Малая дружина.

И словно каленым железом ожгло. Новый стыд; поболее прежнего, как седой Олимп поболее лесистого Пелиона будет. Встал за спиной родной *Номос*; преданностью собачьего взгляда, верностью Эвмеева рябого лица, Стариковскими вопросами на вопросы. Кивком отца, мамиными слезами. Итакой-островом. Броней окружил-отгородил, боевым доспехом, чешуйчатым панцирем, коего вовеки не снять, не продать, не подарить. Я — Одиссей! Одиссей с Итаки! Одиссей, сын Лаэрта и Антиклеи, лучшей из матерей! Одиссей, внук Автолика, Волка-Одиночки, и Аркесия-Островитянина! Я! я!.. я... Вон их сколько, этих «я». Армия. Впору флот снаряжать.

Да, не брал Фивы.

Да, не эпигон.

А так ли оно важно, так ли славно: быть эпигоном?

Сами собой плечи развернулись. Сами собой глаза вспыхнули. Упал драный плащ с плеч царской мантией: сам собой. Складка к складке.

— Понимаешь, Диомед... я лучник. Лучник. Поэтому рука...

Хотелось добавить: потому что лук и жизнь — одно.

Не успел.

Размял Диомед-победитель ладонь покореженную. Шире усмехнулся. По плечу хлопнул:

— Поехали со мной, Одиссей, сын Лаэрта. Будь моим гостем.

...вот бывает так: один-единственный взгляд меж двоими ударит молнией...

* * *

Память ты, моя память... тогда, в Калидоне Этолийском, рыжий юнец и слова-то такого не знал — *Номос*! Как пришло, так ушло, а старое вернулось: стеснение, горячность, радость, преклонение...

Лишь на самом донышке, змеей в кольца, сворачивалось до поры: было! осталось! есть!

Надо будет — вернется.

...Диомед обладал прекрасным качеством: у него было легко брать. Легко и не совестно. Одиссей моргнуть не успел, как оказался обладателем новенького плаща, вкупе с шерстяным, по погоде, хитомом. Вместо сандалий — куретские меховые сапожки. Славная штука, особенно когда подморозило, как сейчас.

Рыжий пожар под косматой шапкой укрылся.

Сыскалась и одежда для Эвмея, и косточка для Аргуса. Много добычи взяли под Фивами, на всех хватит. Еще подумалось: вернусь на Итаку, надо будет отдариться. Попрошу отца корабль снарядить...

Подумалось — не додумалось, ибо Диомед уже дальше тащит.

Куда? — спрашивает рыжий. Ну, ясное дело, не во дворец. По Диомедову лицу видно: ему дворец сей — век бы не видел! Ага, вот: опять заулыбался.

— Пошли к дяде Гераклу? — спрашивает. — В гости?

Как стоял Одиссей, так и присел. В коленках дрожь; в животе комок снега лягушкой вертится, вприсядку.

К Гераклу? в гости? я?!!

А мысли поперек страха успевают: папин папа, Аркесий-Островитянин, вроде бы тоже из Зевсовых сыновей, если не врут для пущей славы... родня, выходит? по Громовержцу-то?

А язык поперек мыслей:

— К двоюродному дедушке Гераклу? Пошли!

Язык, он без костей.

Пошли, значит, пошли. Повезло рыжему: не оказалось Геракла дома. Сказали: уехал к кентаврам. Погостить. Сглотнул Одиссей: на Итаке казалось — увижу могучего, и помереть не жалко. А здесь иначе пригрезилось: увижу — и помру на месте.

От восхищения.

Нет, хорошо все-таки, что двоюродный дедушка Геракл у кентавров. Будем привыкать постепенно. Вот Гераклова жена — Деянира-калидонка — в дом зовет. Статная, ласковая, синеглазая: точь-в-точь мама. Только мама полнее будет. Деянира-то не одной прялкой горазда: и на колесницах, и копьем...

Великому герою — геройская супруга!

И смотрится куда моложе мамы... румянец, брови!.. Афины-Покровительницу такой представить — не в обиду богине! В ножки падаю, в ножки тебе, Заступница! не обделила милостями! привела! познакомила!

...мальчишке ли, неоперившемуся птенцу, бабьи годы уметь-считать? Ей тогда под сорок было, Деянире Калидонской.

Память ты моя... старая сводня.

— Дому этому, и хозяину с хозяйкой, и всем чадам с домочадцами — богов Олимпийских благоволение! Дионис, Зевс, Гестия! Хай!

Как дядя Алким учил, так я и сказал. На стол вином плеснул: богам. Чтоб не опозориться.

— Кушайте, мальчики, кушайте! Хотите, прикажу овцу заколоть? Мяска нажарим, с луком, с чесноком...

Киваю: да, с луком! с чесноком! хочу! — а сказать ничего не могу. Рот сырной лепешкой забит. Некрасиво оно, за обе щеки наворачивать, а удержаться сил нет. Изголодался за дорогу.

Только сейчас понял, как изголодался.

Диомед молоко — молоко!!! — пьет, на меня смотрит. Тетя Деянира (бабушка? двоюродная?!) щеку рукой подперла, пригорюнилась, на меня смотрит. Отвык я по пути от чужого сочувствия. Размяк, расслабился; вина не выпад третью чашу выхлебал.

Совсем разморило.

В гостях, будто дома. Тепло, уютно. Вернусь, скажу Ментору с Эврилохом: «Сижу это я, значит, у Геракла...» — от зависти сдохнут!

— А я, понимаешь, Диомед, бежал. Из дому бежал.

— Бежал? — поражается Диомед. — Зачем? И куда?

Что-то у него язык заплетается. Чуть-чуть. От молока? — или куретское молоко дикое? сливками в голову шибает?

Или это уши мои подводят хозяина?

— Бежал, — вздыхаю. — Я, в общем-то, к тебе бежал, Диомед. На Фивы с тобой идти.

— К-куда?!

Ну вот, теперь он заикаться стал. Точно говорю: куреты дикие, и молоко у них такое же.

Кусается.

— Мне ведь четырнадцать уже! Целых четырнадцать! Меня постригли даже... А я и не видел ничего! Ничегошеньки! Геракл-то в мои годы!.. Я как услышал, что ты в Куретии пируешь, так и понял — война будет!

Уставился он на меня — словно два копейных жала уставил. Оба из синего железа, дороже дорогого.

Надо объяснить.

Вот только вина в чаши долью... себе... бабушке Деянире...

— Так ведь Фивы с запада брать удобнее! — смеюсь. — Это каждому понятно! Твои друзья-эпигоны на востоке внимание отвлекают, а ты — с запада. Наковальня и молот. Правильно? Не «ого-го и на стенку!», а иначе. Полудски. Первый удар — отвлекающий, в Нейские ворота! Ударить, отступить, выманить фиванцев под стены; связать боем. Затем: вынудить бросить резерв к Бореадским воротам! Дальше...

Что-то я увлекся.

Нашел, кому рассказывать. Я, понимаешь, знаю, как Фивы брать надо — а он-то их *брал*!

Вон, глядит на меня, а улыбаться забыл.

Губы кусает.

— Я на корабль и сюда! — Про корабль я соврал для приличия. — Да только опоздал. И ограбили дорогой — вещи забрали, серебро, сандалии даже. Хорошие были, на медной подошве... Эх, хотел стать, как ты. Героем! Чтобы битва, чтобы враги впереди! Не получилось!..

Память ты, моя память!.. о чем дальше говорили, не помню. Кажется, о луках. Я еще потянулся было, из Калидона на Итаку, в кладовку — хотел другу-Диомеду своим луком похвастаться.

Не дотянулся.

Уснул.

* * *

Ночь нашептывает в уши бархатными губами, ночь ласкает тело теплыми, нежными ладонями: плечи, грудь, живот...

Ой, да ведь это уже не ночь! Вернее, ночь-то ночь, тьма крошечная; а ласкается...

— Проснулся. Не притворяйся, я знаю — проснулся. Ты лежи, лежи, милый... ведь тебе нравится?

— Нравится, тетя...

Бархатистый смех-мурлыканье:

— Ну какая я тебе «тетя» — на ложе? Еще скажи: бабушка...

Одиссей не находится, что ответить. Голова кружится от хмеля, до сих пор туманящего мозг, от ласковых касаний женских пальцев, от дурмана вожделения пополам с острым привкусом опасности, от волны, вздымающейся со дна, из тайной глубины, куда уже ловцами жемчуга добрались опытные руки Деяниры — просто Деяниры! не тети! не бабушки!..

Деяниры, жены Геракла.

— А что, если... Геракл...

Наконец-то удается облечь в слова неясное ощущение. Снова — тихий смех.

— Геракл далеко, у кентавров. А мы с тобой — здесь. Или ты хочешь увильнуть, рыжий? Даже и не думай об этом! Иначе расскажу Гераклу, что ты ко мне приставал...

— Я? Увильнуть?

Одиссей понимает: Деянира шутит. Однако дальний отзвук, легкая тень опасности все равно маячит в воздухе, горчит на губах — лишь добавляя остроты ощущениям. Его руки начинают жить сами по себе, не спросясь хозяина; они прекрасно знают, что и как, эти лукавые руки, хотя всего любовного опыта у рыжего — приключение в деревне на пути в Калидон. Да и то: было? не было?

Рассказы Эвмея — не в счет.

...на самом деле все очень просто.

Просто, как любовь.

Просто надо очень, очень любить эту женщину, эти губы, плечи... Надо... любить...

В ответ — хриплый стон, похожий на страстное рычание львицы.

— Еще! О, еще... где ты?... — но твои губы не дают ей продолжить, запечатывая вопрос долгим поцелуем; лук и жизнь — одно! два тела — одно! Мерно качается лодка на морской зыби; стонет, раскачиваясь под яростью ветра, стройная сосна...

Это он — ветер, он, колебатель суши и тверди, он, равный богам и Сердящий Богов, неистово любит Деяниру-

воительницу, женщину, подобную великой богине Афине, его покровительнице...

Ведь ты же любишь свою покровительницу, Одиссей?!

— Да! Люблю!

О, боги! внимлите! Женщина, познавшая Геракла, любит тебя! Она сама пришла к тебе...

Кажется, в те мгновения я был безумней, чем когда-либо, и имя этому безумию — любовь! Все мы откладываем друг на друга свой отпечаток, и я не даром столько лет дружил с кучерявым лучником по имени Далеко Разящий!.. Водоворот чувства с сотней имен и тысячью обличей захлестывает с головой — я не противлюсь, я хочу утонуть в его сладости, я тону, растворяюсь, накатываясь прибоем на возжеланный берег: шшшли-пришшли-вышшли...

Ослепительная вспышка.

Девятый вал вскипает пеной, с грохотом ударяясь о берег.

Темнота.

Потом, уже сквозь подступающий сон — голос.

* * *

— ...Как же ты похож на него в юности...

— На Геракла?!

— Нет, дурачок. На Тидея, моего брата. На Диомедова отца. Такой же был: росточку девичьего, а руки... плечи... И рыжий такой же. С веснушками.

— И такой же сумасшедший?

— Нет, не такой. По-другому. Он в драке бешеный был... и твердый, как камень. А ты...

— А я?

— Ты — другой... особенный! Ты в любви себя забываешь, да?

— Да, Деянира! да! Ты...

— Ох, погоди! Я сейчас вернусь... Сейчас. Обожди...

Кажется, я еще подумал: «Она что — со своим братом? с Тидеем... тоже?!» Разное про их семью болтали: и про басылея Ойнея, с его дочками-внучками, и про Тидея-Нечестивца, и про саму Деяниру...

Подумал-забыл.

* * *

Женщина долго не возвращалась, и Одиссей мало-помалу начал проваливаться в странную полудрему, будто в шкатулку, полную соблазнительных видений: эхо голосов, зыбкие тени... Когда одна из теней присела рядом на ложе, рыжий даже не сразу понял, что это вернулась Деянира. На миг лунный свет упал на лицо женщины, делая его иным: задумчивой синевой сверкнули глаза, черты еле заметно утончились...

Наваждение мелькнуло — и растаяло в ночи.

— Ты действительно очень похож на него... на Тидея, — тихонько проговорила женщина, и рука ее нежно коснулась лица Одиссея. — Как же я сразу не поняла?..

Прикосновение внезапно отдалось во всем теле, волнующей дрожью пробежав по расслабившимся было мускулам; сладко заныло сердце.

Все было не так, как в первый раз!

Все было... есть!.. будет!

Одиссей приподнялся, обнял женщину за плечи, привлекая к себе.

— А хватит сил-то, герой?

Лукавый, знакомый, бархатный шепот; горячее дыхание на щеке — и ответ вырвался сам собой: то, что чувствовал, о чем думал, но пока не мог облечь в слова.

Теперь — смог.

— Это же просто, богиня моя! Надо просто любить, очень любить тебя всю — и тогда нет ничего невозможного! Надо очень любить эти губы, эти глаза, эти плечи... надо... очень... любить... — Одиссей шептал, словно в бреду, не разделяя рождающееся в голове, в сердце, на языке, и горячим шепотом вырывающееся наружу, ибо мысли и шепот — одно. Он и она, руки, слова, губы, два тела —

одно! Один *Номос* на двоих, одна скорлупа, одно Мироздание, пульсирующее в ритме, который считался древним еще в дни рассвета, когда боги были юными...

— О, еще! еще! Я так соскучилась по тебе, Тидей, я ждала, верила...

Это не важно, как она его называет! не важно, что у нее было или не было с родным братом — важно другое, совсем другое...

— Ох... Одиссей! Ты и вправду особенный! Так меня еще не любил никто... никогда...

— Значит, они просто не умели любить, богиня моя.

— Наверное. Богиня... богиня твоя... Скажи, ты смог бы полюбить — богиню? друга? спутника?

— Глупая! я не могу не любить! не умею... У меня есть бессмертная покровительница — и я люблю ее! У меня есть друзья — и я люблю их! У меня есть отец с матерью...

— А Диомед, сын Тидея — он тоже твой друг?

— Конечно! Я ведь к нему плыл с Итаки, по горам этим дурацким карабкался, по грязи — дошел! Жаль, под Фивы опоздал... Мы теперь друзья навеки.

— И ты любишь его? Как друга?

— Конечно!

— У тебя хватает любви на всех — на отца с матерью, на друзей, на богиню-покровительницу... на меня?

— Моей любви хватит на всех! На всех!

— Ну, тогда иди сюда, милый. Пусть сегодня ночью твоей любви хватит для меня одной...

Наутро Одиссей проснулся в чужих покоях. Не там, где заснул. В углу, на подстилке, рябой Эвмей; рядом со свинопасом — лохматым недоразумением — разметался Аргус.

Как вся троица сюда попала, вспомнить не удалось.

Рыжий лежал, смотрел в потолок, и в груди его тлело сложное, незнакомое чувство.

Вы когда-нибудь испытывали смесь гордости со стыдом?..

ЭТОЛИЯ

Куретия Плевронская, Заречье (Гиппорхема¹)

...здесь, в Этолии, есть калидонцы, а есть куреты. Калидонцы, это которые вредные. Глотка воды за так не выступишь. А куреты славные. Они пастухи, оттого и славные. Сбегают рядышком — в Локриду Озолевскую, в Локриду Опунтскую, в Акарнанию или даже подальше, в Долопию — стада оттуда пригонят и пасут себе помаленьку, пока не съедят. Потом опять сбегают. Одиссей знает: пастухи — люди. Настоящие.

Правда, у скряг-калидонцев и пастухи какие-то...
Пришибленные.

А лучники у куретов дрянные. То ли луки свои мало любят, то ли стрелы. Мишени уж наверняка не любят — лупят. Все больше мимо. Одиссей куретов обстрелял, глядь: быка выиграл. Хорошего, гладкого. С рогами. Потом на бревне над ручьем, с козлом на горбу, еще семь барашков заработал. Трех — сам; четырех — Эвмей расстарался. Куреты сперва гнушались с хромцом-свинопасом состязаться, а после едва не на коленках упрасивали: еще! еще! Ну, Эвмей и дал им еще. В придачу наврал, будто он — царский сын, во младенчестве украденный пиратами. Только путался, откуда украденный: сперва приплел великий Баб-Или, дальше какой-то заморский Таршиш, о котором никто отродясь не слыхивал. Прямо на бревне хвастался, рябой балагур: курета в ручей — бряк, и врет напропалую.

Прозвали куреты гостей Хейрогастерами — Многорукими.

Бык, барашки — пир на весь мир. Мы не жадины. Дикого молока вдосталь напиться, быка съели, полстада баранов тоже съели: сперва Одиссеевых, дальше подряд резали. Развеселились. «Кур-р-р-р! — кричат хозяева. — Кур-р-р-р!» Хвалят, значит. Вожди куретские в Одиссея

¹ Гиппорхема — буйная, оргиастическая песнь-пляска с тимпанами и бубнами.

пальцами тычут. Не мальчик, говорят. Мужчина. Проксен-побратим. Если, мол, дома, на Итаке, беда стряется — посылай, брат-мужчина, гонца в Куретию. Утром коней седлаем, днем скачем (ай, скачем! по земле! по морю! по небу!!!), к вечеру спасти-выручить явемся.

Приятно.

Им, вождам, их куретские мамы не объясняли, наверное, что в людей пальцами тыкать неприлично.

Ну и ладно. Пускай.

А Диомед не удержался: прыснул в рукав. На глазах слезы, от смеха. Это когда Одиссей сгоряча поклялся: мой дом — ваш дом, мои стада — ваши стада. Одиссей было обиделся, а Диомед прощения запросил. Сказал: от радости смеялся.

Все ведь знают, каких жирных овец Лаэрт-Итакиец стрижет!

Они еще дикого молочка хлебнули, а Одиссей потихоньку отошел к шатрам. Дедушкин лук, из которого всех обстрелял, обратно в кладовку прятать. Спрятал. Подумал еще: хорошо бы самого себя вот так — раз, и на Итаке, два, и в Калидоне. Был бы богом, целыми днями туда-сюда мотался бы. Хорошо быть богом. Только трудно. Тебя отовсюду просят, клянчат всяко-разно, а ты каждому помогай. Пуп не развязался бы...

Вернулся к шатрам.

Наплясался до упаду. Хай-хайя! хай-хайя! ха-а-ай! Стал Диомеда упрашивать: случись новая война, не пройди мимо. Возьми с собой. Ясное дело, смеется голубоглазый. Возьму.

Даже клич придумал. Вон, горланит:

— Никто, кроме нас с тобой!

Приятно.

— ...возьми на войну! Не пройди мимо!.. — эхом доносится с берега прошлого. Страшно возвращаться. Дикий вопль судьбы колеблет пламя факелов. Пугает зеленую звезду над утесом.

Взяли. Не прошли.

Не дураку-аэду, себе язык бы вырвать...

Там, на берегах прошлого, рыжий омфалос гуляет на лугах куретов. Там, весь в пене былого, восторженный пуп мироздания пьет дикое молоко, учится ездить на неоседланных конях — ведь это легко! надо просто любить!.. — и швыряет стрелы не глядя в самое яблочко. Там, в обители счастья, где и предложат остаться навсегда, да не сможешь, беглец-итакиец ворочается ночами в шатре. Посреди океана веселья, дружбы и побед, окружающего новую, большую Ойкумену, от Итаки до Калидона, ему снятся скучные, медные слова:

— Ты сделаешь все, что понадобится. Если нужно будет убить — убьешь. Если нужно будет обмануть — обманешь. Если нужно будет предать — предашь. *Номос* важнее предрассудков. Ты справишься.

Не я ли шепчу это самому себе с ночной террасы — порога войны, убийств, обмана и предательства — готовясь сделать первый шаг?

И рыжий мальчишка кивает во тьме: да, справлюсь.

АНТИСТРОФА-II

ВИДЕЛ Я ТАМ И ГЕРАКЛОВУ СИЛУ...

А по возвращении в город друг-Диомед убил наповал. Ну, убил, и все. Говорит, пошли к Гераклу по-настоящему. Говорит, Геракл вернулся. Говорит, дома Геракл. Точно, мол, знаю.

Геракл...

Одного этого имени Одиссею хватило, чтобы больше ничего не слышать. Ударь сейчас Зевс молнией под ноги, не заметил бы. Живой перед глазами встала двоюродная бабушка Деянира — руки! губы! пусть! Возьмет великий Геракл дубину, вгонит рыжего святотатца по самое темечко в землю — пусть!!!

Ну хоть одним глазком...

Пошли? — спрашивает Диомед, сын Тидея.

Пошли, — отвечает Одиссей, сын Лаэрта.

...за воротами встретила. На улице. Кричит: за вами бежала. Помогите! остальные кто куда! бояться! Вот она, Деянира богоподобная, жена величайшего: баба-растрепа, щеки в пятнах, глаза красные, гиматий с плеча сбился.

Храпит загнанной кобылицей:

— Диомедик! плохо ему, милый! Совсем плохо! Ночью закричал, биться стал. А Лихас наш, как назло, к локрам уехал... Сделай что-нибудь, помоги!

Она голосит, надрывается, а слышно едва-едва. Потому что в доме северный ветер Борей ревет:

— О-о-о-о-о-о-о-о! О-о-о-о-о-о-о!

Крышу со стропил сорвать норовит. И брату-Борею зубастый Аквилон подвывает:

— Де-е-е-ети-и-и-и! О-о-о-о-о-о!

Разгулялись ветра.

— Он... детей требовать стал. Детей... Понимаешь? детей!..

Столбняк на Одиссея напал. Диомед уже в дом бежит, торопится, за ним этот... как его? — ну, курет один, увязался! А рыжий поперек улицы гвоздем застрял. Ему Деянира на грудь упала. Плачет-захлебывается. Рыжий ее по волосам, по плечам гладит, слова дурацкие шепчет. Люди смотрят — ну их, людей!

Насилу успокоил. Подвел к лавочке, усадил. Напоследок шепнул: не плачь! все в порядке!.. А что в порядке, что за порядок такой? — самому бы знать.

Бросился в дом.

Через двор мчался, увидел: дети. Мальчишки, белые-белые, и девочка. Пискля голосистая. Опять задержался Одиссей. Вы не бойтесь, говорит. Я с вами, говорит. Гераклова кровь, говорит; стыдно плакать. Потом уже понял: старшенький во дворе ему, Одиссею, — едва ли не ровесник. Впору мериться: кто раньше на свет родился. Нашел кого успокаивать.

А все равно: разжал Гераклид кулаки, задышал. Даже девчонка притихла. Дядя, ты с нами? — спрашивает.

Ага.

Ты только обожди, я сейчас.

Вихрем в горницу ворвался и по новой остолбенел.

Где ГЕРАКЛ?!!

Разор в горнице. Будто куреты не за рекой, а здесь гуляли. Все вместе, сколько их там наберется. Дверь — в щепки. Ставни — в щепки. Кресло... нет больше кресла. Ложе опрокинута. Ковер на полу гвоздями по краям схвачен, так у дальней стеночки все гвозди с мясом повыдерганы.

На ковре голый старик сидит. Костистый, страшный. Лицо в щетине кабаньей. Курчавые завитки у висков — мутные. Снег в ложине остался, впитал грязь — вот такие завитки.

Лысина в бисере пота.

— Де-е-ети-и-и! Терима-а-а-ах! Деико-о-о-онт! Кре-онтia-а-ад!.. Убей меня, брат, убей! О-о-о-о-о-о-о!

Высохли губы у Одиссея. Еле-еле дернулись:

— Опоили? может, зелье какое?

— Какие дети? — это курет. — Не так его детей зовут!

— О-о-о-о-о-о!

Затрясся старик. Упал навзничь, стал о ковер лицом биться. Дом гудит-откликается, по ковровому ворсу — кровь, а старику боль в радость.

Поднял кровавый лик:

— Убейте! Не должен я жить! Не должен! Брат, брат, что же ты смотришь? О-о-о-о-о-о!

Столпы вселенной рушились на глазах рыжего итакийца. Немейский лев? Лернейская гидра?! медноперые птицы Стимфала?!! — нет. Как и не было. Голый старик на ковре. Хлюпает разбитым носом. Рвет остатки волос. Горло надсадил — вон, сипеть начал, вроде Аргуса.

Стоял рыжий, будто на похоронах.

Сам не заметил, как за водой на двор сбегал. Кусает старик чашу, плачет; льется вода по черным губам, по седой бороде.

На пол капает.

— Пойдем, — говорит Диомед. — Не помочь нам ему. Оглянулся с порога Одиссей.

...память ты, моя память!..

Сидит на ковре нагая эпоха. Голову руками обхватила; стонет. В растерзанном доме; в руинах. «Я вернусь!..» —

беззвучно слышится в плаче-вое. Вот, вернулся. Куда? Не отвечает эпоха. Плачет. А вокруг три незваных — невиданных! невидимых! — гостя бродят: мальчишки. То приблизятся, то к стенам отойдут. Паленым от мальчишков тянет. Выжженные глазницы на мир глядят — не видят.

Теримах.

Деиконт.

Креонтиад.

Дети, сожженные великим Гераклом в Фивах.

Диомед меня тогда чуть ли не за шкурку из дома вытащил. Вышли за ворота. Пойдем? — это он спрашивает. Ага, киваю. Идите. Я вас догоню. Они и двинулись прочь. А я на лавку рядом с Деянирой сел. Молчу. Напротив мой Старик сидит, на корточках.

Он сидит, а я теперь точно вижу: плачет.

Не так, как Геракл. Тихо, беззвучно. И еще: на меня мой Старик смотрит. С надеждой. Вот-вот в ноги бросится, край плаща целовать станет.

Не надо.

Я так... так.

Вернулся во двор, старшенького подозвал. Глянул на него снизу вверх: глины раздобыть сможешь? Он брови сдвинул: рыжий, ты дурак? Ага, киваю. Дурак. Еще и безумец. Так как насчет глины? Брови теснее сошлись: ну, добуду, если надо. Надо, говорю. Как тебя зовут? Гилл? Значит, дружище Гилл, глины надо, воды, и камней разных — россыпью.

Добудешь, неси в горницу, где твой папа. Или нет, в горницу не надо. Сюда неси, во двор.

Зачем? — Гилл спрашивает.

Низачем. Кенотаф строить будем.

Он бы не пошел, так его братья с сестрой на меня, как на бога, уставились. Даже выть бросили. Гилл сбегал туда-сюда, малышня камешков натаскала: пошло дело. Отогнал я всех в уголок, к забору, замесили глины, основу камнями выложили.

Построили.

Я слова нужные помнил. Почти. А когда закончил, встал и шепотом позвал трижды:

— Теримах! Деиконт! Креонтиад!..

В горле ком, оттого и шепотом.

Холодком по двору повеяло. Тихо стало: девчонка носом шмыгнула — будто гром. Вышли из дома три горелых мальчишки, три призрака чужой памяти; встали у кенотафа рядышком, плечом к плечу.

Были; исчезли.

А тишина осталась. Не ревет в доме свирепый Борей, не скалится зубастый Аквилон. С улицы Деянира прибежала, зареванная. Прошла в горницу, вернулась.

Спит, сказала.

Ну и ладно, говорю. Пусть спит. Я завтра зайду.

* * *

Утро выдалось спелым, крепким; утро хрустело на зубах, брызжа соком, будто яблоко с ледника. Воздух щекотал ноздри. Наверное, в сказочной Гиперборее, где хранит Аполлон свои смертоносные стрелы, земля дает ежегодно по два урожая, солнце заходит всего один раз в двенадцать месяцев, а старики, пресыщенные жизнью, увенчав себя цветами, бросаются в море — там каждое утро такое.

Выйдя наружу из дома, где жил гостем, Одиссей с наслаждением потянулся.

— Радуйся!

— А то! — усмехнулся рыжий; глянул в сторону ворот.

Створки были распахнуты настежь, и на улице топтался этот... вчерашний. Гераклид; который глину таскал. Бдительный Аргус загораживал вход лохматой тушей, мешая войти.

— И ты радуйся! Аргус, ко мне!

С опаской покосившись на пса, Гераклид вошел. Одиссей вспомнил: Гиллом его зовут. Бледный он, этот Гилл. Синяки под глазами. Случайно встретишь, никогда не скажешь — чей сын. О самом Геракле думать тоже не хотелось. Вдрызг изолгавшаяся судьба строила рожи из-за угла действительности; подмигивала, приставляла к носу

гребень растопыренных пальцев. Кыш-ш-ш, дура! Лучше пусть будет, как раньше: мечта, хрустальный идеал — а не голый старик на ковре плачет.

Старика жалко.

Разве великого Геракла может быть жалко?.. да ни в жизнь!

Героев не жалеют.

— Тебя отец зовет, — сказал Гилл, скучно глядя в землю. Затоптался и поправился. — Не зовет. Просит. Так и велел передать: прошу Одиссея, сына Лаэрта, посетить бедного изгнанника.

Врет, наверное. Точно, врет. Бедного изгнанника...

— А имя? откуда мое имя-то узнал?

— Мама сказала.

— А-а... ладно, обожди немного. Я обуюсь.

...утро хрустело на зубах сырым песком. Я шел один: Старик куда-то пропал, Эвмей отсыпался после бурной ночи, даже верный Аргус отстал по пути...

Я шел по-геройски: один.

Вчера — с опаской, а сегодня — вдвое. Сам не знал, чего боялся. Так и не узнал. Потому что — вон он, Геракл, сын Зевса. Сидит у ворот на лавке. Большой, костистый; вчерашний. Только не плачет и оделся. Хитон куций, без рукавов, подол до середины бедра. Задрался подол-то, ляжки на всю улицу видны: жилистые, черным волосом сплошь поросли. Одиссея холод под меховым плащом щупает, а Гераклу без разницы: даже тканый фарос¹ лень накиннуть.

Не человек. Очаг. Уже догорел, но еще не остыл.

Убить себя за такие мысли.

— Садись, — сказал Геракл вместо приветствия. И для убедительности ладонью по лавке хлопнул. Встряхнулась лавка мокрым псом, встопорщила шерсть баранья шкура, которой лавка застелена была; подпрыгнуло, задребезжало блюдо, что на лавке стояло.

¹ Фарос — тип плаща.

Заскакали на блюде: три пучка зеленого лука, редька кусками, четыре лепешки да россыпь оливок, да еще две чаши лаковые.

Одиссей сел. Осторожно, на краешек.

Молчит: а что говорить?

Наклонился Геракл, поднял с земли кратер с вином; разлил в чаши поровну. На рыжего вприщур глянул. Осмелился Одиссей, навстречу взгляд бросил, и застрял, дротиком в щите. Не вырвать взгляда, не отвести для нового удара. Такие уж глаза у Геракла, когда он не плачет, а смотрит: вроде бы на тебя смотрит, а вроде бы сквозь тебя, и в придачу — на самого себя.

Повернуты глаза зрачками в душу.

— Спасибо, мальчик, — сказал Геракл и отхлебнул из чаши, забыв плеснуть наземь божью долю. — Спасибо.

— Я... — Одиссей промахнулся мимо рта; в нос лаковым краем сунул. Чихнул раз-другой. — Я... не за что.

— Есть. Мне сказали, ты — сын Лаэрта? Лаэрта Аркесиада?

— Я... да.

Отпустил Геракл чужой взгляд. Пала тень на его лицо: сизым туманом борода сделалась, пористым камнем — скулы, черные круги под глазами мраком Эреба налились. Дрогнули пальцы, проливая из чаши под ноги. То ли запоздало богам решил плеснуть, то ли тяжела оказалась чаша великому Гераклу.

— Лаэрт... Хай, «Арго»! хай! ровней гребни, парни!.. Лаэрт, дружище: дойдем за день к долионам?! Что скажешь? Хай, «Арго»!..

Одиссей сидел как на иголках. Пусть говорят, будто в последние годы Геракл не буйствует во время приступов. Но слышать об этом от других людей и самому присутствовать — большая разница. Сейчас как даст чашей по башке! Безумец: только что был здесь, и уже на «Арго», плывет за Золотым Руном!

Глядишь, на сей раз доплывет, не соскочит с полдороги!

Удрать? а ну догонит?

— Хай, герои! гуляй по морю!.. у nereиды в глазах — томленье!..

Одиссей на всякий случай огляделся. Улочка словно вымерла. Даже двух голозадых карапузов, игравших у дальних ворот в песке, мамаша втащила во двор, громыхнув засовом. Мало того что живет Геракл не во дворце с фресками на стенах (двенадцать фресок, по числу подвигов!..), а в малом домишке на окраине Калидона, так в придачу соседи от него как от прокаженного!.. Забились в щели, носа не кажут! Будто каждый божий день напротив них великий герой сидит на лавочке...

А ведь и вправду: каждый день. Как вчера — каждый божий. «Де-е-е-ти!..» — день за днем. Плач Деяниры, бледные лица сыновей — сегодня, вчера, позавчера...

— Хороший у тебя был отец, мальчик. Помянем?

От неожиданности Одиссей даже отодвинулся. Уходил Геракл; вернулся. Вот он, снова здесь. Целиком.

Дрожат черные губы в седой бородашке.

— Я... почему — был? Папа — есть... живой он!..

— Живой?!

И вот тут увидел рыжий: Геракл. Настоящий. Встал, могуче-огромный, вскинул к небу руки — не руки, коренья дубовые! мотнул косматой головой. В пляс пустился, безумец.

— Живой! ах-ха, живой! Лаэрт, дружище! — живо-о-о-ой!..

В небо кричал Геракл. В самую синь.

Будто грозил.

Одиссей опомниться не успел: сгребли его две ручищи, ввысь швырнули, к облакам. Хорошо лететь было, хорошо падать — будто в люльку. И еще раз! еще! ах-ха, живо-о-ой!..

Нет, действительно: хорошо ведь, что папа живой?!

А когда вернули рыжего на скамью — бережно, ласково, — выпил Одиссей залпом всю чашу.

И редькой закусил.

— Мы — больные, мальчик. Полулюди, люди на три четверти, почти совсем люди. Порченная кровь. Ты, я ви-

жу, тоже... ихор в крови — легкий, серебряный! Мы убили самих себя, не спрашивая, кому это на пользу; мы полагали, что мстим или добиваемся справедливости, а на самом деле мы просто убивали. Братья-Диоскуры — братьев-Афаридов. Бешеные менады — Орфея-Песнопевца. Скиросский басилей Ликомед — Тезея-Афинянина. Пелей Эакид — Акаста из Иолка. Мы гребли одним веслом, ходили под одним парусом... я пил вино с крылатыми Бореадами, Зетом и Калаидом, чтобы позже убить обоих на острове Тенос!

Он умолк так же резко, как и начал кричать.

— Ты — мой искус, мальчик. Смущенный рыжий искус. Не спорь, я знаю, что ты вчера сделал для меня... Но тебе не понять, как живетса самоубийце. Я или проснусь сам, или не проснусь вовсе, до самой смерти. Поэтому я прошу тебя, Одиссей, сын Лаэрта...

Иссеченное морщинами лицо придвинулось вплотную. Сошлись косматые брови на переносице; отвердел рот. Не Геракл — его божественный отец, Зевс-Эгидодержавец, из тучи на мир глянул.

Ударила тихая молния:

— Никогда... слышишь? — никогда больше не делай такого для меня. Даже если на твоих глазах я буду рвать не волосы — кожу! мясо! до кости! Я сам выбрал этот жребий. Сам и откажусь, если захочу. Мы — больные, мальчик; порченная кровь. Гераклу лучше жить в прошлом, пока ему еще приходится — жить. Прошу тебя, не помогай мне. Иначе однажды я убью тебя.

Улыбка разорвала ему рот. Мягкая, добрая улыбка, противореча сказанному. Разгладились складки, ушли желваки со скул.

— А мне бы хотелось, чтоб сын Лаэрта прожил долгую жизнь. Долгую и счастливую. Кто твоя мать, мальчик?

— Антиклея, дочь Автолика.

Геракл долго молчал. Потом сказал невпопад:

— Это судьба. Она сильнее всех. Живи долго, мальчик. Хорошо, кивнул Одиссей. Поживу уж.

Чего там...

Хрустело утро сочной редькой. Стрелами лука на зубах. Корочкой лепешки.

— Мне сказали, ты хороший лучник. Это правда, мальчик?

— Н-не знаю...

— Должен знать. Иначе как ты попадаешь в цель?

— Я ее люблю.

— Цель?

— Да.

— Я так не умею. И никогда не умел. А жаль. Хочешь, я покажу тебе свой лук?

— Я... конечно, хочу! очень!

...почему-то я плохо запомнил лук великого Геракла. Он был под стать хозяину: большой и вчерашний. С таким луком в руках хорошо грезить, сидя под крышей и слушая дождь. В таком луке спит тысяча смертей, и главное: не разбудить их неосторожным прикосновением. Но другое я запомнил навсегда. В сундуке, аккуратно завернутый в свиную шкуру, лежал колчан со стрелами. Наверное, когда придет час умирать, я бестрепетно встречу приход Таната-Железносердого. Я рассмеюсь ему в лицо, ибо видел смерть, способную убить смерть, несмотря на все ее бессмертие.

Я видел стрелы, омоченные в яде Лернейской гидры.

Лук и жизнь — одно.

Но эти стрелы... этот яд... не знаю, смог бы я наложить хоть одну из них на тетиву.

До сих пор не знаю.

— За тобой приехали! — крикнул Диомед.

Я уже знал, что за мной приехали. Потому что рядом с Диомедом, одетые непривычно дорого — плащи! фибулы! шапки! — стояли дружки коровника Филойтия во главе с самим коровником.

— Радуйся! — сказал мне Филойтий.

И, обернувшись к Диомеду, явно заканчивая не сейчас начатый разговор:

— Так запомни, богоравный. Перевезем. И конницу — тоже.

— Благодарю, — очень серьезно ответил коровнику Диомед, сын Тидея.

ЭПОД

ИТАКА

Западный склон горы Этос; дворцовая терраса (Сфрагида)

...вынырываю из волн моей памяти. Опять и опять меня захлестывает с головой, топит в былом; я пытаюсь вернуться — всякий раз не зная, удастся сделать глоток свежего воздуха или нет. Вернуться — *куда? В когда?* Из глубин прошлого — в день сегодняшний? в ночь? ночь перед отплытием на Трою? ночь, которая длится без конца, без рассвета, и впору молиться, чтобы рассвет никогда не наступил... Или мне лучше возвратиться в позднюю осень, когда я после недолгого отсутствия вновь ступил на берег родного острова?

Вновь! на берег!

Я должен пережить это снова! Мое первое возвращение! я должен! чтобы суметь вернуться, отплыв с рассветом, будь он проклят, я должен снова испытать...

Плач в доме.

Это Телемах. Пока едва слышно, но вскоре он наверняка раскричится всерьез и разбудит Пенелопу. Не надо, малыш, не буди маму, она устала, она спит...

Спешу в детскую. Руки в темноте безошибочно находят теплое тельце сына, аккуратно вынимают из колыбели. Нет, вроде сухой. Может, дурной сон? Спи, Далеко Разящий, спи, папа здесь, с тобой, и мама тут, рядом; спи, все будет хорошо. Вот увидишь. Папа уедет, чтобы скоро

вернуться к своему мальчику! Слышишь? Я даю тебе слово: я вернусь! клянусь тебе в этом!

Меня можно упрекнуть во многом, но клятвопреступление не в числе моих пороков.

Брожу по террасе, укачивая сына. Телемах успокаивается, его хныканье становится тише... прекращается совсем. Спи, сынок. Ты назван Телемахом в честь друга. В честь кучерявого мальчишки, который рос на Итаке вместе со мной, появлялся и исчезал когда хотел, не спрашивая ничьего разрешения; в честь лучника, научившего меня гораздо большему, чем просто стрельба из лука.

Спасибо тебе, Телемах-старший! Люби сына, как любил отца. Смеешься? Ты не умеешь сравнивать любовь с любовью? Смеюсь в ответ. Я очень хотел бы, чтобы ты отправился со мной под Трою. Но тебе не место на войне. Если бы я мог, я бы тоже остался дома. Впрочем, я не могу; а ты не умеешь.

Или все-таки умеешь?!

Ты даже провожать меня не пришел — но я не в обиде. Я вообще никогда не умел всерьез на тебя обижаться.

На берегу затихают последние отголоски пиршества. Гаснут костры, шумный Эврилох устал орать о заветной тысяче врагов, которую он непременно убьет — сейчас мои доблестные соратники наверняка расползлись по берегу: кто уединился с покладистой рабыней, кто через силу допивает недопитое, а иные уже отдались Морфею, дремотному сыну Гипноса-Сладчайшего.

Мне бы тоже следовало выспаться перед отплытием. Жаль, у меня осталось очень мало времени. Я учусь.

Учусь возвращаться.

* * *

...Когда Форкинская гавань придвинулась вплотную — с ее неугомонными чайками, запахами рыбы, водорослей и жарящегося мяса; когда заскрипел под ногами дощатый

настил причала — на какой-то миг все мое путешествие показалось мне сном. Грезой о Большой Земле, оказавшейся совсем не такой, как воображал ее себе четырнадцатилетний базиленок.

Настоящее встречало корабль: мой остров, мой дом, мои родители и друзья — мой *Номос*! Мама, отец, Эвриклея, дама Алким, Ментор, Эврилох, Антифат — все пришли встречать бродягу!

Как героя.

А мне было стыдно. Сбежал на войну — не добежал. Всех подвигов: куретских стрелков косоруких обстрелял да с женой Геракла переспал.

Не заслуги — позорище.

Возможно, чувствуя это, отец не стал отчитывать меня за побег.

...а может быть, совсем по другой причине.

Вечером, после ужина, когда женщины отправились спать, у нас с отцом состоялся разговор.

Разговор двух мужчин.

Со стороны этот мужской разговор наверняка выглядел весьма странно. Но посторонних рядом не было.

— Опоздал на войну?

— Опоздал.

— Может, оно и к лучшему. Успеешь еще, навоюешься всласть. Как тебе Большая Земля?

— Да, в общем, никак. Итака, только большая. Всего больше: и людей, и грязи. Папа, можно, я... можно, мы корабль снарядим? С дарами?

— С дарами? Кому?

— Диомеду-Аргосцу! Он такой! такой! я к нему — в гости бы...

— Подружились, значит. Что ж, можно и корабль. И в гости. Только остынь сперва, дома побудь — первый раз ведь в мир вышел. Дай маме нарадоваться...

...и тут я проговорился!

— Понимаешь, папа, мне было надо! Тесно сделалось; душно. Здесь мой дом; здесь ты, мама... Это моя Итака! Но чтобы понять это, чтобы научиться любить по-настоящему, мне было надо...

Отец долго молчал. Наконец медленно произнес:

— Птенец вылупился. Яйцо треснуло.

— Откуда?! — задохнулся я-тогдашний. — Откуда ты знаешь?! Я не хотел ломать скорлупу, я слышал, как она трещит — но не мог иначе. Моему миру пришло время расти...

Думаю, я произносил совсем другие слова.

Но суть не менялась.

— Я знаю. Это участь всех мужчин в роду итакийских басилеев. Так было с моим отцом Аркесием; так было со мной...

— И с тобой — тоже?! Значит, так и должно быть?!

— Так не должно быть. Но нашей семье от этого не легче. Дурная кровь. Ихор Глубокоуважаемых в смертных жилах; серебряная порча. Ведь мой отец был сыном Громовержца, — папа вдруг сделался старым-старым, очень похожим на Геракла. — Нам никуда не деться, мальчик мой, от проклятия крови. Обычно давление ослабевает вскоре после обряда пострижения. И проходит окончательно с рождением наследника. Треск скорлупы. Ведь так?

— Да, папа. Треск скорлупы. Когда я решался, этот треск меня оглушал! А сейчас — ничего. Прошло.

— Странно... — Глубокие складки залегли на лбу базиля Лаэрта. — В твои годы я уже почти не слышал треска. А когда родился ты...

Лаэрт умолк, задумавшись. Я сидел тише мыши, не решаясь прервать размышления отца.

— Может быть, когда у тебя будет сын — тогда... Хотя — не знаю... не знаю. К добру это или к худу? Ты ведь уже привык жить с этим, Одиссей?

— Привык, папа.

— Будем надеяться, это к лучшему. Ведь в твоих жилах течет не только кровь Тучегонителя. Ты сам знаешь, чьим сыном был твой дедушка Автолик.

Я знал.

Но все равно не мог понять: что плохого в том, что в моих предках числятся сам Владыка Богов и Гермий-Психомп? Наоборот, радоваться надо!

Радоваться не получалось.

Какая судьба уготована тебе, мой Телемах, мой маленький Далеко Разящий, мирно посапывающий у меня на руках? Ведь в твоих жилах тоже серебрится ихор сразу двух Глубокоуважаемых, как называет богов мой папа, а твой дедушка Лаэрт. Сейчас ты спишь, видишь сны; а скорее — ничего не видишь. Но пройдет год, два — и что увидишь, что услышишь ты?

Хрустнет ли однажды твой мир под пятой судьбы?

...Ладно, пойдем обратно в колыбель. Ночь близится к концу, но до утра еще далеко. Я многое успею в смутные часы перед рассветом. Я хочу впитать в себя ночной ветер, неумолчный шепот прибоя, лунные блики, вместе со мной бродящие по террасе, игру света и теней; твоё тепло и спокойное, умиротворенное дыхание — я увезу все это богатство под Трою, где самый прыткий пергамский копейщик ждет — не дождется...

Не дождется.

*— Ты сделаешь все, что понадобится. Если нужно будет убить — убьешь. Если нужно будет обмануть — обманешь. Если нужно будет предать — предашь. Номос важнее пред-
рассудков. Ты справишься.*

Спи, Телемах, и ничего не бойся. Твой папа с тобой.
Папа справится.

Под конец нашего разговора с отцом, уже поднимаясь, чтобы идти спать, я кое-что припомнил.

— Папа, а тебе Геракл привет передавал. Как узнал, что ты живой, в пляс пустился.

— В пляс? — грустно улыбнулся отец. — Не забыл, значит. Не настолько он, выходит, безумен, как думают некоторые...

Я понял: теперь из отца лишнего слова клещами не вытянешь. Еще подумалось: хорошо бы по новой съездить к Гераклу. Расспросить...

...Знать бы, что больше мне никогда не придется увидеть Геракла живым. И только за спиной временами — на-смешкой, откровением или приглашением к протесту — будет звучать эхо низкого, сорванного безумием голоса:

«Это судьба. Она сильнее всех».

А если не спешить отвечать, то можно еще расслышать затихающее в бездне дней:

«Живи долго, мальчик...»

Я вернусь.

— Радуйтесь! Сын мой любезный, герой, Истребитель Чудовищ...

...нет!

Во всех храмах Аполлона — зимней стаей рычит Волчье капище в Аргосе, захлебываются дурманом вещие пифии в Дельфах, чертят круги священные ястребы Делоса, раскинув над землей пестроту крыльев — единым приказом, как едины смерть и полет золотой стрелы Отпирającego Двери:

— Радуйтесь! Брат мой, Геракл Зевсид меж богов Олимпийских, как равный, смертью смерть поправ...

...Нет! ну нет же!..

Пожалуйста!

А папа третий день как запил. Никого не пускает. Разве что виночерпия с новой амфорой. Босой, всклокоченный, опухший от беспробудного пьянства, заперся в мегароне. Только и слышно изнутри:

— Радуюсь! Радуюсь!

И кувшином об стену — вдребезги.

Мама боится: угорит он там, спьяну...

В святых местах Геры-Волоокой — вороньим граем в Аргосе, чьи крепостные зубцы напоминают корону Владычицы, стоном мессенской кукушки, радугой павлиньих хвостов на побережье Ахайи, ибо приятны сии птицы великой богине, как приятен ей кровавый сок гранатов, растущих вокруг Самосского алтаря — шептанием старых жриц, звонкими гимнами юных послушниц, пророчеством мудрых сивилл:

— Радуйтесь! Нету отныне вражды меж Гераклом и Герой!.. Пасынка мачеха за руку вводит в чертоги Олимпа, улыбкой сияя...

НЕТ!!!

— Слыхали?

— А вы?! вы слышали?!

— Сам! На костер!!! Хитон, говорят, рвал... кожу — до мяса!.. Отец, кричал! за что ты меня оставил! отец!..

— Отравленный хитон-то...

— С неба! колесница с неба! золотая!

— Отец небесный, прими сына любимого в сонм бессмертных!..

— Жена повесилась; говорят. На поясе. Язык синий, глядеть страшно...

— На кой ему теперь жена? Пусть вешается, не жалко. Зевс с Герой, сказывают, сыну в жены дочку сосватали! Гебу-Юницу! Она уж и сыновей Гераклу нарожала... двойню!..

— Да когда успела-то?! Он же только-только с костра! паленый!

— У них, у богов, это дело быстрое... Нектару хлебнул, амброзией запил, и в постельку!.. раз-два, наутро ты и папаша!..

— Мне б так, я б еще вчера повесился... или жену, на поясе...

...Пылает факел неистового Арея, шумят хлебные нивы Деметры-Законодательницы, ужасом дышит эгида воительницы Афины, громыхает молот хромца Гефеста, воркуют голубки Пеннорожденной Афродиты, режут медведицы Артемиды-Жестокой, бьет трезубец Колебателя Земли, тихая Гестия шуршит искрами в очагах, вздрагивают берега Стикса от поступи Аида-Невидимого — беду, как говорится, заметит и дурак, зато истинное счастье может прозевать и мудрец, а посему Заоблачная Дюжина велит имеющим уши:

— Слышите ли? знаете ли? радуйтесь! В небо вознесся великий, свершивший немало деяний; зло искупилось добром, смута скверна, и брненное тело стало бессмертною плотью богов олимпийских!

Радуйтесь! Радуйтесь, сволочи! листьям древесным подобны сыны человеков — падайте ниц, ибо осень! радуйтесь!!! А мы что? мы радуемся... ежели велено!.. винца, винца на порожек плеснуть...

Косматое солнце валится на голову. Диск земли, встав на ребро, катится в пропасть, в Тартар, в тартарары, в Бездну Вихрей, где сплетаются корни всего сущего. Атлант-

Небодержатель, яростью титановой мощи, тряхнул плечами у края Заката: где равный? где разделивший со мной ярмо небес?! Скала в Колхиде, у края Восхода, вспомнила порванные цепи Прометея, росчерк стрелы в синеве, кувыркающегося коршуна-палача — где стрелок?! где спаситель?! Воеет на невидимую из преисподней луну трехглавый Цербер: где сильный? где хозяин?! Яблоня Гесперид плачет вечерней росой: где смелый? Вдох кляпом забивает глотку, выдох разрывает нутро калеными клещами... вдох-выдох, жизнь-смерть, горе-счастье!.. радуемся, ибо велено!

Нет больше на земле Геракла.

И только пепел в глаза... Это не слезы, нет!.. не подумайте!.. это все пепел, это он виноват... струи дождя хлещут по лицу, спасая от божественного гнева, обещанного не умеющим радоваться по-настоящему; соленые струи дождя, которым отказано в праве залить костер, пламенную лестницу, с чьей последней ступеньки уходят в боги, забыв оглянуться, увидеть земную жизнь, оставленную на произвол судьбы — судьба, ты сильнее всех! мальчик, живи долго, потому что я умер, а судьба...

...Нет!..

Деянира! тетя Деянира! ну ты-то, ты — зачем?!

— Ты — другой... особенный! Ты в любви себя забываешь, да?

— Да, Деянира! да! Ты...

— Ох, погоди! Я сейчас вернусь...

Не вернулась. Ушла.

Навеки.

Не прошу, подумалось. Кого не прошу? за что не прошу?! — тайна. Бред. Подумалось, и все. Клеймом в душу вошло. Ожогом. Печатью на сердце. Сойдет душа в Аид, и даже там, в бессмысленной мгле Эреба — клейменной останется. Зачем беспамятной тени сердце? Зачем клеймо?! ожог зачем?! А куда денешься...

Не прошу.

Кому? может, себе?..

...а папа запил.

Я вчера к нему сунулся — еле ноги унес.

— Радуюсь! — и кувшин мне в голову.

* * *

— В гавань надо бы спуститься. Свинопасы из Кекрифалеи под руку просятся. Как положено, явились: с дарами, на трех кораблях. Прослышали, что базилей Лаэрт нездоров — разволновались. Боятся, это мы им так отказываем. Я уж кормчему намекнул: пустые страхи. Наследник завтра к вам явится... в смысле, уже сегодня. Ну как?

— Серьги готовы? — спросил я.

— Ясное дело. Думаю, кекрифалеицы себе уши по третьему разу прокалывают. Ждут.

— Ладно, Алким. Спустимся в гавань. Тебе носилки или мула запрягать?

— Давай мула. Полегчало мне, на солнышке-то...

Погода действительно расщедрилась. Даже думать не хотелось: это все они, Глубокоуважаемые. К праздничку. Не печальтесь, но радуйтесь. Земля слегка гуляла под ногами: качка началась за день, как Итака узнала про страшную смерть и вознесение Геракла. Неделю я ходил с трудом, борясь с тошнотой, но вскоре *Номос* стал успокаиваться. Сейчас лишь слабое шевеление толкалось в подошвы сандалий, будто титаны из глубин Тартара спрашивали эхом: радуетесь?

Еще радуетесь?

Хотелось забиться в глухую дыру, прихватить с собой кувшин неразбавленного, и — как папа. По-черному. По-варварски. По-человечески. Но нельзя. Свинопасы из Кекрифалеи ждут. Вчера с посланцем Дома Мурашу до полуночи беседовали. Борода в завитках, губы пухлые, вывороченные; смеется все время. Чего ему не смеяться? — Итака слово держит, за каждый серебряный слиток готовы отчитаться. Дядя Алким отчитывался. Табличек натаскал: валом. А я просто: рядом сидел. Вместо папы. Посланец Дома сказал: в Баб-Или нами премного довольны. Шлют дар мудрому Лаэрту, памятуя о страсти базилея: шишку кедра-исполина с Хуррумского кряжа. Сразу стало ясно: посланец Дома Мурашу — хороший человек. Это значит:

серебро. Это значит: новые верфи в укромных бухтах Пелопоннеса и Большой Земли. Подрядчики и строители, нанятые от третьих лиц. Холст, медь и бронза. Лучший строевой лес из устья реки Стримон. Акация для каркасов; бук для обшивки; мачтовая сосна.

Это значит: новые корабли.

«Вепри», дикие и опасные: суда для быстрых негрузовых переходов. Пятидесятивесельные пентеконтеры-двухмачтовики, с узким дном и длинными бортами, с сотней гребцов, владеющих копьем не хуже, чем веслом. Могучие «быки»: эйкосоры с круглой кормой и широким днищем, ради увеличения емкости трюма, с полыми якорями, куда на время пути заливалось купленное втридорога олово — для пущей сохранности. «Козлы», гроза встречных: двутаранные дипроры с рулевыми веслами в носу и в корме. «Морские жеребцы»: гиппагоги, специально обустроенные для перевозки лошадей и конницы. «Овцы», берущие числом: ладьи-кимбы для ближних перевозок по рекам и через малые проливы. Красногрудые, чернобокие, с кормой, загнутой в виде рыбьего хвоста, с таранами, окованными медью, — корабли, корабли...

Вспомнилось пьяное:

— П-пастухи — люди! П-пастыри!

Два года, прошедшие после моего дурацкого бегства на войну, можно было зачесть за пять. За десять; за сто. Наверное, приятно узнать, что флот твоего отца спорит с троянским. Что мореходы-киприоты и ушлые сидонцы, укрывшись под могучей рукой ванакта Черной Земли, тем не менее исправно платят Итаке десятину «пенного сбора». Как и все остальные. Что критяне-корабелы, делая вид, будто их спина разучилась гнуться еще со дней первого Миноса, на людях сверкают знакомыми серьгами: жемчуг в капельке меди, серебра, электрона¹...

Лишь две таких серьги было из железа: у меня и у папы.

Вернее, наоборот: у папы — и у меня.

¹ Сплав, где на четыре части золота приходится одна серебра.

После возвращения Лаэрт стал допускать сына на совет. Имелись в виду не обыденные собрания геронтов, где решались споры горожан или имущественные вопросы; я говорю о совещаниях Лаэрта-Пирата с даматом Алкимом, известным за пределами острова под прозвищем Дурной Глаз. Спустя пять месяцев я вызвал к себе кормчего с «Белоногого» и распорядился: отыскать на Большой Земле прорицателя Калханта и щедро наградить. Если будет спрашивать — за что? — напомнить о рыжем забияке. Сказать: забияка был не прав, о чем ему напели ласточки. Сказать еще: поданный вовремя крик «Безумцы под защитой богов!» дорогого стоит. Также найти близ Ализии братьев-Ракушечников, береговых пастухов Левкона и Каллия; освободить от «пенного сбора» на три года.

Отец не возражал. Молчал, посмеивался в бороду.

А дядя Алким только кивнул:

— Славно, славно...

И Ментор Алкимид кивнул. Его, оказывается, раньше меня на совет допускать начали. С молодых, почитай, ногтей. Вот тебе и непостриженный; вот тебе и осторожный...

Спасибо, Ментор. Я не взял тебя под Трою, хоть ты и просился. Я оставляю тебя на Итаке моим щитом, дамат Ментор, советник базилея Одиссея.

Жди меня.

— Навплий просит двадцать «быков». Для перевозки большой агелы¹ рабов на рынки Фокеи и Милета. Оплата по прежним соглашениям, — мимоходом бросил дядя Алким, когда мы уже подъезжали к Форкинской гавани.

Сидя в тележке, он ловко правил мулом: длинноухим, с белой звездой во лбу. Больная нога дамата торчала вперед и чуть вверх, словно копье.

— Это уже второй раз, — сказал я.

Мохнатый конек резвился подо мной. Гарцевал, выкидывал коленца. Спасибо куретской науке: в седле я дер-

¹ Агела — стадо.

жался крепко. Итакийцы сперва показывали на меня пальцами, дивясь всаднику, а потом прозвали конька Ослом и успокоились.

Главное, правильно назвать — и непривычное станет обыденным.

— Третий, — поправил дядя Алким. — За последние месяцы — третий. После разгрома Ойхаллийской базилиевии на Эвбее оказалось слишком много рабов для продажи.

В портовом поселке, по правую руку от меня, орала ребятня. «Падай! — взмыло поверх общего гвалта. — Ну падай же! ты убит!...»

Вечная игра.

На миг захотелось плюнуть на все и присоединиться. Падай! — закричу я. Падай, ты убит! Но через минуту, через час, день или год кто-то более удачливый закричит мне, скаля зубы в торжествующей ухмылке:

— Падай!

А что делать? упаду.

Земля слегка качалась под копытами мула.

— Иногда кажется, что Навплий — единственный, кому был на руку последний поход Геракла.

— Ты читаешь мои мысли, Алким?

— Тоже мне мысли... Наш дорогой родич, — дядя Алким хмыкнул и поправился, — ваш дорогой родич давно собирался прибрать к рукам всю Эвбею. А Ойхаллия была ему что кость в горле. Ни выплюнуть, ни проглотить. И вдруг является Геракл, чтобы разжевать эту кость как нарочно для Навплия...

Мудрый дамаг был прав. После того как Геракл покинул Эвбею, в разгромленной Ойхаллии на трон вззошел некий Талпий, послушный ставленник Навплия. Теперь весь большой остров был под одной рукой. Я уже знал: вотчина — не главное. Главное другое: Навплий — это торговля. Союз купцов, негласный, но оттого не менее действенный. И дородная Госпожа Торговля изо всех сил старалась прибрать к рукам упрямого Господина Перевозчика...

Сам Навплий в свое время женился на критянке из

царского рода, за сына взял дочь итакийского бацилея. Получив в приданое косвенные права на наследование флота. Отец критянки, как недавно донесли нам, уже успел погибнуть при странных обстоятельствах: убит дро-тиком, ночью, якобы собственным сыном. Сын, кстати, сразу после отцеубийства провалился сквозь землю, не успев внятно объяснить происшедшего.

Гнев богов, незамедлительно покаравших убийцу, был слишком уж своевременным. Особенно учитывая, что прошлой осенью наши береговые стражи взяли чужака. Вернее, приплыв на лодке с Дулихия, он сам сдался первым встречным. Признания лились из него бурной рекой: да, подкуплен, явился с целью тайно сгубить Одиссея Ла-эртида, а если удастся, и его благородного отца. Был вынужден согласиться на презренное дело, иначе пострадала бы семья. Но по здравом размышлении... предаю себя в руки... на коленях!.. да, заказчики — бацилей Навплий и его сын Паламед.

Спустя неделю подсыл внезапно умер в мучениях. Якобы от заворота кишок. «Отравлен, — бросила Эвриклея, мельком оглядев труп. — «Сизифово зелье»: отсрочка на месяц, реже — на два...» Папа молчал, а потом строгонастрого велел молчать и нам. Сказанное подсылom могло оказаться правдой, но могло и быть частью чужого замысла, ставящего целью вбить клин между Навплием и Лаэртом, между купцами и кораблями.

Что ж, мы прикусили языки.

Мир, дружба... для перевозки рабов требуется два десятка «быков»? — пожалуйста, любезный родич!.. по прежним расценкам? — сколько угодно! Как будем считать вес таланта? по баб-ильски? по-эгински? по-эвбейски — хотя на хитроумной Эвбее с недавних пор талант на треть легче эгинского...

А-а, по рукам!

Что за счета между родней?!

...он выхватил моего сына из колыбели...

Я люблю тебя, Паламед Навплид. Я действительно люблю тебя. Я умею только любить. Просто тебе неизвестно, какой может быть настоящая любовь.

Впереди показались мостки причала. «Падай! — за спиной и чуть справа орала ребятня. — Падай, ты убит!» Одиссей слез с конька и повел его под уздцы, приноравливаясь к движению Алкимовой тележки. Иногда рыжий жалел о наивном юноше, который два года назад сбежал на войну. В нынешние шестнадцать с четвертью тот юноша казался итакийскому наследнику идеалом чистоты.

* * *

...я-девятнадцатилетний тихо смеюсь на ночной террасе. Зеленая звезда, посмейся и ты, прежде чем упасть за утесы.

Падай!.. ты убита.

* * *

Церемонию «приятия под длань» Одиссей видел. И не раз.

Но проводить ее самому...

Кормчий Ламах, прозванный Тритоном, пришел с тремя кекрифалейскими кораблями и привел с собой полторы сотни людей. Говорят, славный кормчий. И люди у Ламаха-Тритона — вылитые пастухи. Доподлинные, просоленные насквозь. Разве что без серег, но это дело поправимое. Жаль, басилей Лаэрт никак не мог принять кормчего лично. Нездоровилось басилею. Ясное дело: если неделю питаться почти исключительно вином из дворцовых погребов! зато — в несусветных количествах!

А поди к нему сунься — самому не поздоровится!..

Кормчему лишнего сообщать не стали. Переговоры с обсуждением условий и «сохранением лица» от имени хозяев провели Одиссей и дама Алким. Ментор в это время был занят своим первым самостоятельным поручением: планами верфей на берегу Пагасейского залива, самой природой обустроенного для содержания большого флота.

Оставалось последнее: ритуал.

Тут дама Алким ничем помочь не в силах: по праву и обязанности наследника... Рыжий прекрасно понимал: «приятие» — не просто церемония, не просто установлен-

ный (кстати, кем? когда?!) порядок. Ибо после него, казалось, сама Ананка-Неотвратимость становилась благосклонней к «принятым под длань» кораблям. Словно и впрямь незримая рука простиралась над мореходами, прикрывая от взглядов Кер-Обидчиц¹, злокозненных дочерей Ночи. У кормчих обострялось чутье: на попутный или встречный ветер, на близость бури, удачу или неудачу в предстоящем плаванье.

Да и с «пенным братством» отношения сразу становились куда теплее.

Конечно, любой дар имеет цену. Посему далеко не все моряки спешили под гостеприимную длань Лаэрта-Пирата; да не всех еще и брал под свою опеку переборчивый базилей...

Бывали моменты, когда отец казался мне богом. Божеством своего личного Номоса, простирающегося далеко за пределы Итаки, включающего в себя сотни людей с серьгой-каплей в левом ухе. И внутри этого Мироздания могущество отца ужасало. Бог в мире? спрут в море?! Думалось: лучше бы он был героем! лучше и понятнее! Потом видение откатывалось волной прибой, оставляя лишь соль на губах и боль в висках.

Так ли уж сильно ошибался я?..

Кормчий ждал.

Как и положено, на носовой полупалубе, преклонив колени (не перед отцом — перед ним, Одиссеем!); ждала на корме примолкшая команда.

А рыжий все никак не мог решиться.

Наследник? ну и что?! Ведь это должен делать отец! Это под Лаэртovu длань переходит кормчий Ламах со своими кекрифалейцами. Вдруг ритуал в Одиссеевом исполнении окажется пустышкой? ветром в руках? ушами от мертвого осла?! — сколько ни пыжься, ни надувай щеки...

Слова — ерунда... слова он помнил.

Чайка сорвалась вниз, ухватив на лету кусок лепешки,

¹ Керы — Беды, даймоны зла.

брошенный с причала кем-то из зевак; и вдруг все стало просто.

Просто надо очень любить своего отца, Лаэрта-Садовника, Лаэрта-Пирата; надо очень любить свой остров — склоны Нейона, Кораксов утес, источник Аретусы, Безымянную бухту и Форкинскую гавань; надо очень, очень любить живущих здесь людей, тех, кто создает и укрепляет твой маленький мир — а значит, ты уже любишь и седину в кудрях незнакомого тебе досель Ламаха-Тритона! любишь скрип досок его корабля, любишь взгляды мореходов, которые верят итакийскому бацилею, отдаваясь под его покровительство! — это же так просто! любить, надо очень любить...

Одиссей вздрогнул.

Оказывается, слова явились раньше, чем он осознал их.

— ...верен своей клятве! И да будут благосклонны боги к твоим парусам; а земной покровитель не оставит тебя!

Ухо у кормчего было проколото заранее. Серебряная защелка серьги-капли легко вошла в расступившуюся плоть, со щелчком встав на место.

— Попутного ветра и свежей воды! От имени своего отца, бацилея Лаэрта, приветствую тебя, брат мой Ламах. Радуйся!

— Радуйся и ты, мой старший брат, Одиссей, сын богоравного Лаэрта! Клятва крепка. Попутного ветра и свежей воды нам обоим!

Ламах размахнулся и зашвырнул бронзовую статуэтку Старца Форкия далеко в воду. Команда загудела, слышались приветственные кличи. Мореходы знали смысл поступка кормчего: скорее бронза всплывет на поверхность, чем будет нарушена клятва.

Чайка ринулась за добычей, но опоздала.

Круги по воде.

Помню, тогда я широко, с облегчением улыбнулся кекрифалейцам. А в следующий миг увидел входящий в гавань корабль кормчего Фриниха — и знакомый треск на миг заглушил для меня все другие звуки.

Палубный помост качнулся под ногами.

Ко мне приближалась судьба под парусом, украшенным зеленой звездой.

АНТИСТРОФА-I **КОГДА БЫ НЕ ЕЛЕНА...**

— Радуйся, молодой хозяин! А я тебе новость спешувезу! Всем новостям новость, да!

Годы идут, а Коракс ничуть не меняется. Черней смолы (аж лоснится!), белозубый, все время скалится и без конца повторяет свое любимое «да». С новостями он первый: удача у эфиопа такая, что ли?

— Радуйся, Ворон! Давай, выкладывай! Опять кого-то женят?

— Угадал, молодой хозяин, да! В Спарте с берега плюнули, повсюду круги! Дядя Тиндарей, басилей спартанский, Еленку Прекрасную замуж выдает! Твой дружок Диомед как услышал, клич кинул: всем, всем, всем! Кто лежал, садись! кто сидел, вставай! кто стоял, беги! Со мной в Спарту бегом, да! К Еленке свататься!

Коракс игриво подмигнул, сверкнув белками глаз:

— Беги, молодой хозяин! Шибко беги, по морям, по волнам! Может, повезет, на Еленке женишься, да? Я бы сам, да Еленка, говорят, белей первого снега: не люблю!

Уже не палубный помост — причал дрогнул под ногами.

Словно весть о смерти великого Геракла успела обещать Ойкумену (...радуйтесь!!!), чтобы вернуться в чужом обличье.

Ударить плечом в опоры.

...Память ты, моя память! Сватовство, странный призыв Диомеда, его короткое письмо (да-да, кроме приглашения на словах, Ворон привез и письмо от аргосского ванакта!) — смута завладевала мной без видимых причин.

Диомед зовет.

Остальное — шелуха.

Диомед зовет.

— Это сколько же ей лет? Елене-то?! — Одиссей шатнулся, но устоял. Со стороны могло показаться: наследник изрядно пьян. — Если судить по ее братьям... Кастор Тиндарид был учителем Геракла! Выходит, Елене сейчас лет семьдесят?!

— Шестьдесят девять, — спокойно уточнил дама Алким, стоявший рядом и слушавший весь разговор. — Не возраст для богини.

Ну да, Елена ведь богиня... земная. Так все говорят. И храмы у нее есть, и алтари; и праздники особые. Раньше Одиссей не придавал этому значения.

— Дядя Алким... Она что, взаправду? И до сих пор молодая?

— Сам не видел, — усмешка Алкима напомнила ледяную сосульку: упадет, брызнет осколками. — Судьба милвала. Но, насколько я знаю: да. Впрочем, даже будь она страшнее Грайи-Старухи... Елена — это символ. Символ удачи, процветания. То-то сейчас все в Спарту слетятся. Как мухи... на мед, скажем.

Ворон осклабился, но ржать в присутствии дамата постеснялся.

— Я тоже еду, — решительно заявил Одиссей.

Хромец с удивлением вздернул бровь:

— Зачем? Жениться? Дружок, глупо вмешиваться в дрязги ванактов. Не про нас фиалку растили.

Однако следующая фраза рыжего огорошила даже невозмутимого Алкима:

— Я не собираюсь на ней жениться, дядя Алким! Чтобы жениться — надо любить... А я Елену даже не видел ни разу! Просто, понимаешь: Диомед зовет! Меня зовет! Письмо прислал, и на словах... И при чем здесь дрязги ванактов? Ну, Диомед — ванакт Аргоса. А в Златых Микенах ванактом — Эврисфей. Он же старый! Или он тоже жениться едет? А остальные? Они ведь не ванакты...

— О хитроумный Одиссей Мелихрос¹! — Алким развел

¹ Мелихрос — Чьи-Слова-как-Мед, Медоречивый.

руками с очевидной завистью: молодость, молодость... — Вяжемся, а думать после будем! Знаешь, устал я журавлем стоять... давай-ка присядем и начнем с дуба¹...

Эфиоп намек понял, сгинув без следа, а Одиссей с да-
матом опустили на грудь туюков с полотном.

— Когда речь заходит о Елене Прекрасной, любовь прячется в тень, — у Алкима лицо стало тяжелым, задержался уголок левого глаза. — Муж Елены сам отчасти общается к Глубокоуважаемым. А если он в придачу метит на трон... Когда ты ежедневно — нет, еженощно заставляешь стонать от счастья удачу с благоденствием!.. многие поддержат такого ванакта в объединении земель.

Одиссея тошнило.

Земля ходила ходуном.

— Время героев закончилось, мальчик мой; грядет время царей. А истинный владыка сродни герою: он должен быть один. Во всяком случае, он жаждет быть один. Эврисфей-Микенец в возрасте, тут ты прав — и, похоже, на старости лет окончательно выжил из ума. Не успел вознестись великий Геракл, как микенские полки встали у Афин: выдайте Гераклидов головой! Думаю, старого дурака умело подтолкнули, но это уже не важно. Скоро микенский ванакт сломает себе шею. После него на трон Златых Микен претендуют...

Хитросплетения интриг, нити ахейской политики, спутанные в безумный клубок... Знал ли я? да, знал. Но тем знанием, которое существует само по себе, отдельно от реальных будней повседневности. Я слушал. Понимая: с каждым услышанным, с каждым заново осознанным словом запутываюсь все больше, становясь частью клубка. И тогда я рванул из всех сил. Диомед зовет.

Остальное — шелуха.

Обрывки.

¹ Начать с дуба (аналог. «начать с камня») — пословица, чей смысл: «Начать с начала, с первопричины».

— ...претендуют братья-Пелопиды: Атрей и Фиест. Оба — редкие мерзавцы, что весьма полезно при борьбе за власть. Сейчас наверху Фиест, и Атрея изгнали из Микен. Уже с полгода он живет у своего друга Тиндарея, спартанского басилея...

— Отца Елены!

— Земного отца, — поправил дядя Алким. — Не забывай: земного. Стоит ли удивляться, что отцы, по примеру Глубокоуважаемых, решили судьбы детей? Агамемнон, честолюбивый наследник Атрея-честолюбца — и Елена, земная богиня... От искр погребального костра нынешнего ванакта Микен вспыхнет костер иной. И погасить его будет куда труднее.

Одиссей кивнул:

— А аргосскому правителю меньше всего хочется быть поленом в этом костре. Микены по сей день не признали (и не признают!) Диомеда ванактом. Быть войне. Если большинство поддержит богоравного мужа Елены — Аргос падет, открывая дорогу владычеству Златых Микен.

— Я всегда считал тебя парнем с головой, что бы там ни говорили другие, — рассмеялся Алким; и устроившийся за его спиной Старик хмыкнул с одобрением. — Твой приятель Диомед поступил мудро. По обычаю, где сватается один, должны принять и другого. Не обязательно носить диадему ванакта или венец басилея — любой отпрыск знатного рода имеет право участвовать. Скоро в Спарте будет не продохнуть от женихов. Только Итаке, по большому счету, нет дела до того, кто победит в противостоянии. «Пенные братья» и морская торговля нужны любой власти. Зато дурной крови на сватовстве не избежать...

— Меня звал Диомед! — вскочил рыжий.

— Он звал всех. Понял? — всех. В том числе и тебя. Дурачок! Твой Диомед — искусный политик, несмотря на молодость. Хочешь быть копьем в чужой руке? Ведь не маленький, должен понимать!.. особенно если тебя не греет мысль о ложе Елены...

О боги!

Политика, расчеты, поиски выгоды — тогда и сейчас, как бы я хотел возненавидеть вас! Но я не умею ненави-

деть. Я умею только любить. Я люблю тебя, дядя Алким! Мудрый дамаг — ты искренне хотел предостеречь наивного юношу; по-своему ты в итоге оказался прав. Брачное ложе грозило обернуться пламенем тризны. Но твоим убедительным рассуждениям, мой добрый Алким, не хватало простой малости.

Просто дружба.

Просто любовь.

Просто глупость; порыв без смысла.

Именно из этой кажущейся простоты, а не только и не столько из отцовского дома и Грота Наяд, из красногрудых кораблей и тучных стад, земли под ногами и богов над головой складывается то, что я теперь зову своим *Номосом*. И если в угоду иллюзорной безопасности я зажму сердце в кулак — не задохнется ли птенец сердца в мертвой хватке рассудка? Не убью ли я самого себя вернее, чем наишустрейший из троянских копейщиков, мечтающий о печени некоего Одиссея?!

К чему лукавить: если понадобится, я в состоянии обмануть, убить и предать. Диомед, сын Тидея — ты снаружи или внутри? Потому что иначе однажды я смогу обмануть, убить и предать — тебя.

Но не сейчас.

* * *

— ...Понимаешь, дядя Алким...

Рыжеволосый юноша почему-то глядел мимо дамат. За его спину и чуть правее. Хотя Алким готов был поклясться: там никого нет.

— Мне трудно это объяснить. Ты прав, а я не прав. Но я должен ехать в Спарту. Должен, и все тут. Ты мудрый, ты умеешь размышлять, предполагать и делать выводы. А я сумасброд. Мне дано лишь слышать, видеть, чувствовать и делать...

Дамат Алким сморгнул. Отвернулся; молчал больше минуты. И вдруг, совершенно неожиданно, кивнул. Одиссей даже глазам своим не поверил:

— Как?.. Ты согласен со мной?!

— Согласен. Во-первых, я не вправе удерживать силой взрослого наследника бацилея Лаэрта. А во-вторых...

— Что — во-вторых, дядя Алким?

— Пустяки. Гримасы судьбы. Когда-то, еще до рождения одного рыжего безумца, твой отец вот так же уплывал с Итаки. В бездну опасностей, перед которыми сватовство к Елене выглядит детской забавой. Лаэрт вполне мог остаться дома — никто бы не счел его трусом. Твой дед, тогдашний бацилей Аркесий, и мой отец, итакийский даMAT, долго уговаривали юношу отказаться от своей затеи. Я хорошо помню; я стоял рядом. Довод сменялся доводом, мудрость — рассудительностью. И вдруг, в какой-то момент, Лаэрт повернулся к своему отцу и просто сказал: «Понимаешь, папа, я должен ехать. Должен, и все тут!» На этом спор прекратился; вечером Лаэрт отплыл с острова. С того дня я знаю, когда надо замолчать. Это у вас в крови...

Он еще раз моргнул невпопад. Закончил еле слышно:

— Мальчик мой, ты даже представить себе не можешь, как тебе повезло...

Да, дядя Алким. Это у нас в крови.

Только не зови это — везением.

* * *

Собирались быстро и деловито. Одиссею казалось: хрустальное колесо времени вертится прямо вокруг него, вынуждая белкой мчаться по ободу — и это ощущение быстро передалось остальным.

Что нужно молодому жениху?

В первую голову, достойный корабль. С этим согласны все, а больше всех — славный кормчий Фриних. Хмыкает: гребцы — звери, парус заштопан, едой-питьем загружены. Хоть сейчас в море.

В голову вторую, чья главная обязанность сохранять лицо: достойное сопровождение. Где друг-Ментор?! сопит над планами Пагасейской верфи?! Отменить! Есть дела поважнее: ноги в руки, умыться-нарядиться, веселья в левый глаз подпустить — и сюда, на пристань. В Спарту

едем! Эврилоха даже искать не пришлось: тут как тут, и все понял с полуслова. Раздулся от гордости рыбой-шаром, умчался бороду подстричь. Это дело плевое, благо стричь толком нечего: вон, бежит обратно, красавец. Стриженный. Верному Эвмею и Филойтию с друзьями было не впервой преобразаться в сопровождающих важной особы. Еще Коракса им для пушей славы выделить: ни у кого в свите, небось, эфиопа нет, многие их вообще выдумкой считают, а у нас — пожалуйста!

— Еленку сватать едем! Уговорим, да?!

Да, эфиопская твоя рожа...

В третью голову, представительскую, нужны достойные дары. Незванный гость, да еще с пустыми руками, хуже этого... ну как его? Ничего подходящего для сравнения не нашлось, но дары нужны все равно. Пришлось слегка выпотрошить тайный склад в Безымянной. Что еще?

Ах да, собственно жених...

На сей раз и железный меч взять можно. И венец златой, базилийский — наследнику положено. Сёрга на месте, хитон новый, крепиды на ногах скрипят расчудесно; плащ зимней, серебряной зарей сияет — хорош, спору нет!

— Еленка увидит, чувств лишится, да!

Что да, то да.

Солнце, правда, к закату клонится, но это пустяки. Чай, не на лодке плывем — на корабле. Фриних днем ли, ночью, с закрытыми глазами дорогу найдет: ему каждый риф — брат родной.

Весла на воду!

* * *

Помню, только и успел сказать матери: «Уплываю в Спарту. На сватовство. Я люблю тебя, мама!» А вот что она сказала в ответ — не помню. Не пей много? береги себя? — нет, забылось. Обняла, кажется. А удерживать не пыталась. И не плакала.

По крайней мере, пока я ее видел.

Папа спал. Дышал ртом, храпел. Я постоял над ним, укрыл одеялом. Вылил остатки из кувшина: на пол. Пусть

считается божьей долей. «Х-р-р... х-р-радую-с-с-с...» — бормотнул спящий; заворочался, отвернулся к стене.

Спи, папа.

Зато Аргуса я твердо решил не брать. Отнюдь не потому, что пес загулял в порту: то ли местных сучек решил облагодетельствовать, то ли просто дрых в тенечке. Свистнул бы — примчался как миленький, даром что без ушей. Но куда мне на сватовство, в чужой город, где дуньплюнь — в базилейское чадо угодишь — с собакой?! Засмеют! Своих кобелей хватает; особенно двуногих. Или надумал невесту с собакой загонять?!

Сиди, дружок лохматый, дома.

* * *

— Проклятье! — в сердцах воскликнул новоявленный жених, когда корабль уже выходил из Форкинской гавани.

Кормчий с тревогой обернулся к рыжему.

— Жертву принести забыл! К Афине-покровительнице воззвать, — тоном ниже пояснил Одиссей, хмурясь. Кормчий-то не виноват. Кричи, не кричи...

Фриних лишь плечами пожал: в чем загвоздка? Любой корабль имел неперменный алтарь на кормовой полупалубе. А расторопный Эвмей уже волок из трюма бронзовый треножник, бурдюк с вином и невесть откуда взявшуюся клетку с тремя голубями. Корабль еще только разворачивался в виду острова, когда в треножнике вспыхнул огонь; отчаянно дернулась птица, чтобы обмякнуть в крепкой пятерне, и капли вина, зашипев, брызнули в пламя.

Слова мольбы были другие; убегая в эпигоны, рыжий молился не так. Да и сам он давно изменился. Одно оставалось неизменным: Одиссей обращался к богине не со словами просьбы, покорности или почтения, круто замешанного на страхе; но — со словами любви.

Не умел иначе.

Над островом за клубился туман. Сизый, будто голубь-жертва. Подсвеченный лучами закатного солнца. И в опаловой дымке, на вершине Кораксова утеса, рыжий вдруг разглядел женский силуэт. Эвриклея! — первым пришло в голову. И почти сразу:

«Нет! быть не может! Ах я, дурак... какой же я дурак!..»

Туман быстро сгушался, скрывая не только фигуру на утесе, но и саму Итаку. Мгновенье, другое — и мгла сожрала корабль. Солнце исчезло, задул противный боковой ветер, на снастях зеленым, мертвенным светом зажглись огни Диоскуров, предвещая бурю; и кормчий Фриних разразился короткими, лающими приказами. После чего еле слышно осведомился у Одиссея:

— Ты кому молился, базиленок?

— А-а... Афине!

— Может, другие боги обиделись, что ты забыл их помянуть?.. — задумчиво, скорее себе, чем Одиссею, пробормотал Фриних, теребя бороду. — Нас сносит обратно к Итаке! Только не к гавани, а северо-западной, к Аретусскому заливу. Сколько живу, такого не припомню...

Тем временем эфиоп с усердием раздувал угасший было огонь в треножнике.

— Посейдону жертву принесем, да? Дедушке Форкию, да? Эолу-Ветродную, да? Зачем мешают? зачем назад гонят?! Нам в Спарту надо, да!

Двое гребцов, оставив весло, кинулись на помощь к эфиопу; но корабль продолжало сносить в залив.

— Поворачивай! — Одиссей ухватил Фриниха за плечо; сдвинул что есть силы. — В море!

— Куда поворачивай?! — взъярился кормчий, охнув от боли. — Куда поворачивай, я тебя спрашиваю?! В Аид?! в преисподнюю?! В заливе пересидим, раз все равно туда несет! Обождет твоя Спарта, не сдохнет! Не бывало еще, чтоб Фриних не доплыл куда надо! И не будет! Понял? Только лучше до утра куковать, чем к рассвету на Хароновой ладье плавать!..

Туман дрогнул, поредел. Проступили лоснящиеся бока береговых скал. Кто-то бежал по тропинке к воде, явно спускаясь с Кораксова утеса.

Она?

Еще дюжина взмахов весел — и Одиссей узнал спешащую к берегу женщину.

Эвриклея!

Выходит, все-таки...

А рядом с няней, не обгоняя, но и не отставая, размеренно трусил лохматый гулена Аргус!

Впору было подумать: это женщина с собакой накликали непогоду, желая вернуть корабль к острову! Чушь, блажь! бред... Рядом самозабвенно молился эфиоп, вызывая (верней, взывая) ко всем морским и ветренным божествам, каких только мог припомнить. Клетка опустела, бурдюк иссяк, жертвенный огонь немилосердно чадил и лишь добавлял вокруг туману.

— Няня! что ты делаешь?!

Они не остановились у кромки прибоя.

Они бросились в воду.

С разбега.

...вспышка памяти. Озарение. Я помню тот миг, будто это было даже не вчера — сегодня. Творящееся в заливе безумное действо увиделось отстраненно: корабль рвет туман, чадит огонь на носу, завывает благочестивый эфиоп, плывут навстречу женщина и собака — все идет как надо! все будет хорошо! Тишина в ушах вместо опасного треска была залогом удачи. Взамен разлома скорлупы — беззвучный, знакомый стон, больше похожий на рычание влюбленной львицы: «Я тебя искала! искала! где ты был?! почему не позвал раньше?! Глупый! рыжий! сумасшедший...»

Или я слышу это лишь сейчас?..

— Женщина на судне — к беде...

— Может, не подбирать? Пусть назад плывет!

— Рабынь табунами возили — и ничего!

— Так то ж рабыни...

— А это кто?!

— Что — кто?

— И это тоже рабыня. Которая плывет. Басилея Лаэрта рабыня.

— А-а-а... Так бы сразу и сказал! Тогда конечно... Тогда вытащить надо: не пропадать же добру?

— И собаку?

— Поди его, облома, не вытащи!.. ухватит зубищами за корму, перевернет...

Одиссей стоял, слушал. Рассеянно улыбался чему-то своему. Эвриклея и пес были уже совсем рядом. Женщина выбилась из сил; теперь она держалась за Аргуса, который, казалось, и не замечал дополнительной ноши. С борта протянулось сразу несколько пар рук, рябого Эвмея гребцы спустили вниз, удерживая за щиколотки, чтобы он подхватил кусачую собаку...

Туман исчез разом, словно по мановению божественной десницы. Даже не исчез — отодвинулся, попятился к острову, скрывая от глаз берег. Зато морская гладь очистилась до самого горизонта, вспыхнув закатным золотом — и кипящий столб вырос от моря до неба, расплескав тучи.

Потом часть моряков с пеной у рта клялась: из пучины восстал сам Посейдон-Черногривый с трезубцем в деснице. Другие припоминали разное: венец, сверкающий алмазами, клочья бороды, косматые брови, гриву ездового гиппокампа... Почти все были уверены, что в громе опадающей воды прозвучало гневное: «Вот я вас!» — после чего мерзкие братья-ветры бросились врассыпную.

Последнее, кстати, было чистой правдой.

Но благоприятность знамения — единственное, на чем все сошлись однозначно.

И как раз в эту минуту на борт подняли Эвриклею с Аргусом.

— Чисто nereida! — ахнул один из молодых гребцов, глядя на женщину: намокшая одежда плотно облепила статную фигуру, давая возможность мужчинам полюбоваться всеми достоинствами бедовой нянюшки.

— А ты говорил: не подбирать! — ухмыльнулся гребец постарше, ставя точку в недавнем споре. — Поживи с мое!..

— Смотрите!

Корабль, распустив тугие паруса, уходил прочь от туманной Итаки, а на вершине Кораксова утеса, провожая и благословляя, путеводной звездой горел маяк! Лишь через десяток гулких ударов сердца до людей дошло, что им явилось в действительности: на утесе возвышалась сама богиня-воительница, в драгоценной броне, и случайный луч

солнца отражался от сверкающего наконечника копья, воздетого высоко над головой.

Богиня сулила благополучное возвращение.

— Афина! Афина Тритогенея! — пронесся по судну благоговейный шепот.

А Одиссей все переводил взгляд с мокрой Эвриклеи на богиню в вышине. Что-то до боли знакомое чудилось рыжему в осанке богини; что-то грустное и памятное, от чего сердце сжималось в кулак... Нет, не вспомнить. Солнце упало в дымку, сверкание копья угасло, и более ничего нельзя уже было рассмотреть во мгле тающего за кормой острова.

* * *

— Куда ж ты без нас собрался, молодой хозяин? Кто ж без свахи свататься едет?

Одиссею осталось только развести руками: оплошал, мол!

— Знаешь, няня... там дары в сундуках. Но, думаю, Елена как-нибудь перебьется. Выбери себе, что понравится. Ворон, покажи ей сундуки.

— Слушаюсь, молодой хозяин, да! — и, не договорив, эфиоп покатился от ловкой затрещины; впрочем, успев-таки мимоходом ущипнуть нянюшку за пышную грудь. Хохот гребцов, вперемешку с морской водой, стекал по плечам Эвриклеи царской мантией.

За ужином моряки единогласно решили: такова воля богов — взять на борт случайных пловцов. А как иначе объяснить, что сперва пакость на пакости, а едва женщина с псом оказываются на борту — тут тебе и море чистое, и ветер попутный, и Посейдон провожает, и Афина путь указывает!..

*Лишь много позже я узнал: все было не совсем так.
Совсем не так.*

* * *

Море.

Удивительная штука: все и ничего — одновременно.

Море...

Когда я стану жирным и дряхлым, внуки примутся терзать меня, взобравшись на колени:

— Деда! ну деда же! Расскажи, как ты плыл на Елене жениться! Деда! расскажи!

Я улыбнусь беззубым ртом. Приласкаю сорванцов и тайком, исподволь, переведу разговор на другое. Страдая одышкой, я буду вспоминать беды и злосчастья, проклятые дни и минуты кошмара во плоти, перебирая их, словно семейные драгоценности. Внуки завопят от восторга, а я обрадуюсь детской забывчивости, ибо ничего интересного не смогу рассказать им о плавании в Спарту.

Забавно ли рассказывать о дороге без приключений? ярком солнце? песнях разленившихся гребцов?!

Разве это стоит памяти потомков? — нет.

Это стоит всего лишь зависти живущих.

— ...ишь, взбрыкивает! — притворяясь, что сердится, заявил кормчий Фриних. — Выпорол бы ты его, что ли?

Мы как раз миновали Кипарисский залив и полным ходом шли мимо Пилоса — южнее, на Энусские острова. Фриних утверждал, что, если на то будет воля богов, к завтрашнему утру обогнем Пелопоннес и свернем на восток. Возник ленивый спор: где лучше высаживаться? Мнения разделились — одни полагали зайти в Мессенский залив, оставить судно в Малых Фарах, и оттуда по суше направиться в Спарту. Другие возражали: дескать, так придется тащиться перевалами лесистого Тайгета. И много лучше еще полдня идти морем, минуя мыс Тенар, до Лаконского залива — а там до Спарты рукой подать, и никуда карабкаться не надо.

Кто-то вспомнил, что у мыса Тенар находится один из земных входов во тьму Аида, и это слегка поколебало сторонников Лаконского залива — но их победа явилась из Пилосской гавани. Нас догнал корабль некоего Антилоха, местного жениха (знать бы, отчего он не двинулся сушей?), и, сложив ладони раковиной, сей Антилох прокричал нам последнее известие:

— В Лаконику! плывите в Лаконику, к Гифийской пристани! там встречают!..

Потом он отстал, и крики перестали быть слышными.

Примерно через час наш кормчий и бросил:

— Ишь, взбрыкивает!

Упрек относился к рябому Эвмею. На весла свинопаса не сажали, уважая свитский чин, но Эвмей еще в начале пути сам ухватился за весло и долгое время греб с нескрываемым удовольствием. Позже, когда мы шли только под парусом, свинопас мотался по проходу меж гребными скамьями наперегонки с Аргусом, запрыгивал на борт, вперевалочку бегая по узкому краю, козлом скакал через рукояти весел на одной ножке — он словно превратился в ребенка, искренне радуясь приволью.

Я никогда не видел его таким. Даже в минуты детских игр, когда он притворялся циклопом-людоедом. Плохо верилось, что это человек, который закрыл меня своим телом от солдат Калханта, а потом тащил на горбу по раскисшей дороге.

— Брось ворчать, Фриних! Пусть его скачет...

— Пусть скачет, — неожиданно согласился кормчий, садясь рядом со мной на ковер, застилавший полупалубу. — Я ведь не со зла. Так, для порядка. Глаз радуется... Знаешь, базиленок: это ведь я его подобрал, рябого-то!..

— Подбрал? Где ты его подобрал?!

— Где, где... у Неря на бороде! В море, где же еще! Про трезенских пиратов слыхал, небось?

— Которые Диониса обидели? А он их потом с ума свел...

Кормчий Фриних зычно расхохотался:

— Свел, базиленок, свел! Как тут умом не рехнуться, когда в трюме гора пифосов с прамнейским! — у купца с Икарии, мир его праху, одолжили... Я сам не видел, но ясное дело: сели трезенцы Диониса обижать, и наобижались до поросячьего визга. А вот куда они после делись, не скажу. Мне в те поры тридцать пятый годок стукнул, я уже кормчим ходил... встретил трезенский корабль в Миртойском море, на полпути к Криту.

Он перевел дух, собираясь с мыслями.

— Ребята еще молиться стали. Плывет навстречу судно, а на борту — никого! Только вино кругом разлито, дух

от корабля — в башку за стадию шибает! И еще этот блажит на все море, — кормчий мотнул головой в сторону Эвмея: свинопас как раз затеял кувыркаться через уставшую собаку.

— Погоди, Фриних! Ты его у трезенцев, что ли, подобрал?

— Ну да! Мы крюками подтянулись: думали, разделимся, отгоним судно в порт — не пропадать же добру! Перелезли, глядим: чисто! ни одного человечка. Лишь младенец верещит — ему тогда и полугода, наверное, не сравнялось... Где его трезенцы подобрали? зачем? чей сын?! — кто его душу знает!..

— Дурачина ты, Фриних! — крикнул Эвмей издали: подслушивал, мерзавец. — Говорил тебе: царский я сын!

— А не бог? — подначил кормчий.

Свинопас озадаченно почесался:

— Не-е... вряд ли. Рябых богов не бывает. Ну, может, капельку? Лучше сын. Царский! Только краденый! Из этого... как его?..

— Из Баб-Или! — заорал один из гребцов. Остальные мигом подхватили:

— Из Таршиша!

— Из Сидона!

— С Олимпа! прямо с Олимпа утащили!.. — упало сверху, из смотровой корзины, укрепленной на вершине мачты.

— Да ну вас, грязноротиков! — Эвмей притворился обиженным.. — Зато я в море, что называется, с молодых ногтей, не чета всяким!

— Это точно, — тихо подтвердил Фриних. — С молодых ногтей. Он на землю-то до пятнадцати лет и не сходил толком. Понесли было с корабля: задыхаться от крика стал, посинел весь... Оставили. Сперва думали: сам помрет, мы его в воде похороним, как полагается. Буря, а я его, голозадного, сухой лепешкой кормлю. Во время abordaja ни разу под злую руку не попался... пальчиком в небо ночью тычет: «Вон, мол, Волопас! вон Плеяды!..» Первого своего в пять лет заколол — бронзовым штырем от мачты...

Вспомнилось:

«У тебя есть нож, базиленок?»

Да, Эвмей, родства не помнящий — ты был уверен, что у ребенка должен, просто обязан быть нож. Теперь я понимаю. Ты ведь и сам: вечный ребенок. Никто из ниоткуда. Сиюминутность, готовая, если надо, тащить меня на плечах хоть на край света.

— Эй, раб! — крикнул я, и свинопас помчался ко мне, радостно ухмыляясь. — Ты чего буянишь? Знаешь, что с рабами-неслухами делают?

— Бью-ю-ют! — завопил Эвмей, подпрыгивая от неожиданного счастья.

И я стал бить нерадивого раба.

Прямо здесь, на кормовой полупалубе, на глазах у всей команды.

Восторгу гребцов не было предела.

* * *

Послезавтра днем мы вошли в Лаконский залив. Действительно, на Гифийской пристани людей было — не протолкнуться. Да и кораблей у причала... Колесницы все расхватали еще вчера, пришлось довольствоваться повозками, запряженными быками.

Нас ждали в Спарте.

СТРОФА-II

ДОВОЛЬНО СТРАСТЬ ПУТЯМИ ПРАВИЛА...

...Память ты, моя память! Отчего так бывает: вернешься, глянешь вокруг — а все краски выцвели. Напрочь. То есть, знаешь: багрянец! мертвенная синь! зелень весны! — но именно знаешь, понимаешь рассудком. Сердце молчит. А без сердца есть ли в мире краски, кроме черной да белой?

Отчего так бывает: чем больше вокруг соберется народа, закружит, завертит буйным хороводом — тем чаще мне становится *скучно*?!

Ночь перед отплытием.

Я брожу туда-сюда по темной террасе. Дышу скользким предчувствием рассвета. Остановился, хлебнул прямо

из кувшина; вновь брожу. Каждый шаг сам по себе, каждый вдох сам по себе. Каждый «я» сам по себе: вчерашний, сегодняшний, давнишний. Мы заполняем террасу телами. Нам всем тесно. Нам всем *скучно*.

Не плохо, нет! — я не это хотел сказать.

Я, я, я...

Отчего так бывает: возвращаясь в самое начало, в далекие дни, месяцы, годы, первым делом я влетал, оседлав гребень волны, в цвета и звуки, оттенки и отголоски — помните?

...Осень явилась самозванкой. Пышная, сияющая, она раскрасила деревья в пурпур и золото плодов; небо налилось особенной синевой...

...Тут тебе и хитрый изгиб, и полировка, и резьба — цветы всякие, и листики, в придачу разукрашены, как папина клумба! И накладки костяные, и даже тетива — подумай только! — разноцветная!..

...Своды грота озарились призрачной вспышкой — это полыхнуло ослепительной лазурью кольцо из пены...

Сейчас иначе. Особенно когда вокруг, сменяя ночь ожидания, встает день ожидания: Спарта, столпотворение людей, только и разговоров, что о прелести Елены — тенью за разговорами, сводя прелесть на нет, маячит главное: кому удача?! кого рвать станем?!

Почти нет красок.

Почти нет лишних, посторонних звуков. Да, блеют овцы перед закланием, ржут кони, оглушает гомон многочисленной челяди, повизгивают рабыньки, глашатай что-то орет про завтрашний выход бацилея Тиндарея к достойным женихам...

Слышу, не слыша.

Память избирательно скользит по лицам. Память-слепец: видит пальцами. Ощупывает. Я верчусь вьюном в самой гуще толпы, знакомлюсь, приветствую, улыбаюсь, отвечаю и спрашиваю, но это все пустяки. Почему? почему мне чудится: я складываю бревна в основание погребального костра?! Запоминаю каждую неровность, трещину коры, отличаю ясень от липы...

И еще: пронзительный голос аэда. Ангел, старый приятель, тут как тут: затесавшись в середину, поближе к вертелам с мясом, он терзает лиру, вереща славословия женихам. Сам спрашивает, сам отвечает.

Да, я слышу.

ЮГ ПЕЛОПОННЕСА. ПАКОНСКАЯ ДОПИНА. ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ЭВРОТ:

Спарта (Агонистический дифирамб¹)

— Кто сей, пред ратью ахейскою, муж и великий, и мощный?
Выше его головой меж ахейцами есть и другие,
Но столь прекрасного очи мои не видали,
Ни столь почтенного; мужу-царю он подобен!

...у него борода! Настоящая, темная. Вьется. Наверное, так легче скрыть вялый подбородок. А нос — всем носам нос! Кажется: глаза голубыми ледниками застыли по обе стороны горного кряжа. Слова цедит неохотно, по капле; не смотрит — взирает, не говорит — вещает.

Руку, однако, подал.

— Муж сей пространнодержавный Атрид Агамемнон,
Славный в Элладе, как мудрый владыка и доблестный воин,
Между передних свирепствуя, губит ряды браноносцев...

— Кто же, скажите, стоит молчаливо поодаль, взирая
На остальных женихов, будто яростный лев на овнов
тонкорунных?

...похож на старшего брата. Очень. Тот же долгомерный носище, прозрачность взгляда... Жаль, лед слегка подтаял. Блестит тайной слезой. Но — белобрыс, вроде Ментора. Безбород. Губы узкие, ниточкой. Шрам вместо

¹ Агонистический дифирамб — хвалебный гимн в честь участников состязаний. Собственно дифирамб (букв. Дважды Рожденный, первоначально — эпитет Диониса) является буйной песней-прославлением; агонистика же — соревнование первенства ради, с обязательным славословием герою-победителю.

рта, застарелый рубец. Солнце отшатывается от его бледных щек; синяя жилка бьется на виске.

И ноздри трепещут.

— Вождь Менелай, сын Атрея, всегда говорит, изъясняясь кратко;

Мало вещал, но разительно он — зато в битве из первых, Сердце героя наполнено смелостью мухи, которая, мужем Сколько бы крат ни была, дерзновенная, согнана с тела, Мечется вновь уязвить...

— Кто еще оный ахейнин, столько могуче-огромный? Он и головой, и плечами широкими всех перевысил!

...бык. Впрочем, нет: бычок. Венец туго врезался в лоб, выжимая капли пота. Налитые кровью глазки раздраженно шарят в поисках: кого б боднуть?! Странно: здесь он больше всех, а топчется неуверенным в себе мальцом, ежеминутно готовый ринуться доказывать свое первенство. Вот и сейчас: руку подал, а сам багровеет, пыхтит втихомолку — раздавлю! Не раздавит, но больно. Врать не стану.

Скажи такому: в Эврот с кручи прыгать опасно! — сиганет без раздумий.

— Муж сей — Аякс Теламонид, твердыня данаев!

Кто б ни желал, против воли Аяксовой с поля его

не подвигнет

Силой иль ратным искусством! И он не невеждой, надеюсь, Сам у отца в Саламине рожден и воспитан...

— Ныне поведайте, Музы, живущие в сенях Олимпа,

Кто средь мужей и любезен, и ликом приятен?

Думаю, он не последний из славных героев?

...виски-то совсем седые! Не старше прочих, но рядом с ним чувствуешь себя неловко. Предложить дружескую чашу? состязания в беге? — улыбнется краешком рта, и все. Когда ему кажется, что на него никто не смотрит, начинает грызть ногти. Привычка. А голос бронзовый. Гулкий.

Потому и говорит тихо: сдерживает.

— Это Патрокл Менетид благородный, чья участь прискорбна:
Друга случайно убив, был из дома родимого изгнан —
Нынче ж, неистовым духом подвигнут, явился он в Спарту...

— Хочется знать мне о том несравненном герое,
Плотию кто необилен; но взглядом донельзя свирепый!

...ишь, живчик! Ни минуты на месте. Сухой, туго перевитый жилами. Ударь по такому, не стоном — стуком отзовется. Вон, уже опять с кем-то задрался. Разнимают. А он щекой дергает. Гляди-ка: вырвался! ушел, не оглянувшись.

Нет, оглянулся: помню, мол! это я — коротышка?!
Встретимся еще на узкой тропинке.

— Малый Аякс Оилид, друг сердечный Аякса Большого,
Дротики мечет он, словно перуны — Кронион! и в беге
из первых,
Нравом же грозен: бессмертных и смертных равно
не страшится...

— Вижу я гордого духом, готового к славе и смерти
Мужа из дальних краев — только кто он? откуда явился?!

...очень смуглый. Еще немного, и привет ему от моего эфиопа. В талии узок, похож на шершня: не движется — танцует. Едва ли не первым ко мне подошел: «Попутного ветра и свежей воды!» И обождал, пока я отвечу. Серьгу в ухе теребил: капельку золота с жемчужной слезинкой. За спиной его критяне молчали. Эвмей среди них затесался: знакомца нашел.

А глаза у смуглого — девичьи. Ресницы черными стрелами...

— Зевс-Громовержец Миноса родил, охранителя
вольного Крита;
Мудрый Минос породил Девкалиона, славного сына;
Тот Девкалион родил сего воина — Идомея,
Море — отчизна его, и под парусом трон морехода...

— Кто же те двое, кто возле борцов иль кулачных
бойцов ожидают:
Буде какое несчастье — и рану залечат, и кровь остановят?

...оба румяные, кругленькие. Поросята. Такие хороши в старости: седенькая бородка, благостный взгляд. А пальцы длинные, гибкие, непрестанно шевелятся. Глянь, глянь! — плечо Полипойту, сыну Пиритоя-лапифа, что в царстве мертвых на камне за дерзость сидит, вправляют.

Рывок! бранится Полипойт! — больно.

А эти улыбочки на губах катают.

— Бог врачеванья Асклепий — родитель сих братьев,
Имя же им — Махаон с Подалирием. В снадобьях оба
искусны:

Яд ли губительный, зелье ль целящее — все им доступно...

— Можно ли все имена перечесть, в этом сонме великих,
В толпище гордых царей, что готовы схватиться
друг с другом,
Будто олени рогатые сходятся, самки взыскупа?!

— Многие здесь собрались: юный Талпий-эвбеец, Эвмел,
сын Адмета,
Что отказался сойти добровольно во тьму преисподней,
отца заменяя;
Братья Эпистроф и Схедий, Мегет, сын Филея, досель
никому не известный,
Пилосский вождь Антилох Несторид, Эврипил-аркадянин,
прекрасный собою;
Прочих же всех перечислить нет сил — всколебался народ
на женитьбу,
Много их в Спарте сошлось...

...жаль, Диомед еще не приехал. Сказали: завтра. Нас собрал, а сам задерживается. Неужели прав был дядя Алким: я — копьё в чужой руке?

Много их в Спарте сошлось, этих копий... неужто рука — одна?!

— Только позволь спросить напоследок: кто сей данаец?
Менее целой главой, чем великий Атрид Агамемнон,
Но, как сдается мне, он и плечами, и персями шире!

...это, кажется, я.

— Это, почтенные, есть Лазртид Одиссей многоумный,
Муж, преисполненный козней различных и мудрых
советов!

Если он тихо стоит или в землю глядит, потупивши очи,
Счесть его можно разгневанным мужем или скудоумным...

...сбежал! сбежал проклятый аэд! Пока я протискивался сквозь толпище, его и след простыл.

А жаль.

Ох, Ангел, дождешься ты у меня!..

* * *

Спарта бурлила. Никогда еще берега Эвроты не видели столько именитых гостей. Еще бы! Живую богиню замуж выдают! Что? За Агамемнона, сына Атрея? А почему, собственно, за него, носатого?! Чем я хуже?! У меня и папа — герой, и мама — герой, и двоюродный дедушка на Олимпе нектар хлещет!

В Спарту, немедленно в Спарту!

Женихи накатывались приливом, затопляя Лаконскую долину. В придачу каждый, норовя не ударить в грязь лицом, тащил обоз друзей, родичей, телохранителей и слуг; кое-кто на всякий случай прихватил жен и любовниц. Спарта, обычно весьма строгая и умеренная во всем, буквально трещала по швам, не вмещая прорву народа; челядь Тиндарея Спартанского с ног сбилась, норовя поспеть всюду, достойно встретить, разместить и накормить.

Хорошо хоть, о развлечениях приезжие заботились сами. Но спокойствия и порядка в городе это отнюдь не добавляло.

Большая часть женихов с их присными собралась на площади Диоскуров. Здесь уже вовсю шли состязания: звенели мечи, нарочно затупленные для подобных забав, утробно хекали кулачные бойцы, и шальные диски норовили расколоть случайное темечко. Страсти накалялись, любой спор грозил перерасти в серьезную драку — но пока боги миловали.

«Хорошо хоть, площадь у них побольше калидонской», — отметил Одиссей. Они с Эврилохом успели занять места в харчевне поприличнее, под навесом, с видом на площадь — и теперь прихлебывали изрядно разбавленное вино, наблюдая за происходящим. Время близилось

к полудню, в глазах рябило от новых лиц, язык болел от обмена приветствиями, а ладонь — от бесчисленных рукопожатий. Желудок мало-помалу намекал на что-нибудь посуущественнее вина. К примеру, на седло барашка с лепешками и зеленью.

Следовало торопиться. Судя по здоровому аппетиту гостей, барашки вполне могли иссякнуть.

Глаза Эврилоха горели. Парень впервые выбрался с Итаки — и сразу же с головой окунулся в надрывный разгул небывалого сватовства. Он уже успел дважды попытаться счастья: на мечях и в копейной схватке. Меч у Эврилоха выбили почти сразу (одно утешение — выбил сам Патрокл!), зато на копьях итакиец отличился и теперь жаждал вкусить кулачного боя. Вот только вино допьет, съест чего-нибудь и побежит вкушать. Это правильно, подумал Одиссей. Это верно. Лучше заранее: без зубов не очень-то пообедаешь...

Под столом дремал Аргус. Дергал лапой, принимался ловить докучливую блоху и, не поймав, засыпал опять. Суматоха утомила и его.

В толпе изредка мелькали Эвмей с Филойтием; разумник-Ментор ушел беседовать со спартанскими даматами, а няня и вовсе осталась в шатре. Итакийцы стали лагерем на речном берегу: базилейский дворец был забит до отказа, а селиться у знатных горожан Одиссею на удивление единодушно отсоветовали Ментор и кормчий Фриних.

Да и самому-то не больно хотелось.

По левую руку толпа зашумела, попятилась — видимо, давая место для нового состязания. Что творится внутри круга, было не разглядеть за плотным кольцом спин. Причем не одному Одиссею. Маленькая рыжеволосая девушка, одетая в нарядный, слегка поношенный гиматий цвета бирюзы, пыталась протиснуться между зрителями. Тщетно. Тогда она стала подпрыгивать, в надежде увидеть что-то поверх голов.

Сразу вспомнилось: Калидон, толпа на площади — и он, Одиссей, пытается высмотреть Диомеда, проклиная свой малый рост.

Одиссей поднялся из-за стола.

— Скажи, пусть несут жаркое. И зелени — побольше. Я сейчас...

Он сам не заметил, как оказался рядом. Прыгнул через балюстраду, и вот — уже стоит подле девушки.

Совсем молоденькая. Лет четырнадцать, не больше.

Возле такой чувствуешь себя Гераклом.

— Посмотреть охота?

— Ага! Там мой брат. Сейчас они с мессенцами канат перетягивать будут...

Огненно-рыжие кудри. Россыпь веснушек. Чуть вздернутый нос. Будто в ручей глядишься, на самого себя. Только глаза — широко распахнутые, зеленые, с золотыми искорками в глубине — чужие. Незнакомые.

...чужие?..

— Сейчас поглядим! — уверенно заявил Одиссей. Он еще не знал, что станет делать; но это было неважно. Сгрудились тут, понимаешь!

— Эй, богоравные!.. а ну-ка, посторонись! подвинься!..

— Куда прешь, лисенок? Твое место, знаешь, где? — рывкнул кряжистый бородач, оттирая Одиссея боком. И заржал с намеком. Хитон бородача взмок от пота — такие детины на жаре всегда обильно потеют. Вокруг народ тоже стоял стеной. Стало ясно: без изрядной потасовки не пробиться. А драться не хотелось.

— Не горюй, рыженькая! — улыбнулся Одиссей загрустившей девушке. — Становись!

И сцепил ладони в «замок».

Девушка, еще даже не успев понять, что задумал добровольный помощник, храбро поставила ногу на сцепленные руки. Мгновение — и она, вскрикнув от неожиданности, уже сидит на плече Одиссея (места ей там оказалось предостаточно!), а рыжий осторожно придерживает рыжую за талию — еще свалится, глупая!

— Теперь видно? — спросил снизу новоявленный Атлант.

— Ой! да... все видно! Спасибо...

Я очень люблю возвращаться сюда. В момент первой нашей встречи: чистый, незамутненный миг случайности.

Такие возвращения даются мне легче легкого — как легко было держать на плече зеленоглазую пушинку, совсем не ощущая ее веса.

Я мог бы простоять так целый день.

Я могу стоять так целую жизнь.

Память ты, моя память!.. Спасибо тебе за этот берег. За дар возвращаться вновь и вновь. За терпкий привкус будущей разлуки. Пустяк, ерунда; случай. Слово цепляется за слово, взгляд за взгляд... Много позже я осознаю: рушатся горы, высыхают моря, но пустыки остаются навсегда. Залогом бессмертия. Боги в менее тесных отношениях с вечностью, нежели банальность. Думаю, на Белом Утесе Забвения, по пути в царство мертвых, случайной рукой вырезано отнюдь не мудрое наставление потомкам. «Здесь был Клеосфен!» — криво начертано там. Здесь. Был. И вся мудрость. Прежде чем потерять память и безгласной тенью кануть в небытие — «Здесь был...» Навеки. Прав Далеко Разящий: все в мире очень просто. Надо просто очень любить эту девушку, этот огонь выющихся волос, милую россыпь веснушек, доверчивые изумруды глаз, хрупкую фигурку, которой ты однажды подставил плечо, не убрав его по сей день.

И не уберу никогда.

Это ведь очень просто.

Да, я любил многих женщин. И до, и после. Любил искренне, не умея иначе. Шептал: «Я люблю вас!», не кривя душой. Лишь тебе, моя случайная судьба, я никогда не говорил вслух: «Я люблю тебя!»

Мне было стыдно.

Как стыдно объясняться в любви самому себе.

— ...проиграли. Жалко!

— Ерунда! В другой раз выиграют.

Отпускать девушку не хотелось. Да и она не предпринимала попыток слезть. «Вот так и увезу ее на Итаку. На плече!» — мелькнула шальная мысль.

— А ты, гляжу, парень не промах! — осклабился да-

вешний бородач, поправив съехавший набекрень золотой обруч. — Помощь не нужна, лисенок? Девки любят, когда во все ворота...

Одиссей молча опустил рыженькую на землю.

После слов бородача хотелось пойти умыться.

— Передумал? Ну, тогда гуляй! Подержался, и будет с тебя. Эй, зорька, хочешь сына от настоящего мужчины?! На что тебе сопливый недомерок, когда рядом есть Филамилед, базилей шумного Лесбоса?!

Бородатый Филамилед покосился на Одиссея и с неожиданным проворством ухватил девушку за талию, привлекая к себе.

— Пошли! Любая рабыня почтет за счастье...

— Я не рабыня! — Девушка рванулась прочь. — Я дочь Икария! я — племянница Тиндарея Спартанского!

— Ишь ты! Всегда мечтал породниться со Спартой!

— Почтенные люди для этого засылают сватов, — Одиссей почувствовал: глаза его нехорошо щурятся. Будто на мишень смотрел. Ладонь же, как бы между прочим, легла на запястье наглого лесбосца. — Подарки дарят, если не скряги. По крайней мере, на Итаке, где правит мой отец, заведено так. Может быть, на твоём мног шумном Лесбосе другие, более достойные обычаи? Может быть, там с твоей сестрой способен развлечься любой золотарь? Или лесбиянки предпочитают вам друг дружку?!

Нянюшкина наука змеей вползла в пальцы. Свила кольца; ужалила. Охнув, Филамилед невольно выпустил девушку, которая мигом поспешила укрыться за спиной Одиссея.

— Это кто золотарь? Я тебя спрашиваю, рыжий недоносок! Я, лесбосский владыка — золотарь?!

— Я имен не называл, — пожал плечами Одиссей. — Но если ты сам так считаешь...

Толпа любит подобные шутки. Вон, смеются. Гаденько, со значением.

— Дерзишь старшим? считаешь себя мужчиной?

Одиссей вдруг ощутил: стремительно, с оглушитель-

ной скоростью удара молнии, на него валилась *скука*. Скучно... холодно... нет злости, раздражения, волнения тоже нет.

Черная бронза вместо рассудка.

Пустота взамен сердца.

— Считаю. Со дня пострижения, с четырнадцати лет. Хочешь, тебя постригу? Или сам пойдешь, куда Макар тельцов не гонял¹!?

В ушах нарастал знакомый треск. Шум толпы, слова оскорбленного лесбосца с трудом пробивались сквозь тайную броню; Одиссей мельком припомнил, что видит Филамиледа не впервые — забияка давно отирался во круг.

Искал повод для ссоры?

— Лови, лисенок!

Удар был не боевой — обидный. Тело ответило само, уклоняясь. Тяжелый кулак лишь слегка мазнул по уху.

Обжег.

— Эй, бросьте!

— Разнимите их!

В спорщиков вцепилось сразу несколько пар рук, и треск в ушах ослабел.

— В круг их, в круг!

— Состязание!

— Состязание!

— Ну как, лисенок? — осведомился Филамилед едва ли не с дружелюбием. Он походил на человека, достигшего цели, и в глазах лесбосца наигранная злость сменилась удовлетворением. — Выйдешь против меня?

Скучно.

Трещит Мироздание.

Судьба сильнее всех. Живи долго, мальчик...

— На чем состязаться будем? Может, из луков?

Хохот в ответ:

— Да ты смельчак, лисенок! В безответную мишень

¹ Обидный намек: Макар («Блаженный») был древним царем Лесбоса, о котором злословили, что сперва он был юродивым подпаском.

стрелы кидать — это для сопляков! Нет уж, давай по-мужски...

— Панкратион!¹ Панкратион! — в восторге завопили зеваки.

Скучно.

Холодно.

Дядя Алким говорил, на Истмиадах, Немейских играх и в Олимпии во время борьбы или кулачного боя слишком часто нарушались правила. Так родился панкратион — узаконенное дитя нарушений. Это значит: по-мужски. Задача атлофета-надзирателя лишь в одном: постараться не допустить серьезного увечья или смертельного исхода.

Если, конечно, успеет.

— ...не надо, — маленькая ладонь потянулась из-за спины. Робко тронула плечо. — Не надо. Пожалуйста.

Слезы дрожали в голосе рыженькой.

— Надо, — покачал головой Одиссей.

И треск скорлупы стал звоном металла.

ПАКОНСКАЯ ДОЛИНА, ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ЭВРОТ;

Спарта, площадь Диоскуров (Монодия)

...оболочка затвердевает, превращаясь в бронзу, она покрыта окалиной, и тяжкие хлопья падают под ноги: нам, зрителям, Идоменею-критянину, вызвавшемуся быть атлофетом — у него серьга в ухе, у него ладони правильные, морские, пастушьи, у него осиная талия и вместо походки танец шершня, это хорошо, наверное, это хорошо, если что, такой растащит, а дядя Алким шутит: после пяти лет участия в состязаниях панкратиаст не может претен-

¹ Панкратион — букв. «всеборье». Относительный запрет был лишь на укусы и выдавливание глаз.

довать на наследство, ибо даже ближайшие родственники перестают его узнавать!.. я боюсь? да, я боюсь, холодно и равнодушно, одетый лишь в скуку и бронзовый гул *Номоса*, мы оба голые, совершенно голые, я и Филамилед, так положено, мы оба голые, новорожденные младенцы, только я в бронзе, а он? в чем он?! не разобрать, и вдалеке, будучи одновременно снаружи и внутри, кричит рыженькая, это из-за меня, кричит она, это из-за меня, разнимите их, они убьют друг друга, и толпа ахает в предвкушении: они убьют друг друга? нет, быть не может! или все-таки может? а рыженькая задыхается, всхлипывая: из-за меня... она не понимает, что это не из-за меня, а из-за меня, что бронза гудит властно и оглушающе, и пьяные даймоны пляшут в висках, но она поймет, обязательно поймет...

— Начинайте!

...молоты бьют в гонг, без усталости и передышки, безумие захлестывает душу, ледяное, скучное безумие, рассудок взмывает над головой лунным диском, кругом овечьего сыра, вспорхнувшего в небеса, позволяя главное: не мешать телу жить, быть, видеть, чувствовать и делать, мне скучно и зябко, пока содрогания *Номоса* плетут кружева, сливаясь в единую громовую пляску, а слова куда-то делались, улетели на луну, все слова, какие есть под медным, гудящим небом, или нет, не все, вон, остались, звонкие, опасные, похожие друг на друга, как похожи копейщики в строю: ударил, отошел, схватил, вырвался, толкнул, вскрикнул, упал, покатылся... самые лучшие в мире слова ничего не значат, сила ничего не значит, боль, ярость, страх и умение сто́ят дешевле отбросов на скотном дворе — ценность имеет лишь гул бронзы вокруг меня, а покой там, где бронза молчит, там, где тишина, покой, безопасность, живи долго, мальчик, бормочет тишина сорванным голосом, я хочу покоя, я хочу тишины, я делаю тишину каждым мигом своей жизни, скрученной сейчас в тугую нить, каждым словом, оставшимся от мер-

завки-речи, каждым копейщиком в строю моего нелепого бытия: ударил — в тишину, отошел — в тишину, схватил тишину, вырвался из грома, толкнул — в тишину, вскрикнул от вопля бронзовой скорлупы, на миг окунувшись в раскаленный песок боли, упал — в тишину, покатился по тишине, мягкой, бархатной... туда, где мне будет дозволено творить из боевого грохота — беззвучие!.. воскнет в пальцах, проливаясь наземь, и локоть обрушится — в тишину...

— Разнимите их!

...Рассудок-луна покрыт зелеными пятнами: рот разбит в кровь, трепещут ноздри, ссадина на скуле напоминает очертания Кораксова утеса, провалы глазниц... во взгляде рассудка — мучительное желание понять увиденное, а Филамилед дышит тяжело, хрипло, в самое ухо, раз тишина, раз только хрип дыхания, вместо бронзового грома, значит, пусть дышит, значит, можно близко, я люблю тебя, Филамилед, я люблю тебя настоящей любовью, и пусть мои родственники больше не узнают меня, пусть я не смогу претендовать на наследство, но я тащу тебя туда, где тихо, где мое Мироздание успокаивается, заращая трещины; я — бью? ломаю?! нет!!! — я дарую тишину, благу милостыню, а рассудок все глядит вприщур, пока понимание не опускается свежим, хрустящим от первого мороза покрывалом: ты раб, Филамилед, лесбосский базилей, ты раб! раб своей силы, жилистых ног и волосатых рук, раб зрелого возраста, не позволяющего спасовать перед сопляком, раб гордыни, раб толпы, ахающей вокруг тебя так же властно, как гремит вокруг меня металл *Номоса*; раб огромных долгов Лесбоса за поставки цветного мрамора из скиросских каменоломен, за гермионский пурпур, льняные полотна из далекого Айгюпто-са — раб того, кто пообещал оплатить твои долги, если ты, раб, исполнишь обещанное, пустяк, безделицу... ты пыхтишь, Филамилед? тебе больно?! ты подумываешь отступить, не исполнив воли хозяина?! — нерадивый, зарвавшийся, плохой раб...

— Бей рабов!

...и вскоре пришла тишина.
Всюду.

АНТИСТРОФА-II

ТЕНИ ВСТАЮТ С ЗЕМЛИ

— Диомед! Радуйся, Диомед!

Это уже завтра. Утро. Это уже я отлежался. Спасибо нянюшкиным рукам: с вечера замесили тестом, на рассвете поднялся пирогом! Правда, с корочкой: скула вот, губа нижняя, еще на боку... А лесбосца его люди домой увезли. Я их проводил до излучины; заверил, что зла не держу. Пригласил в гости заезжать. На Итаку. Рады, мол, будем, примем как родных. Если что, мы корабли пришлем. Сколько надо, столько и пришлем. А они сразу прощаться стали. Спешили, наверное. И Филамилед прощался, с носилок. Ему говорить трудно было, он глазами прощался. Одним глазом, правым; который заплыл не до конца. Славный, в общем-то, парень оказался. Ладно, — смотрит. Бывает, — смотрит.

Ну ты зверь, — смотрит.

И еще чего-то смотрит, чего я не понял.

А едва я обратно вернулся, гляжу: скачут.

— Слушай, Диомед, я так рад! Тут такое! Такое!..

— Такое! — Он с колесницы прыгнул, за руку ухватил: — Ну, чего, женимся?

Прежний он был, Диомед, сын Тидея. Калидонский. Гибкий, быстрый. Взгляд синими зарницами полыхает. И улыбка. Только за десяток стадий чувствовалось: ванакт.

Хозяин.

Дядя Алким спрашивал: «Хочешь быть копьем в чужой руке?»

...Я, Диомед, сын Тидея, ванакт Аргоса, Арголиды и всей Ахайи, повелитель Тиринфа, Трезен, Лерны, Гермियोны, Азины, Эйона, Эпидавра, Масеты и Эгины Апийской...

Рука в руке.
Копье в руке.
Хочу ли я?!

...хлопнул Диомеда по плечу. И звон металла резанул сердце: опять?! Ф-фу, глупости... просто медь ударилась о медь: кольца на ножнах — о колесничный обод.

Иногда я готов проклясть наследство своей крови. Но все-таки: хотелось рассказать ему обо всем. Взхлеб, путаясь в словах, как мальчонка — в подоле одежды на вырост. Новые знакомства, вчерашняя ссора с лесбосцем, а рыженькая возьми да исчезни... даже не попрощалась!.. Хотелось рассказать. А я стою; молчу. Почему я молчу?

И, поперек молчания — пронзительный вопль глашатая:

— Тиндарей! богоравный Тиндарей Спартанский! призывает!! богоравных женихов!!!

Короче, некогда лясы точить.

Пошли жениться.

* * *

...память ты, моя память!.. я вернулся.

В сонме других женихов я торчу столбом перед ступенями дворца. Равный среди равных. Богоравный среди богоравных. Духота; острый, звериный запах пота смешивается с кипрскими благовониями. Над ухом утробно сопит Аякс-Большой. Сейчас ему будут показывать Елену Прекрасную. Земную богиню. Набычился Аякс, разбух от крови по жару; не мужчина, живой фаллос. Меня за бок лапать стал: от волнения плоти.

Отодвинулся бы, да некуда.

Тесно.

— Радуйтесь, мои дорогие гости! Радуйтесь, богоравные! Великое счастье пришло в мой дом! Счастье!..

Стар базилей спартанский. Дряхл. Не человек, руины. Кашляет, плюется. От счастья, должно быть. Явилось оно в дом, стоглаво, стотело: вот-вот само себя на много счастлишек рвать станет. А там и охрана подоспеет, пособит...

Моргает базилей. Утонули глазки в черепаших глазницах; гноем в уголках закисло. Слезятся. Пальцы веточками акации роются в грязной бородачке. Наверное, ищет, что бы еще сказать.

О, нашел:

— Настал час выдать замуж мою... э-э-э... Елену, Елену Прекрасную... э-э... гордость земли нашей...

Не слова — каша. А вышло, будто кремень. Высеклись искры из жениховских венцов. Высеклись искры из юных, вожделеющих взглядов. Зажглось незримое пламя, пляшет над толпой; Черная Афродита топчет души босыми ногами, а душам то в радость. По всему ахейскому *Номосу*, год за годом, двое мальчишек играют в песке — выросли мальчишки, налились жаркими соками, порченной кровью: легкой, серебристой! Сошлось в Спарте поколение обреченных: безумные, разумные... сейчас, сейчас!.. Я и сам было вперед подался, да отвлекся. Почудилось: стоит рядом кучерявый насмешник. Головой качает. Нос брезгливо морщит: воняет ему здесь.

«Дурак! дурак!..» — знакомый шепот в уши.

— Телемах? ты?!

Зашикали на меня. Вот же невежа итакийская! Тиндарей-базилей, и тот сбился. Зажевал, зачавкал:

— Сейчас же прошу... э-э-э... гостей, дорогих гостей на славный... славный...

Ну на пир, на пир просишь! Давай, рожай! Жаль: чудо было, и сгинуло. Стою как оплеванный. Все ждут, всем дивно, а мне смутно: шарю глазами — кучерявый? где ты, Далеко Разящий?!

Наверное, солнышком голову напекло.

Прозевал я Еленин выход. Только и взмыло кругом, голубиной стаей:

— А-а-а-а-а-х!

Привстал я на цыпочки, Аякса отпихнул: да вон же! на ступенях! Маленькая женщина, вся в голубом, золото волос на плечи льется. И тут меня ударило. Наотмашь. Вся бронза, что в бою с Филамиледом вокруг гремела, за праздник показалась. Ослеп я, оглох; умер. Стою мерт-

вый. Беспамятный. Лет триста мне, не меньше. Руки ходунном ходят; поджилки трясутся, в глазах — толченый хрусталь. Не вижу я Елены. Женихи в сто глоток: «А-а-а-ах!» — а у меня дыханье сперло.

Я другое вижу, сквозь хрустальную крошку.

Сквозь слезы.

Насквозь.

Тень маленькой женщины сперва на ступенях лежала, складками — поднялась. За Еленой встала. Женщина маленькая, тень большая. Под самый фриз, с инкрустациями синей эмали. Женщина светлая, тень темная. Хуже моего эфиопа. Старуха. Крылья за спиной кожистые, злые. Подрагивают в нетерпении. Легли ступеньки под черные ноги колесницей; обернулись женихи драконьей стаей, добровольно впряглись — рванутся, понесут, не разбирая дороги! Гони! в левой руке у тени плеть, в правой — уздечка, на поясе — меч да весы...

Один раз отмерить, семь — отрезать.

— А-а-а-а-а-х!

— Елена!

А я Елены не вижу. Так, еле-еле. Что я, рыжий? выходит, рыжий. Они все с Еленой, у них обожание, восторг у них заполошный, а я, рыжий безумец, с черной Елениной тенью-старухой — лицом к лицу.

Один на один.

...Хорошо в толпе: захочешь, не упадешь... некуда падать.

* * *

Возвращаться трудно. Почти невозможно. Рвусь из цепких объятий тайного моря, любой глоток воздуха грозит стать последним, и водоросли прошлого опутывают душу. Я не такой, как все. Разумные, безумные... это слова, а слова ничего не значат. Я бреду пешком, слепец, глупец, я волочу за собой молчащего Старика — подкажи! ответь! убей, но ответь!!! — а по Спарте вскачь несется дикая колесница, запряженная драконами в венцах, золо-

тых и серебряных, и за спиной возницы-тени плещут злые крылья. Ярят драконов, бесят хуже плети. Огнем и дымом из зубастых пастей:

— ...такую Агамемнону отдать? Никогда!

— Костями ляжем!

— Стеной встанем!

Зачем я приехал сюда?! Незнакомые люди становятся драконами, знакомые люди становятся знакомыми, частью меня, это больно, это страшно, и хочется упасть под колеса, лишь бы озверевшая упряжка пошла боком... завертелась!.. остановилась.

Но мне не дано падать под колеса.

Если нужно будет убить — я убью. Если нужно будет предать — я предам. Если нужно будет спасти — я спасу. Себя, а значит, их. Всех; не всех; никого, кроме себя. Я не знаю, как, но это не имеет никакого значения. Как не имеют значения имена тех, кого понадобится убить и предать ради спасения.

Номос важнее предрассудков.

— ...чтобы все по обычаю!

— Ристания! На колесницах!

— И на копьях, и на копьях чтобы! И лук!..

Тяжелая рука опустилась на плечо. Остановила:

— Что ты видел?! Малыш, что ты видел?! Почему ты один не кричишь: «По обычаю! Не отдадим!...»?

Я не знаю этого человека. Раньше мы не встречались. Средних лет, плотного телосложения. Без венца. Одежда в пыли. Жених? вряд ли. Он смотрит на меня так, будто хочет вывернуть наизнанку и узнать: что там, внутри?!

— Они кричат совсем другое, — ответ родился сам. Одиссей плохо понимал, что говорит. И на «малыша» не обиделся. Его рвало словами, будто желчью. — Они кричат: «Мне! мне!! только мне!!!» Вот что они кричат на самом деле. И злые крылья рвут небо над Спартой...

Опомнися.

Вдохнул со свистом.

— Кто? кто ты такой?!

— Протесилай из Филадельфии. Я только что приехал.

Имя странного человека ничего не говорило Одиссею. Приехал. Только что. Значит, жених. Значит, завтра или уже сегодня он будет кричать вместе со всеми: «По-честному! Победителю!» — на самом деле крича: «Мне! Только мне!..»

— А я — Одиссей... с Итаки...

— Я знаю. Мне сказали. Малыш, ты видишь? ты действительно видишь?! Проклятье, почему ты так молод!..

Одиссей отшатнулся. Казалось, удивительный Протесилай сейчас схватит его за грудки и начнет трясти, пытаясь состарить — потому что нужно куда-то бежать, что-то делать, а он, Одиссей, слишком молод...

Солнце рассекло надвое стайку облаков, и короткая, нелепая тень зашевелилась под ногами Протесилая из захолустной Филадельфии. Смяла песок. Смех хрипло вырвался из груди итакийца. Нет, но ведь смешно! правда, смешно! У взрослого человека тень — ребенок... лет пять, может, шесть!.. Тень-дитя. Корячится на солнцепеке, молит отпустить, в холодок... А у самого Одиссея, у *малыша*, иная тень — Старик.

Смейтесь!

— Ты ничего не понимаешь, мальчик! Ты видишь, но не понимаешь! Микенский трон опустел, диадема катится по земле, ожидая, кто нагнется и подберет! Эврисфей, ванак Микен, убит Иолаем-Копейщиком, и теперь...

Протесилай осекся.

Потому что Одиссей подошел к нему вплотную.

— У тебя детская тень, — доверительно сказал рыжий. — У Елены крылатая, а у тебя — детская. Тебе говорили об этом? И еще: я не умею понимать. Я сумасшедший. Тебе об этом тоже не говорили, да? Я умею лишь слышать, видеть, чувствовать и делать...

Ужас отразился на лице Протесилая из Филадельфии.

Но Одиссей уже не видел его лица. Отвернувшись, он брел наугад, хохоча во всю глотку. Тень-дитя! тень-Старик! тень-безумие!.. драконы несут колесницу в пропасть:

«Мне! мне, единственному!...»; мышцы копошатся на опустелом троне Златых Микен, подбирая крошки власти, и какая-то карга, держа на коленях голову мертвого ванакта, выкалывает ему глаза вязальными спицами, а дядя Алким говорит, что глупо быть копьем в чужой руке, он ничего не понимает, этот Алким, он не знает, что просто быть — еще глупее, когда можно не быть, не быть, не...

Можно.

...позднее Эвмей рассказывал: они подобрали меня у общественной лесхи¹. Заташили внутрь, в прохладу. Лесха пустовала, если не считать мертвецки пьяного бродяги у дальней стены; и няня Эвриклея мигом принялась колдовать над питомцем, попутно кляня болванов, отпустивших мальчика без присмотра. Эврилоха, как самого быстрого, погнали в лавку за снадобьями. Филойтий распалил очаг, закипятил воды в чьем-то шлеме — а я все смеялся.

Тихо, радостно.

Потом перестал.

* * *

Слезятся глаза. В голове Гефестова кузница. Нет, я не могу на нее смотреть! не могу!..

— ...очухался.

— Тебе лучше, молодой хозяин?

Ладонь сама скользнула к глазам, прикрыла. С некоторым усилием удалось приподняться; сесть. Мир вокруг качнулся, обретая четкость. Это просто послеполуденное солнце: упало во дворик лесхи, спит. Просто солнце.

Я люблю солнце.

И шумит не здесь — за стеной, снаружи.

Толпа шумит.

Я люблю толпу, растревоженное осиное гнездо... Дио-

¹ Лесха — общественное помещение, где иногда устраивались собрания и где постоянно собирались местные жители, дабы поболтать и обменяться новостями; в лесхах ночевали бродяги и бездомные.

мед! Он ведь остался там, на площади! среди драконов! Они ведь сейчас... с обрыва!..

Вскочил. Слабость отпускала, и в голове прояснилось. Только горчил на губах отвар, которым отпаивала рыжего Эвриклея.

— Ты куда, молодой хозяин?!

— Надо. Спасибо, няня!

— Не за что...

Остальные промолчали. Просто двинулись следом, не отставая, сбившись в маленький, плотный кулак. И няня пошла со всеми, больше ни о чем не спрашивая.

Город ударил в уши многоголосьем, лязгом доспехов, беспорядочным шарканьем сандалий. Люди стягивались в кучки, где поменьше, где побольше, с подозрением косились друг на друга; к кому-то уже спешил десяток тяжело-вооруженных воинов — гетайры личной охраны.

Драконы несли колесницу.

Диомеда, окруженного телохранителями, Одиссей приметил издалека. Подошел; почти подбежал. И что же? Ванакт Аргоса, который сейчас должен был объединять сторонников и строить козни врагам, преспокойно разговаривал с какой-то девицей! Стройная фигурка, волосы темной меди, грудь вздымается от волнения — девушка в чем-то пыталась убедить ванакта, а тот никак не убеждался.

— С кем это ты? — выпалил Одиссей без раздумий. И мигом спохватился:

— Радуйся, красивая!

Диомед запнулся на полуслове; замер едва ли не с открытым ртом.

— Ой! — это девушка.

Ну вот, напугал. Еще бы: налетел незнамо откуда рыжий вихрь, да как гаркнет из-за плеча! Тут сам Зевс испугается.

— Не бойся, красивая! Мы с Диомедом друзья. Я Одиссей, с Итаки. А ты откуда?

Кровь бросилась в лицо. Потому что девушка во все глаза уставилась на него, Одиссея! Улыбается:

окончательно рехнулся?! Вот переулочек, вот шершавый бок каменной изгороди, тяжелые ветви олив... Вот приближается какой-то бродяга... и тень у бродяги как тень, ничего особенного... а Арсиной нет!

— Богоравный! Богоравный герой! Радость, радость-то какая!..

Бродяга подошел ближе, разом превратившись в старого знакомого. Ну, Ангел! ну, словоблуд! попался!!! Неужели он мою куртку спугнул? В любом случае, самое время припомнить гадкие стишки...

— Это, значит, меня можно счесть скудоумным? Так-то ты спасителя воспеваешь?! в благодарность?

— Обожди, богоравный! — поспешно вскинул руки аэд. — Ты ведь не дослушал дифирамб! Сейчас, сейчас...

Он лихорадочно извлек из заплечного мешка лиру, ударил по струнам:

— ...Но когда издавал он голос могучий из персей,
Речи, как снежная вьюга, из уст у него устремлялись!
Нет, не дерзнул бы с могучим никто состязаться словами!..

— Вот! а ты сразу драться! — гордо заявил Ангел.

Сын Лаэрта махнул на аэда рукой:

— Ладно. Считаю, выкрутился. Ты лучше вот что мне скажи: девушку не видел? Рядом со мной стояла...

— Нет, богоравный. Она ушла куда-то? Пойти поискать?

Одиссей посмотрел в честные глаза аэда и понял: правды не добьется. Может, действительно не видел. Может, врет.

Но сегодняшний день встреч не закончился.

— Радуйся, Одиссей, сын Лаэрта! Наконец-то я тебя нашел!

С другого конца переулочка бежал запыхавшийся юноша-ровесник — поджарый, загорелый, кожа лоснится, будто маслом намазана. А волосы — соломенная шапка, из-за чего в первый миг юноша показался Одиссею седым. Нет, конечно, просто волосы на солнце выгорели.

— Я Алет, сын Икария. Отец благодарит тебя за спасе-

ние чести его дочери Пенелопы и просит быть его гостем! — без запинки выпалил юноша.

«Значит, ее зовут Пенелопа!»

Огонь кудрей, зеленые глаза с золотыми искорками, россыпь веснушек... В груди сладко заныло. А эти охломоны по Елене убиваются! Оглянитесь вокруг, богоравные!..

— Радуйся и ты, Алет, сын Икария. Для меня будет честью посетить дом твоего отца.

— Тогда идем! Я провожу.

Прямо сейчас? А почему бы и нет?

Одиссей огляделся и увидел рябую физиономию Эвмея. Свинопас подглядывал из-за угла. Наверняка остальные там же прячутся.

— Надеюсь, твой отец не будет возражать, если я приду не один?

— Конечно!

— Тогда — веди.

И, рябому соглядатаю:

— Вылезайте! Нас приглашает к себе достославный Икарий, брат базиля Тиндарея.

* * *

Море памяти. Туман глухих бухт и зимние, выцветшие островки чередуются с яркими, будто умытыми ливнем берегами.

Идем через наш лагерь: это оказалось по дороге. Дом Икария — за городом, в долине реки. Очень кстати: прихватили дары — негоже идти в гости с пустыми руками. Да и переодеться не мешает. Эвриклея — с нами. «Кто тебя, молодой хозяин, отпаивать будет, случись что? Как днем?» И ведь права няня.

Только дорогу я все равно не запомнил. Иду — а внутри очаг тлеет. Тепло, по-домашнему. Словно вечер, а я сижу, отдыхаю. Когда рыженькая удрала, не попрощавшись, грустно было. Муторно. А сейчас — спокойно. Наверное, я бабник.

Не заметил, как пришли.

Всю дорогу, сквозь тепло и покой — одна мысль. Одна, страшная: что сделал бы на моем месте Геракл? Убил бы Елену?! У мысли злые, кожистые крылья... ки-ш, проклятая!..

СТРОФА-III

**НУ, ЭТИМ ЗЕЛЬЕМ Я ТЕБЯ ПОДДЕНУ —
ЛЮБУЮ БАБУ ПРИМЕШЬ ЗА ЕЛЕНУ!..¹**

А в дом нас не пригласили! У разошедшихся ворот встретил плешивец-слуга (не разобрать, раб или свободный; видно лишь, что сильно навеселе!) и возвестил, икнув:

— Радуйтесь! Богоравному Ик-карию надоела духота мегарона, и он умоляет дорогих гостей пожаловать в долину, к реке!

Клянусь Дионисом, мне это понравилось! Церемонии, напыщенность здравниц, чинные трапезы, когда кусок в горло не лезет... в Тартар их!

Молодец Икарий!

Он и вправду оказался молодец: встретил по-нашему, по-пастушьи. Холстина расстелена прямо на земле. Щербатые чаши из ольхи. Закуски на скорую руку: холодный свиной бок, порезанные дольками яблоки, блюдо томленого лука, обильно сдобренного лавром. Вместо богатства — радушие. Улыбки вместо постных рож. Амфоры не из подвала — вон, под кручей, в реке охлаждаются! И благоухают на всю округу, дожариваясь, молоденькие барашки.

Слюны полон рот.

Аргус и вовсе решил: на собачий Олимп попал. Все на земле, значит, можно! жаль было пса разочаровывать.

Сам Икарий встал навстречу. Брат спартанского бацилея разительно отличался от развалины-Тиндарея, из которого разве что песок не сыпался: телом дороден, румян, на язык легок и явно не дурак выпить. Неразбавленного, как выяснилось позже. А ведь ему, по меньшей мере, восьмой десяток... пошли нам боги такую, воистину зеленую старость — бодрую, полную сил!

¹ Гёте, «Фауст».

Пятеро сыновей. Старшему около тридцати, не больше. Дочке Пенелопе — четырнадцать. Мне рассказывали: с Икарием, как жена, живет напея — долинная нимфа. Детей ему рождает. Если кому завидовать, так это человеку, на исходе лет способному увлечь нимфу не на ночь, не на день-два — на десятилетия.

А мы: подвиги, подвиги...

* * *

— Радуйся, Одиссей, сын Лаэрта! — Зычный голос хозяина вспугнул селезня в осоке. — Ну ты герой: назвали сопляком — сразу в зубы! Это по-нашему! по-геройски! Ладно, шучу, шучу!.. Эй, Пенелопчик! доча, благодари защитника!

Девушка, заворачивавшая подогретый сыр в лепешки, обернулась — и в глаза Одиссею будто солнцем плеснуло.

— Ишь, рыжехвостые! оба! Я ли на Итаке гостил, Лаэрт ли к нам заезжал?! Доча, ты чего?! Или не рада?

— Рада. Безумно, — и веснушчатое солнышко быстро, надеясь, что остальные не заметят, показало Одиссею язык.

Сын Лаэрта обиделся, но виду не подал.

У самих языки длинные: высунем, мало не покажется...

— Великая честь быть гостем богоравного Икария...

— Да ну! — отмахнулся почтенный старец. Сунул в рот маслину, косточкой плюнул в Эвмея; не попал и густо расхохотался. — Запел, щегол?! Великая честь, да сесть бы да съесть... Лучше делом займись, а то мои дорогие сыночки до ночи проваландаются! Нарожал, понимаешь, криво-руких! помру, за год не похоронят!

Пятеро дорогих сыночков и ухом не повели: привыкли, должно быть, к шуткам папаши. Завертелось: сбрызнуть вином жаркое, очистить гранаты, раскидать в миски обильно перченную требуху, вертел покрутить... стряпухе-рабыне пособить с горшками...

— Жаль, ваятеля нет, — вздохнула язва-Пенелопа, когда Одиссей принялся разделять барашка.

— Зачем, да? — вслух удивился эфиоп, увязавшийся со всеми.

— Запечатлеть в мраморе: великий герой побеждает жаркое. Небось прославился бы!

— Кто, баран? — Одиссей решил принять правила пока еще не ясной ему игры.

Мужчины дружно заржали, поддерживая собрата по оружию; Пенелопа фыркнула, но не нашлась с ответом и отвернулась. Икарий с укоризной взглянул на дочь, но, видя, что гость весело смеется, лишь рукой махнул: «Дурь играет! в мамочку уродилась, вертихвостка...»

— Дионис, Гестия! Хай! Как говорится, чем богаты...

Да уж видим, видим: не на широкую ногу живетсЯ бАсИлейскому брату. Однако: в брюхе-то урчит! и вино из дорогих — мендесийское темное, с легкой горчинкой.

— Удачи гостям!

— Благополучия хозяину с сыновьями!

— Доброго мужа его красавице-дочери!

А Пенелопа нахмурилась пуще прежнего. В сторону глядит.

Странно.

— Ну и как тебе, Лаэртид, та Гадесова похлебка, которую заварил мой достославный братец?

Малость осоловев от вина и жирного мяса, Одиссей лениво пожал плечами:

— Боюсь, начнут расхлебывать — едокам тошно станет. Только это ведь вроде Атрей-микенец сватовство затеял?

— Шиш с маком! — Икарий махнул толстой стряпухе, поскольку дорогие сыночки усердно вгрызались в жаркое: наливай, мол! — Кто такой нынче Атрей? сыночки его — кто?! Перекати-поле, зазнайки носатые. Только и славы, что отродье Пелопса, вралЯ и лицемера! Вот братец и колебался. Прикидывал, взвешивал... пока не помер.

— Помер?! — Кусок встал поперек горла. — Видел я его сегодня! живехонек!

— Ну, помер, не помер, лишь бы был здоров... — в груди хозяина загудело неуверенно, будто в пустом пифосе. — Хворал он сильно. Годы, сто лет в обед. Врачеватели отмалчивались, а там — в один голос: не жилец больше. Пора в Аид. Мы уж и к тризне готовиться стали. Вечером

к нему сиделка зашла — вылетела стрелой: не дышит! Пока бегала, пока родичей созвала, заходим в покои — братец на ложе сидит! Кашляет. И даже встать пытается, а ведь больше месяца — пластом... Чудо, кашляет. Боги, кашляет; великая милость. Сам Асклепий¹, мол, явился, или еще кто, но похож...

Икарий умолк. Сделал глоток. В полной тишине; лишь звенели цикады, да глупая рыба плеснула под кручей.

Все ждали продолжения.

— Очухался братец. Уж не знаю, из Аида его извлекли или так подняли — только с того дня заикаться он начал. А еще, бывает, остановится в коридоре и стоит столбом. Слепой, глухой. Потом очнется, давай всех мучить: куда, мол, шел? зачем?! Голова дырявая... Одно в башке, занозой: Елену замуж выдать. Сам к Атрею пришел, сам предложил. Атрей обрадовался, а братец вместо свадебного пира возьми да и раззвони от края до края...

— Вот и слетелись, — вставила Пенелопа.

— Кто?

— Да вы, кто ж еще! Женишки!.. кобельки богоравные...

— Пенелопчик! сгинь!..

— А что, папа, не правда? — Девушка наивно захлопала ресницами, но зеленые глаза ее при этом метали искры. Кажется, назревала ссора между отцом и дочерью. Почувствовав себя лишним, Одиссей уже начал подумывать о благовидном предлоге ретироваться — но помешал грохот колес от излучины.

— Это кого еще гарпии несут?

Повозка, запряженная измученной кобылой, остановилась совсем рядом, и наземь едва ли не кувыркком слетел возница.

Наверное, из людей Икария.

— Господин! — задыхаясь, выпалил он. — Там... там афинский гонец прибыл! Микены проиграли битву, все сыновья ванакта Эврисфея убиты... сам ванакт пытался

¹ Асклепий — бог врачевания; Паниасид в списках смертных, воскрешенных Асклепием, упоминает спартанского басилея Тиндарея.

бежать, но Иолай-Копейщик настиг его у Скиронидских скал... Трон!.. микенский трон...

Тишина. И — ровный голос молчавшего до сих пор Ментора:

— Микенский трон свободен. Значит, Атрей Пелопид с наследниками — больше не перекаати-поле. А войди в их семью Елена...

Ментор мог не продолжать. Микенское владычество, чей призрак с самого начала витал над безумным сватовством, на глазах обретало плоть и кровь. Диомед-аргосец в лепешку расшибется, лишь бы не дать сопернику овладеть символом удачи — значит, быть беде. И брани быть, и городам гореть, и женщины вина, а не богов, что сгинут и герои, и вожди... А ведь слышал уже эту новость!

Утром? днем?

— Слышал? От кого?

Вот тебе и раз! Вслух подумалось?

— Да встретил в городе одного человека. Тень у него еще... ладно, ерунда. Назвался Протесилаем из Филаки.

— Лаэртид! дурашка рыжая! Ты хоть знаешь, кто это был?

— Кто?

— Иолай Первый! Иолай-Копейщик!

— Возничий Геракла?!!

— Он самый.

Будь проклято мое зрение! будь прокляты тени, встающие с земли, проклятие звону в ушах и золотоволосой женщине на ступенях... Ведь рядом же стоял! Говорил с ним! О столько мог расспросить!

Если б знать...

Знакомый гул нарастал вокруг. Одиссей зажмурился — но гул внезапно отступил перед вопросом рыжей девчонки, которой было наплевать на всех Геракловых возниц и Протесилаев из Филаки, вместе взятых:

— А ты, богоравный Одиссей? Небось тоже рвешься в ванакты? Жаркое одолел, глядишь, и с престолом управишься?

Пенелопа откровенно дерзила, но дерзость была щитом для обиды. Малым щитом; не укрыться.

— Я? ванаком?!

— В приданое трон получишь. Хвостом к Елене! — гневно фыркнула девушка, нимало не заботясь бредовостью идеи.

— Да провались она пропадом, ваша Елена! Помешались на ней... Молятся на старуху! храмы возводят!.. придурки!..

Слезинка растерянно покатила по щеке дочери Икария, смывая веснушки. Бледная-бледная щека; чистая-чистая слезинка. Чуть слышный шепот:

— Ты... ты... она же красивая... самая!.. она же богиня...

— Говорю ж: помешались! Самая! рассамая... Не знаю, не разглядел. У меня от вашей Елены голова болит. А от тебя — выздоравливает!

Бледные щеки вспыхнули пожаром.

— Так ты что же, парень, не жених? — Икарий подавился яблоком.

— А вам без меня женихов мало? Спарта по швам трещит, а им еще подавай! хотите, эфиопа подарю?!

— Ты это... — не удержался старший сын хозяина. — Ты, понимаешь... а зачем тогда приехал?

— Зачем? — Одиссей подумал. Честно развел руками. — Не знаю! Меня и папин дамад пытал: зачем? что, без тебя не женятся? Понимаешь, Пенелопа, я сумасшедший... я, наверное, к тебе ехал...

Боги не смеются так на Олимпе, как рассмеялся веселый Икарий. Он хохотал долго, до слез, утираясь ладонью, вкусно булькая, хрюкая, брызжа слюной — глядя на него, заулыбались все. Пенелопа сидела потупясь, но щит был мал, и без труда виделось: рада.

Счастлива.

— Вот ведь дитя неразумное! — гаркнул Икарий, отсмеявшись. — Вот тебе и жених! Только не Еленин! А Пенелопчик сразу: дуться, обижаться... То-то я гляжу: он у тебя и герой, и спаситель, и красавец чище Ганимеда, а явился — слова доброго пожалела! Эх, молодо-зелено...

Совершенно пунцовая от смущения Пенелопа краем глаза покосилась на улыбающегося Одиссея. И уже открыто, не таясь, показала язык: острый, розовый.

Ну что ты с ней будешь делать?!

* * *

Костер отбежал назад, присел на корточки, став маленьким, встрепанным, еле заметным. Лишь отблески бродили вечерней долиной, пугая уток в камышах; да еще несло над дремлющим Эвротом, на крыльях хмельного ветра:

— Налей-ка, братец, вина мне в кубок,
Помянем прошлых, усопших пьяниц —
Пушай в Эребе теням безгласным
Легко икнется от нашей песни!..

Эвриклея со стряпухой отстали, не мешая молодежи сумерничать. Говорили о всяком; больше — о Елене. Само получалось: начнешь о пустяках, а выйдет — Елена. Новый Еленин пеплос. Новая прическа. Елена играет на кифаре: лучше всех. Скульптор приезжал, из Коринфа — Елену ваять собрался, для храма. Ну хоть одним глазком!.. говорят, изготовил статую и закололся, через день. Прямо у постамента. У Елены сандалии на тройной подошве, с каблучком. Клитемнестра, сестра Елены, примерила — чуть ноги не поломала. А Елене ничего. Ходит.

Говорили.

Постепенно оставался только этот разговор: слова, слова, слова. Остальное — вечер, речная сырость, хруст стеблей под ногами — входило в речь, словно меч в ножны, присутствуя без вмешательства. Даже песня вплеталась, не заглушая. Вечер, река, птичье бормотанье; двое идут берегом.

— ...отец намерен оставить тебя ночевать.

— Я и сам останусь. В первый раз, что ли? Ночь теплая, опять же костры... плащи постелем...

— Нет. Тебя отец положит в доме, отдельно от всех. Или на сеновале. А ночью пошлет меня к тебе.

— З-зачем?

— Глупый ты... Затем. Многие так делают. А отец хочет внука. И чтоб от порядочного человека. Может быть, я рожу второго Тезея?

— Странные вы...

— Ты против?

— Я? нет! то есть...

— Так нет или да? Ты не подумай, я не напрашиваюсь. Если не хочешь, говори прямо.

— А почему бы твоему отцу попросту не выдать тебя замуж? Если он так сильно хочет внука?!

— Нет, ты все-таки глупый. Попросту... если бы все было так просто! Чтоб меня замуж выдать, нужно разрешение басылея Тиндарея. А он его никогда не даст. У отца не меньше прав на спартанскую басылевию, у отца пятеро сыновей и я, а у Тиндарея остались одни дочери. Пифия сказала: их будущие браки прокляты Афродитой. В свое время, разрешая вернуться из изгнания домой, отца вынудили дать клятву: его сыновья никогда не станут претендовать на венец. А дочь выйдет замуж лишь по выбору басылея Тиндарея.

— Он уже выбрал?

— Нет. Он хочет, чтобы я стала жрицей в храме Артемиды Прямостоящей. Это значит: обет безбрачия. А отец хочет внука... хочет успеть...

— Не надо, Пенелопа. Не плачь. И пожалуйста: не приходи ко мне сегодняшней ночью. Я тебя очень прошу...

— Хорошо...

— Ты меня не поняла. Если ты придешь, я могу не удержаться. Ты лучше скажи отцу, что родишь ему внука. Обязательно. И — от порядочного человека. От меня. И така не очень далеко от Спарты, я пошлю корабль, и твой отец узнает одним из первых: у его дочери Пенелопы и зятя Одиссея родился мальчик. Вылитый дедушка: смеется и ест за троих!

— Рыжий... что ты говоришь, рыжий!.. а Елена?

— А что Елена? Пусть старушку берет кто угодно — не жалко!

— Ты еще глупее, чем я думала. Я буду молиться, чтобы тебе удалось вернуться на свою Итаку. Басилей Тиндарей никогда не разрешит тебе взять меня в жены. Он загонит меня в храм Артемиды, но я буду молиться и там. Ты просто не понимаешь, кто такая Елена... что значит для женщин Спарты: жить рядом с Еленой! Всегда вторые, всегда... мужа на ложе, в час любви, вспоминают ее: шла мимо! глянула искоса! на крепостной стене стояла! Старички пускают слюни: кудри! золотые кудри! Юноши изощряются в глупостях: ей расскажут! она улыбнется! Мальчишки играют в Елениных женихов; девчонки делают прически под Елену... Я сама делала! И так: год за годом, поколение за поколением! ты ничего не понимаешь, рыжий...

— Я сумасброд. Я не умею понимать. Я вижу, чувствую и делаю. Я увезу тебя на Итаку. И пусть рожденная из яйца-Елена, дочь Зевса и Леды-спартанки, лопнет от зависти!

— Она не дочь Леды... вас всех одурачили. Это сказка, для легковверных простаков. В нашей семье скрывают правду.

— Чья же она дочь? Горгоны Медузы? Ехидны?!

— Елена — дочь Зевса и Немезиды.

— Что?!

— Что слышишь. Елена — дочь молнии и возмездия.

...крылья. Кожистые, злые. Весы и плоть, меч и уздечка. Мчи, драконья упряжка, неси колесницу в пропасть!.. Немезида, дитя Ночи. Богиня мести, божество злой судьбы, карающей за излишек: счастья ли, гордыни...

И ее дочь: прекрасное оружие возмездия.

— ...в нашей семье знают: Немезида скрывалась от влюбленного Зевса. Рыбой делалась, львицей. Гусыней — и тогда ее настиг олимпийский лебедь. Отец смеялся: гусыня, а хуже кукушки — Елену-то в чужое гнездо подкинула! Еще в детстве мальчишки из-за нее дрались. Потом ее Тезей похитил... была война. И вот: сейчас... Уезжай, рыжий! пожалуйста! я тебя очень прошу!

- Уеду. Вместе с тобой.
— Басилей Тиндарей никогда не разрешит...
— Разрешит. Он просто еще не знает, что разрешит.
Но узнает. И скоро.
— Рыжий...

* * *

Эвриклея, до того мирно шедшая позади вместе с толстой стряпухой, вдруг ускорила шаги. Догнала; мимоходом присела, взяла что-то из-под ног Пенелопы. Одиссею послышался недовольный свист, но спросить у няни — что? зачем?! — он не успел. Сумерки дрогнули, острее запахло чабрецом, и незнакомая женщина выступила из сиреновой мглы.

Вторая Пенелопа.

Только в зрелости.

— Забирай ее и уезжай, — глядя рыжему прямо в глаза, сказала нимфа Перибей, некогда выбравшая пожилого весельчака-изгнанника, чтобы родить ему пятерых сыновей и одну дочь. — Завтра же. Иначе будет поздно.

Ответить Одиссеей не успел.

Долинная нимфа приложила палец к губам:

— Молчи. И вот что, — повернувшись к дочери: — Поблаговари эту мистиссу¹. Я бы не успела. Говорила же тебе: придержи язычок...

— Мама!..

Сумерки обняли нимфу. Тишина бродила долиной Эвроты, и только у костра выводили сипло, еле слышно:

— Налей-ка, братец, не будь занудой,
Пока мы живы, помянем мертвых —
Когда отчалим в ладье Харона,
Пусть нас живые добром помянут!

Одиссей вгляделся. Няня стояла молча, глядя куда-то далеко, за край надвигающейся ночи, а в тонких пальцах Эвриклеи рассерженно извивалась гадюка, обвивая запястье тройным браслетом.

¹ Мистисса — женщина, посвященная в таинства (мистерии).

Но не жалила.

— Спасибо, мистисса, — тихо сказала Пенелопа.

— Ладно, молодая хозяйка, — был ответ. — Сочтемся.

* * *

...память ты, моя память!.. ночью Пенелопа не пришла ко мне. Зато пришла эта... куретка троюродная. Арсиноя. Как и сыскала-то — не ведаю. Я еще спросить хотел: ее тоже отец послал? или муж? Не спросил. Не до того было. Завертелось, понеслось в бездну... не ночь — чистая Гигантомахия. От нее яблоком пахло: свежим, душистым. Наверное, я все-таки скотина. Приап ходячий; рыжий. Или дурак. Женихи, небось, сейчас тоже: ухвати рабыньку поприглядней, глаза зажмурь, представь, что Елена — и давай!.. им, женихам, хорошо. А мне Елену представить — старуха! крылья! плеть!.. — руки опускаются. И добро б только руки. Ладно, проплыли. Эта куретка все равно замужем, я ее больше и не увижу-то никогда.

А жаль.

Нет, все-таки я скотина. И дурак.

— Уезжай!.. уезжай! с рассветом! прошу тебя!..

И она туда же. Как сговорились.

Потом она ушла. Провожать запретила. А я — счастливый! обессиленный! — лежал, закинув руки за голову. Думал. И почему-то о спартанском басилее. Тиндарее-старике. Жалко мне его было. Сухой, дряхлый; одной ногой в могиле. Или двумя. Всего боится. Всем завидует. Был в изгнании, младшему брату Гиппокоонту завидовал: почему на троне? почему силен, горд, почему сыновей без меры наплодил?! почему убит самим Гераклом?! — то-то славы... Вернулся, надел венец, стал брату Икарию завидовать: почему веселый? почему его нимфа любит? сыновья почему? дочь?! Вырвал отречение от прав на трон, все, что мог, вырвал, прямо из рук — опять зависть гложет: почему не плачет? не горюет? почему смеется?! Сейчас женихам завидует. Боится и завидует: почему молодые? сильные? буйные?!

Завистливый трус.

Это казалось очень важным: завистливый трус. Скрыт покупают, глупцов обманывают, мудрых убеждают; сильных побеждают или устраняют. А трусов, преисполненных

зависти? Что надо делать с ними?! Я и не заметил, как мне стало *скучно*. Мысли стали ледышками, медными шариками; я катал их в горсти, раскладывал в том или ином порядке...

Тиндарей — завистливый трус. Женихи — слепые драконы: «Мне! мне, единственному!» Елена — оружие возмездия.

А я? кто я?!

И самое главное: что я должен видеть, чувствовать и делать?!

Утром, неподалеку от костра, нашли задушенного Аргусом человека. Карлика. Значит, не спартанец: здесь таких еще во младенчестве — со скалы. В руке убитый сжимал сапожное шило: отравленное. Похоже, он успел раз-два пырнуть шилом собаку, но по поведению Аргуса не было видно, что пес собрался в собачий Аид. Напротив: резвился, как щенок. Ластился ко мне. Руки лизал.

— Уезжать надо, — сказал Эвмей, пнув карлика ногой.

— Уезжать надо, — сказали Ментор с няней.

Филойтий и остальные кивнули.

— Надо, — согласился я. — Скоро уедем.

Думалось о другом.

Почему Аргус, без звука задушивший карлика с шилом, пропустил ко мне Диомедову сестру?

ПАКОНСКАЯ ДОПИНА.

ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ РЕКИ ЭВРОТ:

Спарта,

покоп Диомеда

(Стасим-хорал¹)

— Теламонид кричит, что каждого убьет...

— Подалирий с охраной ходит, с хеттийцами...

— Да все мы с охраной ходим! Дожили!..

¹ Стасим-хорал — песнь, исполняемая хором между действиями.

— Идоменей, говорят, своих пиратов уже кликнул. Он ведь Атрею свояк...

Свояк, чужак... Это я критянину велел: нужны корабли. На всякий случай. Если спешно отступить придется. Или людьми поддержать, с тыла. Идоменей к Гифийской пристани верного человека отправил; а я в придачу кормчего Фриниха. Слали тайно, да здесь теперь любая тайна — нимфам на смех. Ничего, зато корабли... «пенные братья»...

Пускай.

День прошел шумно и безалаберно. Я распускал хвост перед Пенелопой: обстрелял всех, даже Тевкра-Лучника, потом на мечях... Удивительно: они здесь почти все оказались — рабы. Рабы вспыльчивости, рабы осторожности, рабы желания победить, рабы призрака по имени «Честный Бой»; рабы страха потерять лицо... рабы вопля: «Мне! только мне!...»

Бей рабов!

На мечях все вышло проще простого: бей рабов! — и иди туда, где тишина.

Они думали: я ради победы. Ради Елены. А мне было *скучно*. Я опутывал их собой, превращал в часть личного *Номоса*, в зависимость крупницы от целого, чтобы спастись самому — спасая. Драконья упряжка неслась в пропасть, и меньше всего хотелось кидаться под колеса. Для гибели без смысла достаточно карлика с отравленным шилом. Мой дорогой шурин, мой Паламед-эвбеец! я люблю тебя! почему ты не здесь, не в Спарте?! У тебя жена? моя сестра?! — ну и что?

Здесь половина — женатики...

— Тиндарей со мной говорил. Трясется, весь белый. Что делать, спрашивает.

— А если, это, ну... сказать, что Елена заболела? Что-бы, мол, через месяц приезжали?

— Богиня-то заболела?

— А может, уедем? Прямо сейчас? Ну их всех!

Это я. Я не собираюсь уезжать. Вернее, собираюсь, но не сейчас. А спросил, испытывая: что ответят? Это ведь друзья... друзья друзей! лучшие!.. Нет, мотают головами друзья. Нет, поджимают губы друзья друзей. Мы сидим в Диомедовых покоех, наши тени пляшут на стенах, под флейту одинокого светильника; нет, молча возражают лучшие из лучших, никуда мы не уедем.

Я так и думал.

Каждый за себя. Каждый против всех. Мне! только мне! мне, единственному! Микенский престол, Елена — мишура. Призраки; тени, видимые лишь безумцам — например, некоему Одиссею. Дело в другом: мы — самоубийцы. У нас куча предлогов и причин убить друг друга, а значит, себя. Потому что — мне! мне, единственному!..

Каждый за себя.

Здесь, мидией в раковине, скрыто главное. Мне *скучно*, и я тихонько шепчу: каждый за себя. Я — каждый. Допустим, я — каждый. Я — дракон в упряжке. Я хочу получить Елену, выжить в случае удачи и убить соперника, если удача улыбнется не мне, чтобы обрести новую возможность заполучить Елену... выжить... убить... и снова! снова! опять!..

— Мы на шаг от войны. От всеахейской войны!

— Каждый — за себя, один Зевс за всех!

— Если... Если мы сейчас, прямо сейчас, что-нибудь не придумаем...

Я люблю вас, друзья мои. Мне *скучно*. *Номос* гудит вокруг металлом, обретенным взамен прежней скорлупы. Три волны бьют о берег: любовь, скука и бронза Мироздания. Впервые три моих волны сошлись воедино; впервые я готов видеть, чувствовать и делать.

Плеть и уздечка, меч и весы — в моих руках.

— А я придумал. Войны не будет.

Встаю. Иду к выходу. Оборачиваюсь на пороге:

— Каждый за себя, значит? Вот и славно! Как думаете, Тиндарей не спит еще?

— Резвый мальчик, — бросил вслед кто-то, когда я хлопнул дверь.

...В сонме других женихов стою перед ступенями дворца. В панцире. В гнутых поножах. В шлеме. Шлем мне велик, и я стараюсь не вертеть головой.

Доспехи одолжил Диомед.

Еще удивился, что я сюда без брони приехал.

Мечи трутся о края ножен: туда-сюда... приапы из бронзы, они хотят иных ножен — мягких, влажных. Податливых. Листва копейных наконечников сухо шелестит над гребнями из конского волоса. Скоро осень. Листьям пора опадать — лететь, пронзать липкую духоту, впиваться в рыхлую, могильную плоть... У колена беззвучно дрожит Аргус. Не от страха, нет. От страха он не умеет. Если что, пес даст мне миг свободы. Большого подарка не смел бы просить и бог. Спиной я чувствую: иная дрожь. Большая. Волчья. Это охрана. Лихие гетайры Диомеда, гвардия Атридов, бойцы обоих Аяксов, смуглые шершни Идоменея-критянина, готовые ужалить в любую минуту; мои дорогие свинопасы, мастера биться в тесноте абордажа.

Эвмей хотел быть рядом, но его не пропустили.

Отступаю к нижней балюстраде. Здесь просторнее. В случае чего можно запрыгнуть на перила — после бревна над ручьем они покажутся даром судьбы. Машинально тянусь в тишину — домой. Пальцы сами нащупывают изгиб костяной накладки... колчан со стрелами... Никому нет дела до того, откуда в руке у рыжего итакийца возникает лук. Наверное, с собой принес. Теперь тетиву натягивает. Думает, он самый умный. А мы его, умника, — копьем!.. снизу...

Только сейчас я понимаю, куда приехал.

Сейчас — в Спарте, у дворцовых ступеней? Или сейчас — на ночной террасе, во мраке ночи перед отплытием на войну?!

Какая разница?..

Мы играем в догонялки: я и война. Вся жизнь. Я выигрываю шаг за шагом, год за годом, но война неутомима. Наверное, когда-нибудь мне придется остановиться, обернуть-

ся и побежать навстречу. Тогда война испугается, побледнеет и рванет прочь так, что и верхом не догнать. Наверное...

...дождались! Явление Тиндарея народу. Приоделся, бородашку выпятил. Богоравный. А вчера совсем другой был, когда я к нему заявился. Поначалу-то меня во дворец не пустили. За пьяного приняли; да я и был пьяней пьяного. В голове одна мысль, молнией. Сошлись тучи: отстраненная скука — сухим песком; любовь — морем от восхода до заката; звон Мироздания — обителью, где плещется море любви, засыпаемое песком скуки.

На миг я стал *целым*. Вот тогда-то и полыхнула мысль-молния.

Это она швырнула меня ко дворцу, заставив браниться со стражей; это она поволокла прочь, к дому Икария, когда стало ясно: во дворец удастся ворваться разве что силой — и стать первой жертвой резни, которую я пытался предотвратить.

Правильно я пошел к Икарию.

Вчера я вообще все делал правильно. Я любил их всех — вождевших Елену и оттого жаждавших крови друг друга. Аргос, Микены, Пилос, Саламин... края и области, острова и города... я любил престарелого брюзгу Тиндарея и его веселого брата Икария, я любил Пенелопу и куретку Арсиною... Нет, мне так и не удалось сделать их частью себя. Мне удалось другое: частица меня была в тот миг в каждом из них. Засела наконечником стрелы: захочешь, не выдернешь.

Я разил далеко.

— Тиндарей разрешит твоей дочери стать моей женой, — с порога сказал я заспанному Икарию. — Проведи меня во дворец.

И он поверил. Ведь это очень просто: заставить людей верить тебе. Надо всего лишь верить самому себе и твердо знать, что все получится.

Как знаю я сейчас, что непременно вернусь домой из-под Трои.

Ты слышишь меня, Пенелопа? — я, Одиссей, сын Ла-

эрта, наконец обернулся к войне лицом, и скоро, скорей, чем думают глупцы, она побежит прочь!

Я вернусь!

Тиндарей не спал. И даже согласился выслушать меня. Один на один, без свидетелей. Только с ним я говорил иначе, чем с его братом. Ведь это проще простого: разговаривать с трусом. С завистливым трусом.

Завистливого труса надо напугать. Надо вложить ему в руки ужас много больший, чем гложущий труса страх. Дать ладоням почувствовать жар, дать сердцу сжаться в розовый, незащитный комок, дать гортани высохнуть, а коленки превратить в струны — и только потом указать путь к спасению.

Тогда трус — твой.

Он не хотел давать согласие на брак. Упирался; бубнил глупости. А мною уже полностью овладела скука. Море любви и бронзовый звон Мироздания ушли к туманному горизонту, исчезли... Почти.

Я знал: будет так, как я хочу.

И тень моя сидела в углу на корточках, притворяясь Стариком.

— ...богоравные! Мужички ахейские!

Ты гляди, и голос прорезался! Хотя дрожит, конечно. И голос, и сам басы. Но он уже *верит*! Значит, поверят и остальные.

— С радостью великой обращаюсь я к вам, благородные герои. Ибо дочь моя Елена сделала наконец свой выбор...

Да что ж он мямлит, болван?! Еще немного — и сорвутся женихи, за мечи схватятся!

Не вышла к нам Елена (хвала богам!). А все равно видится: множатся, ползут по площади тени. Встают на дыбы драконьей стаей. Черно в глазах от крыльев; каждый сам за себя, каждый против всех. Занесла Немезида карающий бич: вот-вот хлестнет — лететь небывалой упряжке с обрыва, напрямик в сумрачное царство Гадеса.

Добро пожаловать, богоравные!

— ...все будет хорошо, Диомед! — шепчу я; Тидид рядом, он меня слышит, не может не слышать. — Вот увидишь... все будет... все...

А гул вокруг нарастает, ширится; звенит медный купол моего *Номоса*, звенит черное железо чешуи, звенят крылья в вышине — не убежать! не спрятаться! терпеть, ждать и слушать отчаянные старческого дребезга:

— Все мы здесь друзья, богоравные базили, все мы здесь братья! Верю, порадуетесь вы за мою дочь и за ее избранника! Все вы достойны, все вы равны...

Один из драконов не выдержал. Распахнул пасть, зашелся огненным воплем. Не смей! стой! говори, базилей спартанский! Ведь ужас, подаренный мною тебе, стократ ужасней бывшего страха, и имя ему: вечное проклятье потомков!

— ...поклоняемся согласно обычаю, что никто не поднимет оружия на мужа дочери моей, но придет на помощь ему в трудный час, не жалея сил, крови и самой жизни!..

Ну вот, наконец-то!

Слово сказано.

Замерла драконья стая — на самой грани, на кромке обрыва.

Недоумение.

Изумление.

Смятение.

...Ну же!

— Чего это он? Это, значит, Аякса выберут, а мы ему помогай?

— А если тебя?..

Молодец, Диомед! Я люблю тебя, Тидид, ванакт Аргосский! Ты первый понял! Каждый — за себя. Но каждый уверен: «Мне! мне, единственному! Я — избранник!» Это значит: мне быть мужем Елены. *Живым* мужем! Клятва — и никто, никто не посмеет поднять *на меня* руку! Более того: вся свора, мои враги и злопыхатели, теперь в случае чего придут *ко мне* на помощь!

Не этого ли я хотел, не об этом ли мечтал, сам еще не зная?!

— Лаэртид, ты придумал?

Звон утихает, гаснет в отдалении. Где драконы? где черная тень? крылья злые, кожистые — где?!

Смех.

Не злорадный, не зловещий — искренний, веселый.

Кто это?

Ох, плохи мои дела: это же я смеюсь!

— Правильно! Слава Тиндарею!

— Поможем, крови не пожалеем!

— Клятва, богоравные! Клятва!

Медь *Номоса* отступает, сухой песок скуки смыт волной — я люблю вас, я люблю вас всех! И того единственного, кого изберет красавица Елена, и остальных — вы будете жить! мы будем жить!

Долго и счастливо.

— Клятва! Клятва!

— На коне, на крови!

— Клятва! Клятва-а-а!!!

Вороного коня Тиндарей заранее приготовил. Хоть тут не оплошал. Прости, вороной, тебя я тоже люблю, но когда стоит выбор, кого принести в жертву... Всегда приходится жертвовать чем-то.

Лучше — конем.

Интересно все-таки, кого выбрала Елена? Или это ба-силей за нее выбирал?

О боги!

Страшная, дикая мысль: только не меня!!!

Нет, Тиндарей, ты, конечно, трус и завистник, и, наверное, пакостник еще тот, но ты не посмеешь! ты цепляешься за жизнь руками и ногами! А я за такие шутки и придушить могу, от большой любви!

Короткий, отчаянный вскрик.

Неужели это — конь?!

О боги, пусть он будет последней жертвой на этом проклятом сватовстве!

Услышите меня, боги!..

ЭПОД

ИТАКА.

Западный склон горы Этос, дворцовая терраса

**Спарта — Тегея Аркадская — мыс Аракс;
Капидон Этоллийский — Арголлпдская гавань;**

ИТАКА.

**Западный склон горы Этос, дворцовая терраса
(Сфрагида)**

Едва уловимо — намеком, лукавым мерцанием — небосклон начинает светлеть. Зеленая звезда, тебе надоело подглядывать? ты отправляешься спать? Да. Спряталась. Пока еще не за край земли. За ветви старой смоковницы. Если пройти в дальний конец террасы, звезду еще можно увидеть. Но мне лень идти в дальний конец террасы. Я и так знаю, что зеленый глаз там: спрятался в переплетении ветвей, словно в тени ресниц.

Я уже не засну. Скоро рассвет.

Скоро Троя.

Завтра моя звезда, отдохнувшая за день и полная сил, вновь взойдет на пепелище ночи. Она вернется. Это неизбежно.

Как неизбежно другое: я вернусь.

Ледяной иглой пронизывает озарение: моя Итака — лишь малая звездочка в бескрайних просторах, зеленая песчинка в море, и больше в этом море-небе нет никого и ничего — ни других звезд-песчинок-островов, ни Большой Земли, ни Трои, замершей в ожидании. Никуда не надо плыть, потому что плыть просто некуда; ночь будет длиться вечно, можно сидеть на террасе, пить вино, слушать дыхание жены и сонный лепет ребенка, смотреть на звезды, купаться в наплывающем отовсюду ропоте морских волн...

Море.

Оно везде. Плеск за бортом, привычный скрип снастей. Бухта каната в ременной оплетке валяется на полупа-

лубе. Дружно вспенивают воду два ряда длинных весел — память ты, моя память, Одиссеев корабль! Белый парус — надежда. Пурпур судового носа — кровь. Черная смола боков — гибель. И два глаза, нарисованных по обе стороны форштевня, означающие невесть что. Я не верю в приметы. Неси меня, корабль моей памяти. Разве хороший кормчий может не найти дорогу домой?

* * *

Ленивая зыбь качается, подмигивает расплавленным золотом. Мы с Идоменеем-критянином почти голые. Развалились на корме, цедим из кубков кислое вино. Цедим слова: простые, пустые. Нам хорошо. Никуда не надо спешить, ни с кем не надо драться и думать тоже не надо ни о чем.

Блаженство!

— Помнишь, какой пир закатили? Башка только сейчас трещать перестала...

Излишне уточнять, когда закатили и где. В Спарте. Едва клятву на конской туше принесли — перепились до зеленых сатирисков! Похоже, у всех гора с плеч свалилась.

— Помню. И как вы с Аяксом-Малым целовались, помню. Руки резали, братались. А потом нашли себе рабыню на ночь — одну на двоих — и заснули. А рабыню Патрокл увел...

— Врешь! Про Аякса помню, а чтоб рабыню увели...

Еще бы! Аякс Оилид, тот вообще уверен, что он не с критянином целовался, а со мной...

...драконы все-таки сорвались с цепи. Успев перестать быть драконами. Призрак кровавого побоища обратился в совершенно невообразимую попойку (назвать это пиром — кошунство!), завершившуюся всеобщим братанием и восхвалением моего хитроумия.

Растрезвонили-таки...

Весть, что Елена избрала в мужа Менелая Атрида, была встречена с пониманием: лучше никакого, его проще любить. Самого Менелая, обалдевшего от неожиданного счастья, хлопали по плечам, пили его честь, отпускали соленные шуточки — и, на удивление, почти не завидовали.

Безумие закончилось.

Колесница встала.

В тот же вечер я близко увидел Елену. И — странное дело: никакого звона в ушах, головной боли, рези под веками. Рассмотрел с толком, с пониманием. Красивая женщина. Очень. Кстати, тень как тень; тоже красивая. Наверное, в такую легко влюбиться.

В Елену, не в тень.

На другой день, проспавшись к обеду, принялись готовиться к свадьбе. Да не к одной! Ну, Менелай с Еленой — это святое. Но и прочие лицом в грязь не ударили: спартанский базилей, стремясь загладить обиду честолюбивого Агамемнона, отдал старшему Атриду свою другую дочь. Статную гордячку Клитемнестру. Если кто и был рад, кроме засидевшейся в девках невесты, так это мой приятель Диомед: Елена Агамемнону не досталась, значит — шиш Златым Микенам, а не живую богиню! А Менелай — он младший, не наследник. Да и Тиндарей уже объявил: годы его гнетут, быть здешней базилевии под зятем Менелаем. Зажился, на покой пора; дорогу — молодым. Интересно, сам додумался или подсказали?

А еще у нас с Пенелопой свадьба. Зря, что ли, свататься ехал?!

Гуляй, Спарта!

Одно странно: жертвы богам принесли без счета, гимны до небес, бычьей кровью всю долину залили, а в ответ — хоть бы одно знамение. Самое завалященькое. Листики там, птички... Жрецов спрашивали, прорицателей: руками разводят. Молчат боги. Ну и ладно. Может, у них там, на Олимпе, свои свадьбы.

Пейте, богоравные, радуйтесь!

Пью, радуюсь. Что, Пенелопчик, говорят, рыжим нынче счастье привалило? Увезу тебя на Итаку, забудешь и дядю-паскуду, и обещанный храм Артемиды... Все у нас хорошо будет, солнышко! А самого нет-нет, да и кольнет невзначай: ночь, плащ на земле, жаркая темнота обнимает меня руками куретки. И — запах яблок.

Что ж ты замуж выскочить поспешила, троюродная?..

Нет, я таки кобель. Хуже Аргуса.

...отплытие. Погостили — пора и честь знать. Вернее, отплываю не я: отплывают наши, захватив Пенелопу, потом Идомений-критянин с «пенными братьями», явившись на зов — а я с Диомедом по земле еду. Провожу до Аркадии, а там: ему на восток, в Аргос, мне на северо-запад, к мысу Аракс. Хоть наговоримся всласть...

У мыса меня корабли ждать будут. Критянин сказал: ему по пути, он к феспротам по делам собрался, а Итака — невелик крюк. Няню я к Пенелопе приставил, остальных чуть не силой спровадил; только Эвмей с собакой за мной увязались.

По дороге о троюродной сестре старался не заговаривать: Диомед почему-то злился.

Ладно.

...гонiec перехватил нас в захолустной Тегее, когда мы уже собрались прощаться.

Мятеж!

Калидон захвачен!

Впервые понял: вот она, война! Рукой подать...

Война есть, а радости нет. Одна спешка: корабли уже, наверное, подошли к Араксу. Махнем через залив — эй, Калидон Этолийский, царство легенд и скупердяев! встречай!..

...не езда — скачка! Бешеная, стремительная. Успеть, успеть! Мелькают скалы, сосны, скрученные в узлы, снова скалы; вьется змеей бесконечная дорога, жалит щебнем из-под копыт. Быстрее! Еще быстрее! Как там Эвмей? Он ведь верхом только-только... Ничего, держится. Клещом в коня вцепился, не отдерешь.

И Аргус не отстает.

Море — за спиной, позади.

Вот он, Калидон.

...здесь я впервые убил человека. Застрелил из лука. Кажется, вожака мятежников — могучего, полуголого детину. В руках палица, на чреслах — золотой пояс. И моя стрела между глаз. Это оказалось очень просто. Я даже растерялся.

Был человек, и нет.

Был мятеж... самое страшное, что я ничего не почувствовал.

— Агамемнон взял Аргос!

— Тидид, я с тобой?!

— Нет. Ты нужен мне в другом месте. Мне понадобятся корабли, лодки... Через неделю — под Аргосом. Если придется бежать.

Тебе не придется бежать. Я буду в Арголидской гавани не через неделю — четыре, может, пять дней. Я подыму море. Я, Одиссей, сын Лаэрта-Пирата, набью гавань кораблями, словно тыкву — семечками. Критянин, ты с нами?

Да, трогает серьгу Идомений.

...и восток Пелопоннеса вздрогнул, когда «пенное братство» упало под Аргос.

А к вечеру на берег прискакал гонец от Диомеда: хитрец Атрей перехитрил сам себя, пав от руки брата-Фиеста. Войско бросило гордого Агамемнона, с осиротевшим ми-кенцем остались лишь гвардейцы личной охраны.

Агамемнон сдал город без боя.

Война усмехнулась, прячась в нору.

Домой!

* * *

Жидкие лоскутья облаков болтались над головой. Вода морщилась спросонок, меняя цвет с темно-серого на серо-зеленый; кудрявясь, гребни волн притворялись невинными овечками, только и ожидая минуты, чтоб зарычать и ринуться зубастой стаей на оплошавшего морехода. Казалось, природа застыла в недоумении: становиться грозной было лень, а оставаться милой — скучно.

Пауза предчувствия.

— Кто учил тебя говорить по-критски? — спросил Идомений.

Я пожал плечами. Никто. А разве я говорю по-критски? Мы сидели на кормовой полупалубе, застеленной мягким

ковром, а поверх — льняной простыней. Рядом с судовым алтарем. Который у критянина почему-то располагался не на носу, как у всех, а на корме.

Болтали о пустяках.

Скоро — Итака.

— Я еще в Спарте заметил, — голос критянина был певуч, напоминая свирель. — Ты переходишь с наречия на наречие, словно портовая блудница — от мужчины к мужчине.

— Да? — спросил я, зевая. — Не знаю. Я всегда так говорил. У нас на пастбищах всегда так говорили. С детства привык: у каждого предмета — несколько имен. Разных. Мои пастухи...

— А-а-а... — критянин кивнул, как будто ему все стало ясно. — Твои пастухи. Ты ведь и не хромаешь, да?

— Не хромаю.

— А эти ослы... с которыми ты на мечях!.. они все угадать пытались: на какую ногу?! Я смеялся...

Было в нем что-то... древнее. Бычье. Я еще удивился: откуда явилось сравнение? Смуглый, звонкий танцор, талия вот-вот переломится; манеры потомственного аристократа, юбочка в желто-черную полосу — шершень! оса! откуда бык?! И все-таки: высокий лоб с залысинами, наклон головы... ленивая повадка, прячущая скрытую мощь. Плохо иметь такого врагом.

— Ты нас спас, — темные пальцы тронули серьгу. — Всех. Словно за руку вывел. Как твой отец — аргонавтов. Я из рода Миносов, у нас плохо умеют быть благодарными. Но я умею.

Сперва я пропустил часть слов мимо ушей. Чайки бранились над головой, вдалеке, лоснящимися тушами, резвились дельфины. Как отец — аргонавтов. Как отец...

— Я с малых лет в море, — бросил Идомений, отворачиваясь. — Мне едва тринадцать стукнуло, когда он пришел и попросил перевезти его на Скирос. Мы тогда в Оропском порту стояли.

— Кто — он? Мой отец?

— Нет. Тезей, убийца Минотавра.

— Убийца Минотавра... — слова были сладкими на

вкус. Наверное, это здорово, когда тебя вспоминают после смерти, говоря с уважением: убийца Минотавра... ну, вы понимаете!.. того самого...

Критянин дернул щекой:

— Ты не понял. Минотавр — мой дядя. Родной. И Тезей его убил. А еще он убил Девкалиона, моего отца. Ты ничего, ничего не понял. Герой Тезей — мой кровник. Был.

Стало зябко. Холодные пальцы забрались за шиворот, пробежались вдоль хребта шустрыми сороконожками. Кожа покрылась пупырышками. Я молчал, не зная, что ответить. Посочувствовать? перевести разговор на другое?

— Я хотел убить его. По дороге на Скирос. Но он раньше узнал, кто я. И сразу подошел. Сказал: убей меня, малыш. Утоли жажду. Сказал: я уже бывал в Аиде, мне не страшно возвращаться. И жить — незачем. Убей; отомсти. Вот меч.

— А ты?

— А что я? Не смог я. Он, знаешь, какой был? — седой. Пустой. Треснувший кувшин. Его из Афин выгнали, отовсюду выгнали. Так и просидели с ним до самого Скироса на корме. Разговаривали. Он мне тогда и про аргонавтов рассказал, и про твоего отца...

— Что? что он рассказывал?!

— Да разное... — Хлопнули ременные шкоты, от мачты сильнее запахло мокрой сосной. — Понимаешь, они на «Арго» сперва кормщиком избрали Тифия. Да только этот Тифий в годах был. Умер еще на полпути в Колхиду. И некий Анкей взял на себя обязанности рулевого. А когда пришлось из Колхиды уносить ноги, он и скис. Трижды возвращались: дороги не могли найти. Тезей говорил: все звезды перепутались, буря... твой отец сам к рулю встал. И вывел. До Иолка; домой. Мимо Сирен, мимо Кирки-колдуньи, мимо Сциллы с Харибдой, мимо Тринакрии, где Солнечный Гелиос пасет свои стада; мимо блаженных феаков. Мимо нашего критского Талоса, великана из меди...

Шальная волна дотянулась, плеснула через борт. Капли текли по моему лицу; соль, горечь. Это все море. Это все ветер.

Это — все.

— Тезей еще говорил: по возвращении никто не поверил. Опытные кормчие изумлялись: нет таких путей. Нет таких течений, ветров нет, звезды в иную сторону глядят, рифы не там, острова не здесь! Хотели твоего отца расспросить, да он уже на Итаку вернулся. И еще...

Критянин обернулся ко мне:

— И еще. Тезей рассказывал: твой отец как будто ничего не видел.

— Чего не видел?

— Ничего. Ни Сирен-певуний, ни шестиглавой Сциллы. Ни медного великана. Ничего. Все видели, а он — нет. Просто вел корабль. По пути, о котором не знал никто.

* * *

...я так и не спросил у тебя, папа: правда? нет?! Вернулся и не спросил. Мне было боязно. Ты был трезв, приветлив и спокоен; мы обнялись и пошли домой. А дальше стало не до вопросов. Дела, дела... дурные вести с Лесбоса: там, якобы от моих побоев, скончался базилей Филамилед...

Впрочем, важно ли спрашивать? ответы — убийцы вопросов. Главное другое — я вернулся.

Я вернусь.

ПЕСНЬ ПЯТАЯ

ВНАЧАЛЕ БЫЛО ЯБЛОКО

Скованы тяжкие латы...
Что ж молот несытый гудит?
И бурое пламя чадит
Зачем, озаряя палаты?
О, нет, позабыть не могла ты,
Эллада, кровавых обид...
Иль меч на Париса еще не отбит,
Что, искрами брызжа, железо журчит,
И молот кричит:
«Расплаты! Расплаты! Расплаты!..»

И. Анненский

СТРОФА-I

ВРЕМЯ СНИМАТЬСЯ С ЯКОРЯ

ИТАКА — ЭХИНАДЫ — КОРИНФСКИЙ ЗАЛИВ:

Крисская гавань — Фокида —
южные склоны Парнаса
(Просодий)¹



знаешь: прошлой осенью отец отрекся. Знакомься: рыжий Одиссей, муж, преисполненный козней различных; базилей итакийский. Прошу любить и жаловать. Пенелопа снова в тягости, оракул говорит — мальчик родится. Помогись со мною, чтобы на этот раз все было в порядке! Торговля удачная, у овец хороший приплод... Слыхал поговорку: овцы — торговцы, быки — моряки, наши причалы всегда курчавы!.. А еще спешу уведомить тебя, друг мой Диомед, что из заказанных тобой двадцати пентеконтер по троянскому образцу — клен и сосна, носы острые, реи подвижны — дю-

¹ Просодий — гимн, исполняемый в дороге.

жина уже спущена на воду. Тот корабель, что удрал из Пергама и молил о приюте, оказался выше всяческих похвал. За соответствующую мзду плавучий Лабиринт построит. К концу месяца отгоню тебе эскадру с Пагасейских верфей; встречай. Старший кормчий — доверенный человек, расчеты веди с ним, как со мной. Только не забывай, что твои микенские приятели в прошлом году заказали не два десятка, а сорок пять кораблей, правда, большей частью старых, одномачтовых, и из них половина — торговые эйкосоры; но их заказ еще в конце осени был выполнен. И теперь Златые Микены достаточно сильны на море, чтобы попытаться накрутить хвост одному несговорчивому аргосцу. Мой тебе совет: дружба дружбой, а последний взнос «пенному братству» выплати без промедления и с лихвой, набравшейся за время отсрочки. Я, конечно, понимаю: на дворе Золотой Век, никаких войн и в помине, добрые оракулы сплошь, но «пенный сбор» не я придумал, особенно если некто хочет прочно утвердиться на волнах. Внемли дружескому совету! Тогда моя серья сумеет блеснуть ярче на законных основаниях; а микенцы вместо накручивания аргосского хвоста смогут разве что соли на него насыпать...»

Сигнальные огни Итаки гаснут за кормой. Способные посадить на мель или швырнуть в пасть береговым скалам любого чужака, своим они долго машут вслед теплыми руками: возвращайтесь! мы ждем! Ленты водорослей свиваются в причудливые петли; nereиды заплетают их в кудри, и потом красуются, отдыхая на волнах. Бледный призрак месяца плачет в колыбели облаков, но скоро, скоро он нальется густой желтизной, заострит рога и грозно набычит-ся: эй! дуры-звезды! поберегись!

Вода шелестит, расступаясь перед грудью «Пенелопы».

Во всех портах Ахайи знают этот трехмачтовик, любовно изготовленный по личному заказу молодого базилея Итаки. Ну да, ну да, уважаемые, ясное дело: итакийская базилеия — не главное наследство Лаэрта, не к ночи будь помянут, а главное он пока придерживает за собой, и будет придерживать, чтоб его счастье догнало и перегнало, еще лет десять, не меньше... Однако есть вещи, о которых

лучше помалкивать. Языки — они на дороге не валяются, а если валяются, то радости мало в этом, уважаемые...

Завидев вдали знакомые мачты, кое-кто даже кричит с берега: попутного ветра и свежей воды, Одиссей-Полиний!¹ И провожает взглядом: ишь, весело идут! Неотступная в погоне, надежная в бурю, легкая на подъем, «Пенелопа» режет море с проворством и спокойствием, как пастухи режут круг овечьего сыра — зато два глаза, изображенные по обе стороны форштевня, в нарушение традиции не синие.

Зеленые, с золотыми искорками.

А умница-Ментор все марает папирус — желтый, хрустящий, в цену восьми овец; под диктовку, под тихое журчание речи...

«...и скажу я тебе еще: если хочешь лада в семье, жить надо отдельно. Уж на что домовита моя матушка, и то первые шесть месяцев с Пенелопой — точно Гера с Гераклом. Поперек да против шерсти. У обоих норов, у обоих упрямства на сто ослиц хватит. После первого выкидыша вроде улеглось: ах, бедненькая, ах... Но я твердо решил: отделяюсь. Няня сказала: у одного горшка двум хозяйкам не бывать. Она ведь умница, моя няня, ты ж ее знаешь. Кстати, этого ты точно не знаешь: Эвриклея нынче не рабыня, и даже не вольноотпущенница — почтенная горожанка из самых-самых. Папа ей еще по приезде из Спарты сперва дал вольную, а потом мы договорились с семьей потомственных итакийских глашатаев — Певсеноры, луженые глотки, — и теперь у милой нянюшки есть приемный отец, приемная мать и куча мала приемных братьев! Они даже хотели перевезти новую дочурку к себе, но Эвриклея встала стеной: никуда я не поеду, девочка (девочка — это моя жена!) без меня пропадет. Тут она права, но скажу тебе по секрету: когда няня с женой заключают военный союз, то если кому-то и пропадать... ну, ты понял.

А дом у меня знатный. Выше отцовского по склону.

¹ Полиний — Многокорабельный.

Местные зовут его дворцом, а мне смешно. Посмейся и ты: тебе наши островные дворцы в диковинку. Зато спальня у меня завидная; верней, даже не спальня, а супружеское ложе. Во-первых, потому что на нем спит Пенелопа (не ворчи, я ни на что не намекаю, а в особенности на твои семейные неурядицы!); а во-вторых, мое ложе растет прямо из земли. Еще перед началом строительства я обнес старую оливу стеной; после срубил верхушку, и на уровне второго этажа обработал пень, сделав из него основу кровати. Вряд ли в ваших настоящих дворцах можно любить законную жену прямо на дереве, да еще со всеми удобствами...

Да, снова о няне. Зимой приезжал по делам один хороший человек из Айгюптоса — привез папе разных семян, но речь о другом. Увидел он нашу нянюшку, и давай кланяться. А сам тайком пальцы скрещивает, от дурного глаза. Я к нему прицепился: что да как? — молчит. Пусть, говорит, мистисса сама расскажет, а мне боязно. Я к няне. Молчит. Тогда я с Эвмеем сговорился, достали амфору крепкого, укатали хорошего человека в лежку; он и выболтал. Была, значит, в аби-досском храме Тифона-Змея (местные его Сетом величают) жрица. С пяти лет допустили к служению, к двенадцати годам посвятили, в семнадцать она танцевала для Змея «пляску яда». А в двадцать — родила. От кого, неизвестно, но полагали, что от старшего жреца. Короче, дитя кинули священным крокодилам, хотели и преступницу — но пока суд да дело, опять же услуга за услугу, и все такое...

Жаль, няня все равно молчит и улыбается. Я, улыбается, честная итакийка из порядочной семьи, сами вы змеи-крокодилы...»

Крисская гавань всегда набита кораблями. Доходное дело: возить паломников в священные Дельфы, к пифиям. Настолько доходное, что кое-кого можно отвезти задаром — солнцеликий бог отметит своей милостью, зажжет в шторм путеводный маяк. Купцов здесь, почитай, и вовсе нет: Фокида бедна, ни товара, ни покупателей. Одни знамения, зато в изобилии. Десяток быстрых пентеконтер скучают у причала: это не паломники, это гонцы. Властители земель вопрошают оракул. Дары шлют, взамен на

двусмысленности. Впрочем, последние годы милостивы: добро сулит додонская медь, подвешенная в листе святого дуба, добро сулят Дельфы и Олимпия, одно добро, только добро, и ничего, кроме добра.

А все равно спрашивают. Приятно еще раз услышать: радуйтесь!..

И «Пенелопе» стоять у причала, соблазнять кормчих крутыми боками.

Ждать.

Ложится дорога под колеса повозок, под копыта тягловых быков. Бежит дорога к лесистым склонам Парнаса: от заставы к заставе. Пастухи — люди. Не глядите, что вид разбойничий — в душу, в сердце загляните! бело в душе, пушисто на сердце. Встретят, накормят-напоят, спать уложат. Путь верный укажут. Горит на Одиссеевом пальце дешевый перстенок. Скалится с перстенька медный профиль Волка-Одиночки. Рад небось, вот и скалится.

Молодой базилей итакийский едет в гости к родным дядьям, сыновьям милого дедушки Автолика.

Знакомиться.

Кто в этой жизни, изменчивой, как море, в случае чего плечо подставит, если не родичи?!

«...а еще приезжали троянцы. У них привычка: целоваться. Всего обмусолили, благовониями пергамскими насквозь провонял. Песни пели, хвалы: по морям, по волнам, мы — вам, вы — нам! Совместные перевозки, соглашения... Слыхал? — Паламед Навплид хитрую штуку выдумал: «деньги» называется. Клейменные слитки серебра. Тоже мне выдумщик! — мы с Домом Мурашу такими слитками не первый год... вот и троянцы смеются. Смех смехом, только «деньгами» расчет вести удобнее. И места меньше занимают, не надо трюмы под завязку грузить.

А корабли троянцы синькой красят. Хочешь, велю твои, новые, покрасить?

У них в Трое у Приама-басилея новый базиленок объявился. Представляешь, у старика и так полсотни сыновей, дочек и вовсе не считано (аж завидки берут!) — нет, еще один подкидыш из лесу вышел. Пастушил себе помаленьку.

Звать Парисом, прозвище — Александр¹. Ну, я всегда говорил: пастухи — они такие, если правильные пастухи. Охранники. Говорят, смазливый петушок, любимчик народа, да еще от старшей жены... какие-то в семье неурядицы были, они ребенка в лес сплывили, уроды!.. Видать, не нашлось священных крокодилов: выжил парень. Я б за сына все, что хочешь, отдал, а троянцы сыновей — в лес! Наверное, когда детей много, не так жалко.

Знаешь, эти два года для меня — словно якорь. Новый дом, жена, нелепый выкидыш, няня с ее благословенными припарками... вторая беременность, варенье из кизила, папа говорит, что гордится мной; разъезды вечные!.. беды пополам со счастьем, только беды маленькие, а счастье... Даже не большое — спокойное. Мое. Я не жалею! наоборот! Ты, наверное, не понял. У наших кораблей якоря полые, когда с товаром идут, в якоря дорогой металл заливают — олово, например. Вот и для меня годы эти — драгоценный якорь. Держит, не дает ко дну пойти. Или сорваться с цепи, уйти в открытое море, без цели, без смысла. Наверное, ванактам такого не понять...»

Тихая весна ступала по склонам Парнаса. Тонкими пальцами касалась яблонь, слив, раскидистых вишен, завезенных из-под Трои и прижившихся на просторах Большой Земли. Роняла щедрую кипень цветов на кружево ветвей: розовые, белые, слегка золотистые. Набухали почки, безумствовали птицы, округлялись гиматии девушек. Благожелательствовали оракулы, не требуя даров взамен.

Золотой Век на дворе.

* * *

...Протяжный, едва ли не торжественный скрип открываемых ворот. Гимн гостям. Массивные створки с лентой расходятся: две окованные медью челюсти. В жад-

¹ Здесь и далее — игра слов. Алекстр (Алектрион) — греч. Петух. Александр (прозвище Париса) — Охраняющий Мужей; второе значение — Петух Мужей, Тот-Кто-Будит.

ной глотке двора обнаруживается толпа встречающих. Все потирают руки и облизываются. Впереди, набывшись, раскорячился толстый дядька в шкуре. Содранной невесть с кого (похоже, с сатира!), лохматой, как и новый владелец.

Опирается Толстый на суковатую дубину.

Откуда-то из месива толпы высовывается ладонь, больше похожая на лопату. Сгребает Толстого; пихает в сторону. На освободившееся место выдвигается некто Очень Толстый — постарше и побольше Толстого, а в остальном похожий на него, как родной брат.

Да они и есть братья!

Очень Толстый лениво ковыряется в зубах желтой берцовой косточкой. Сплевывает липкие комки; отдувается. Супит брови. Одет он в шкуру полохматей и погрязнее. Только одежда ему тесна, обнажая волосатую грудь. Не сразу и разберешь, где заканчивается шкура, а где начинаются заросли на могучей груди Очень Толстого.

Толпа в натуге рождает новую пятерню. Была лопата, стало весло. Таким по двое гребут. Взмах — и, заставив Очень Толстого в свою очередь посторониться, вперед выбирается Самый Толстый. Этот вообще голышом. Знакомая шкура болталась у него на чреслах, да только свалилась от усердия.

Мужским достоинством Самого Толстого впору быков глушить.

«Хорошо, что братьев всего трое, — екает сердце. — Четвертый точно в ворота не прошел бы!»

За спинами Трех Толстяков топчется челядь: под стать хозяевам. Видом и повадками; а еще подозрительным, звериным блеском в глазах. Туда ли приехали? Не ошиблись ли дорогой, вместо земель Автоликидов угодив в гнездо...

Интересно, людоеды в гнездах живут? или больше по пещерам?..

— Радуйтесь, гостенечки! — рокошет Самый Толстый, катая в бородище плотоядную ухмылку. «Гостенечки» звучит у него двусмысленно. — А мы уж все гляделки проглядели! Со вчерашнего вечера, значит, котлы чистим...

— Радуйтесь и вы, хозяева! Мир-изобилие вашему

дому! — спрыгнул с повозки рыжий. Спутники мигом придвинулись к сыну Лаэрта: живой щит? или сами щита ищут? Аргус вздыбил шерсть на загривке и беззвучно зарычал. Пришлось шикнуть на пса: того гляди, бросится.

— Заходите, будьте как дома! Чего в воротах-то стоять? — Самый Толстый делает приглашающе-загребаящий жест. — А ежели забоялись, дык оно тово... пустое! Не съедим!..

При этих словах вся шкуроносная троица, а следом и челядь, раздражается утробным гоготом. Понравилась шутка.

— ...сегодня, — заканчивает мудрую мысль Самый Толстый. — У нас гостей навалом: вчера, позавчера... Слышь, Младшой, глянь-ка: там еще мясо-то, от позавчерашних, осталось? И вели на стол накрывать.

— А ты, сладенький, значит, Одиссей будешь? Сын Лаэрта, наш любимый племяш? — подходит тем временем знакомиться Очень Толстый. Руку протягивает. Казалось, он ладонь гостя не жмет, а щупает: много ли мяса на костях? Нащупал, обрадовался родной хватке. — Ишь, сытый-то какой! молодцом! А народишко твой худющий... заморенный... Небось, кормишь плохо? Это дело поправимое, откормим, нагоним жирку...

Зловещий скрип ворот за спиной.

Лязг засова.

Приехали, значит. Жир нагуливать.

* * *

— Ну что, сердце в пятки?!

Самый Толстый (Одиссей все время забывал имена дядюшек, и потому про себя величал их запросто: Толстый, Очень Толстый и Самый Толстый) — так вот, Самый Толстый ухмылялся с нескрываемым удовольствием. Совсем иначе, чем в воротах. Был он умыт, причесан, борода больше не топорщилась колтуном, а лежала волосок к волоску, солидно и аккуратно. Шкуру дядюшка сменил на необъятный хитон изо льна, кинув на плечи плащ, из которого вышел бы очень даже приличный парус.

Воплощение радушия.

На самом деле Одиссей испугался не слишком, но зачем расстраивать хозяев?

— Да стухнули малость... Думали: назад с боем прорываться выйдет!

Самый Толстый хлопнул рыжего по плечу:

— Скучно у нас, Лаэртид. Вот и выдумываем забавы. Вы-то еще молодцы. Другие, бывало, прямо через ограду сигают. Или в ножки валятся: не губите, выкуп пришьлем! Ладно, самое время обедать — пошли, что ли?

Разительное превращение затронуло не только старшего из Автоликидов. Представление удалось, пора и честь знать, гостей уважить. Уважили на славу. Чревоугодие здесь было в почете. К примеру, вино братья разбавляли не водой, а виноградным или гранатовым соком. Ничего не скажешь — вкусно! А в сырную начинку лепешек непременно добавляли кучу разностей, включая светлый, едва ли не белый, ранее не виданный Одиссеем перец. И еще ломтики копченой свинины. Пальчики оближешь!

— Это наша матушка стряпает! — не преминул похвалиться Толстый, заметив, что гость отдал должное лепешкам. — Матушка! иди к нам!..

— Внучок! Дорогой! Дождалась-таки! свиделась! Уж не чаяла, не гадала...

Бабушка Амфитея оказалась женщиной серьезной: таких сынков нарожать — не шутка! Вполне могла тоже выходить к гостям: забавляться. Скучно у них тут... Впрочем, забава грозила сорваться: рыхлое, доброе лицо бабуси имело странную особенность улыбаться и плакать одновременно. Язык не поворачивался назвать Амфитею старухой, несмотря на возраст и седину — особенно после того, как Одиссей угодил в родные объятия.

— Ну, бабушка, ты совсем девица! Тебе б в Олимпию, с борцами обниматься!

Три Толстяка смеялись, бабушка отмахивалась, краснея, и все глядела, не могла наглядеться на дорогого внука. Одиссей даже смутился — что, вообще-то, было рыжему не свойственно.

К счастью, Очень Толстый пришел на помощь:

— Мама, давайте выпьем за встречу!

— Ох, вам бы все винище хлестать! — притворно

вздохнула Амфитея. Но тем не менее уселась за стол со всеми. — Да куда ты, пифос ходячий («Пифос ходячий? Надо запомнить!»), куда внучку столько льешь! Одиссейчик, не смотри на них, забулдыг, их только покойный батюшка перепивал! Лучше баранинки себе положи или лепешечек...

— Спасибо, бабушка.

Поднимая очередную чашу, Одиссей краем глаза перехватил оценивающий взгляд Самого Толстого. Три Толстяка были само радушие и гостеприимство — но за этим прятался тонкий расчет. Да, племянник. Родная кровь. Да, с недавних пор — базилей Итаки. Наследник Лаэрта-Пирата. Он на море, мы на суше. Не один год дела вести придется; а дальше — нашим детям. Что за человек? Как поладим-то?

Дело есть дело.

Одна бабушка была просто от души рада внуку. Без всяких-задних мыслей. А с дядьями... с дядьями договоримся! Люди серьезные, с понятием... шутки любят...

...а Старик повел себя странно. Поначалу, еще когда ехали сюда, его все раздражало. Но — молчал. Косился на меня с неодобрением, губами жевал. Словно собирался что-то сказать, да так ни разу и не собрался. Позже, за столом, я забыл о нем. Обед плавно перетек в ужин, дальше хозяева собрались проводить нас в гостевые покои — и поведение Старика снова привлекло мое внимание. Кажется, раньше он куда-то уходил, возвращался, подсаживался к столу, никем, кроме меня, не видимый, внимал застольным беседам, снова вскакивал и уходил... А теперь уверенно шел впереди: вон, маячит в полутьме коридора — точь-в-точь Гермий-Проводник ведет тени в их новую обитель!

Обычно Старик всегда тенью следовал за мной! позади — или рядом... Что случилось? И еще чувствовалось: мой вечный спутник взволнован и встревожен. Впервые в жизни я видел волнение Старика...

О делах заговорили только назавтра. Уютно расположились на весеннем солнышке; слуги вынесли кресла — высокие, подлокотники в виде спящих львов. Куда спе-

шить? Гость не на день приехал, не на два, всему время найдется: и брюхо потешить, и о делах поговорить, и на охоту сбегать...

— ...ох уж эти «деньги»! С одной стороны, удобно, спору нет. С другой...

Что «с другой», было ясно. «Пенные братья» тоже никак не могли решить окончательно: к добру ли Паламеды новшества, к худу ли? Везет купец товар морем — все ясно, все на виду. А мешочек-другой с клейменым серебром можно так спрятать, что за месяц не найдешь! Идет купец порожняком, вроде бы, и взять нечего, а у самого новомодных «денег» припрятано — куры не клюют!

Общие заботы у «пенного братства» с «волчатами Автолика».

— Сбор установили? — Одиссей решил брать быка за рога. — Установили. Сколько платить, известно? Известно. Вот пусть и платят, хоть «деньгами», хоть чем. Не в «деньгах» счастье. Мы с отцом так решили.

Очень Толстый покатал вино на языке:

— М-м-м... оно, конечно, верно. Да все равно часть товара через те «деньги» мимо проходит. Без сбора, — гулкий, сокрушенный вздох. — Мы, конечно, кого на шалостях поймает — карает, чтоб другим неповадно... Жаль, шалуны не переводятся. А у вас как с этим, на море?

— Да так же, — пожал плечами Одиссей. — Вы лучше о другом подумайте, любезные дядюшки: наши эвбейцы, Навплий с сыном, дальше заглядывают. Слыхали небось: азартные игры тоже, оказывается, Паламед-умница придумал?! А играть на «деньги» куда удобнее... Баранами, или там маслом, еще когда считаешься, а тут: выиграл — получи, проиграл — отдавай. Сразу. Вот они и стали на Большой Земле в харчевнях отдельные покои для игр отводить. Содержателям, понятное дело, десятина.

— Удивил! — хихикнул просто Толстый. — У нас у самих таких игорных домов при харчевнях... Вот только в портах пока не выходит закрепиться. А там ведь самая игра, народ при «деньгах», при товаре...

— Ну-ка, ну-ка, дядюшка, поподробнее, — прищурил-

ся Одиссей. — В каких портах? Но имей в виду: Итака — в доле...

«Еще надо курс обмена согласовать: клейменных слитков Дома Мурашу к Паламедовским. И про долговые обязательства... поставки дуба для килевых балок!...»

Разговор складывался.

* * *

Утро выдалось солнечным, ярким, но ветреным. Словно Борей¹, сорвавшись с цепи, вознамерился любой ценой сорвать с трепещущей в страхе листвы разноцветную радугу. Сорвал.

Или не сорвал — Гелиос раньше высушил?

Шумит, разметанная пронзительным свистом, нежная зелень. Звенит воздух, насквозь пронизан золотыми лучами солнца. Мечутся тени по земле, громко хлопают вывешенные для просушки полотна... Бабушка Амфитея образовалась рядом незаметно — даже отороπή взяла, как это дородная старушка ухитрилась подобраться мышкой?!

— Пойдем, внучок. Проведаем твоего дедушку.

Я невольно вздрогнул.

— *А может, дедушка еще приедет?*

— *Нет... не приедет. Он умер.*

— *Ну и что?! Я с Ментором играл! а дядька-зануда со своим кенотафером... А Эвриклея сказала, что кенотафер — это для мертвых. Так, может, и дедушка...*

— *Замолчи!..*

О таком легко думать и говорить в детстве. Когда не видишь особой разницы между живыми и мертвыми. Когда испуг окружающих выглядит смешным и нелепым. Став взрослым, об этом лучше не вспоминать, не задумываться — иначе можешь неожиданно найти ответ, правильный и страшный, который увлечет тебя за собой в бездны Эреба, без возврата...

— Да, бабушка, пойдем.

¹ Борей — северный ветер; одновременно — бог северного ветра.

Толос¹ дедушки Автолика находился рядом. На склоне пологого холма, в полутысяче шагов за оградой усадьбы Автоликидов. По тропинке шли степенно, как и положено, дабы проникнуться мыслями о вечном. Но проникнуться не удавалось.

Мешал Старик.

С ним творилось дαιмон знает что. Обычно бесстрастный, он суетился, то и дело сходил с тропы, останавливался, дважды пытался повернуть назад. Но словно невидимый поводок возвращал его на тропу, тащил вперед, к цели нашего путешествия. Несколько раз Старик оборачивался в мою сторону, страдальчески морщился, будто хотел обратиться с просьбой — но так ничего и не сказал.

Рок смертных: ты боишься, и в то же время тебя влечет к источнику твоих страхов. Опаска перерастает в страх, страх — в ужас, ужас — во что-то иное, без названия, а ты все идешь, идешь, пока не останавливаешься. Пришел. Увидел. Взял в руки. Страшно?..

Мы шли к толосу Волка-Одиночки, моего деда.

...скрип медного ключа в замке. Сырость? Запах тлена?

Нет.

Внутри сухо и опрятно. Если чем и пахнет, то — застарелой пылью. Просто пылью, а отнюдь не прахом Вечности и лугами бледных асфodelей, как напыщенно выражаются аэды.

Волчий профиль над входом: дедов знак. Вниз ведут крепкие, не стертые от времени ступени. Из сумрака проступает плита с плохо различимым отсюда барельефом. Двое спускаются по ступеням, оставляя в пыли четкие следы: бабушка Амфитея впереди, я — следом, отчего-то стараясь не наступать на следы женщины.

Тень перекрывает вход за спиной. Я оборачиваюсь. Действительно, тень. Бледный сильнее обычного, Старик отчаянно вцепился в край проема. Напряглись мощные

¹ Толос — гробница, склеп.

мышцы, вены вздулись на лбу, грозя превратить тень в живого. Словно в спину ему бьет ураган, и вот-вот швырнет Старика внутрь, в гробницу, захлопнув за ним тяжелые створки дверей.

Старик держался. Пока держался.

Я с усилием отвел взгляд от своего вечного спутника. Обернулся к могильной плите, под которой покоился прах Автолика:

— Радуйся, дедушка. Я обещал поблагодарить тебя при встрече за подарок: я исполняю обещание. Спасибо за лук... и за все.

Губы беззвучно шевелились. Тихий, почти неразличимый шелест слов. Словно в ответ, запричитала Амфитея:

— Что ж ты так рано ушел, муж мой? Неужто не мог обождать меня? Говорят, во мгле Эреба тени беспамятны — но я верю, мы и там узнаем друг друга! Автолик, муж мой!

Старик в дверях дернулся как от удара. На миг руки его ослабли, и напор тайного ветра едва не швырнул Старика в склеп. Однако он каким-то чудом удержался на пороге.

— ...неужели твой божественный отец не мог уговорить смерть повременить? не забирать тебя к Владыке Аиду?! Мы бы сошли к нему вместе. Зачем ты покинул нас, Автолик?! Мое сердце разрывается...

Старика в дверях выгнуло дугой. Руки безвольно обвисли. Он упал на колени. С усилием поднялся и, подталкиваемый в спину властной ладонью, начал деревянной походкой спускаться по ступеням.

Мы встретились глазами.

— Останови ее! Останови!!! — Гордый, он никогда бы не крикнул вслух того, о чем молил взглядом. — Не дай ей... в третий раз!..

Костлявые пальцы сжали сердце. Холодно; скучно. И между двумя ударами явилось озарение: *что* не должна сказать Амфитея в третий раз и *что* это значит для Старика. Сердце дрогнуло, толкнулось в грудь; забилося чаще. В следующий миг я запретил себе думать об этом.

Такие мысли — не для живых.

Я сумасшедший. Я не умею думать. Я умею видеть, чувствовать и делать.

— Успокойся, бабушка! не надо!.. Живым — жизнь!.. вот я приехал, твой внук... еще правнуков дождешься... Не надо...

Амфитея упала мне на грудь, разразившись рыданиями. Я медленно повел ее к выходу. Старая женщина постепенно успокаивалась, приходя в себя, но сейчас это было не главное. Главное совершилось, когда внук не позволил бабушке в третий раз...

Не думать! Не думать об этом!

Всю обратную дорогу царило молчание. Одиссей бережно поддерживал старуху под руку, а Старик плелся позади, едва переставляя ноги.

Мы никогда потом не разговаривали с ним о случае в толосе.

Никогда.

АНТИСТРОФА-I

БОГИ БЬЮТ В СПИНУ

— Что-то ты смурной сегодня, племянш! Засиделся на одном месте? кровь молодая застоялась? Ничего, завтра с утра на кабанью охоту пойдем! И пса своего бери — он от безделья скоро уже не за сучек, за рабынь примется! Знатный кобель, ничего не скажешь. Сколько ему?

— Да уж тринадцатый год, — наскоро прикинул в уме Одиссей. И сам удивился: он никогда не задумывался о сроках песьей жизни, и сколько лет Аргусу по собачьим меркам.

— Нашел дурака! В самом соку кобель, лет пять, не больше!

Спорить было лень.

— Ишь, здоровенный какой, — не унимался Толстый, придирчиво разглядывая дремавшего на солнце Аргуса. — Уж не от Цербера ли щенок? — чуть натянуто хохотнул он. — Ходит такой слух...

— Не от Цербера. От Тифона, — с самым серьезным

видом, на какой только был способен, важно заявил Одиссей.

И едва удержался от смеха, глядя на ошарашенную физиономию Толстого.

* * *

Прошлогодня хвоя упруго толкалась в подошвы сандалий. Ветка цветущей липы медово сочилась на изломе, от венчиков тянуло детством и няниными заботами; а в кронах, ставших кронами, собетвенно, за день-два, превратив наивные почки в буйство клейкой зелени, неистовствовали хмельные птицы. Одиссей чувствовал себя поэтом. Аэдом, рапсодом, дифирамбистом, этим... как его?.. демагогом?! а, вспомнил! — мусажетом. Который всем музам отец родной. Не тем музам, что музы и аэдов розгами по афедрону, а тем музам, что музы и аэдов милостями по заслугам... ну, короче, вы поняли. И пускай тебе ямб через хорей вдоль шестистопного пеона вкупе со спондеем и перихием (я? бранюсь?! да что вы, я поэт...) — суть в другом.

Понимаете, Парнас — это всем горам гора!.. Не в росте дело, не в седине вершин; ну их, эти вершины. Вот, к примеру, есть здесь такой родник — Гиппокрена. Лошадиный источник, нарочно для возвышенных духом. Лично Пегасом в земле выбит. Если вдохновение ушло, ты прямиком сюда: хлебнешь из копытца, жеребеночком станешь. Крылатым. Иго-го! — и на стенку: оды, гекзаметры всякие, будто из рога изобилия. Что говорите? не на Парнасе сей источник, а вовсе на Геликонской горе? — полно вам! Мне вот хорошие люди сказали-показали, хорошим людям я верю, а вы еще неизвестно кто будете — может, хорошие, а может, и дрянь дрянью. Зато Кастальский ключ точно здесь. Течет чистым восторгом сердца. Падешь на коленки, хлебнешь...

Одиссей счастливо рассмеялся. А здорово будет, где-нибудь в Аргосе или Спарте, ввернуть эдак небрежно: «Охочусь, значит, я на вепря близ Кастальского ключа...» Не поверят. Решат: поэтический вымысел.

Дядя, тяжелые на ногу, отстали. Сперва было слышно, как они перекрикиваются в ракитнике, идя напролом,

а дальше стихло. И Эвмей отстал. Он хромой, ему трудно. Зато Старик плетется рядом, не отстает; и еще Аргус. Озирается пес: издалека ветер несет лай своры и вопли загонщиков. В ноздрях щекотно от весны; в душе разливался птичий щебет. Трудяга-пчела запуталась в волосах. Недовольно воркотнула, выбралась и полетела искать более подходящий цветок.

Безмятежность окутывала Парнас.

Только вдали, не слышный никому, кроме одного рыжего охотничка, погромыхивал гонг *Номоса*. За последние два года он стал привычным, обыденным. Некогда треск скорлупы, а после — гул бронзового панциря, сейчас звук опасности больше не оглушал, заставляя морщиться и искать спасения от головной боли. Просто сигнальный огонь; ритм-напоминание — гляди в оба! Ясное дело: кабанья охота, это вам не корову доить, это дело опасное...

Одиссей не хотел признаться сам себе: он потому и опередил всех, что пошел на гонг. Туда, где вибрировал отзвук возможной беды. Там наверняка вепрь; там клыки, тяжеленная туша и сто талантов дурного нрава. В бою надо идти в тишину, но сейчас не бой.

Охота.

А она, как известно, пуще неволи.

...я действительно привык к гонгу. Научился пользоваться без последствий. Распознавать оттенки звучания, как опытный кифаред различает пенье струн. Иногда надо уйти прочь, иногда — шагнуть навстречу. Как у Малейского мыса, где «Пенелопу» сговорились пустить на дно два ушлых сидонца. Это было уже не впервые; прошлые разы дело кончилось абордажной резней. Сейчас же они оторопели, когда мы невидимкой вынырнули из-за скал Киферы и пошли в лоб. В гонг, колотушкой. Помню, я потянулся домой, в тишину, и взял лук. Потом мне подвешат прозвище «Эвскопос» — Меткий. Скажут, что я не стрелял: просто клал стрелы, дотягиваясь через море, как домовитая хозяйка раскладывает припасы в заранее уготовленные места. Лук и жизнь — одно; моя жизнь, мой

лук. А когда со стороны Крита подоспел кормчий Фриних, без промедления решаешь на таран...

В этом бою Фриних потерял корабль и перешел ко мне, на «Пенелопу».

Через месяц я снова бил в гонг собой: меня пригласили на Эвбею, я согласился. Явился, улыбался, простил треть давнего долга — и стало тихо.

Я привыкал.

Привык.

* * *

С пятеркой загонщиков, вооруженных ножами и охотничьими рогатинами, Одиссей столкнулся близ озерца. Шумел камыш, тянуло прохладой, собачий лай смолк — лишь басом вещал гонг: вепрь где-то рядом.

Затаился. Ждет.

Загонщики остановились поодаль. Переглянулись. Старший опустил котелок, куда незадолго до встречи лупил обухом плотницкого топора:

— Попутного ветра и свежей воды!

Желая сделать гостю приятное, каждый второй из здешней челяди шеголял морскими словечками. А моря-то небось в глаза не видели.

— Уважаемый Лаэртид один? без спутников?

— Один. А что?

— В одиночку на вепря?

Аргус засипел. Подался вперед. Пришлось ухватить пса за холку.

— Почему в одиночку? Вон нас сколько...

— Ну да, ну да...

Наверное, загонщики и должны были удивиться, встретив здесь одинокого гостя. Но удивились они как-то странно. Так удивляются, когда рассчитываешь на встречу... ну, скажем, в Лакедемоне, а встречаешь в Эпире.

— Вепря видели?

— Ну да, ну да... видели. Он в камыши ушел.

Одиссей повернул голову, вглядываясь в заросли вокруг озера; и гонг откликнулся сильнее. Да, пожалуй,

вепрь там. Вон что-то темнеет... или просто валун, поросший космами лишайника?

Загонщики подошли ближе.

— Я пойду к озеру, — продолжая внимательно изучать камыш (валун? вепрь?!), Одиссей теснее прихватил Аргуса. — А вы обойдите низинкой и начинайте стучать. Хорошо?

— Ну да...

Бронза гонга взгремела оглушительно и жестоко. Разом вернув давние времена. Обернуться Одиссей не успел: все внимание приковал к себе Старик: вон, как обычно, сидит на корточках чуть впереди. Лицо Старика скомкала чудовищная гримаса: наверное, так смотрит связанный, бессильный отец семейства, когда на его глазах насилуют жену и дочерей. А дальше случилось и вовсе невероятное. Извернувшись, Старик упал вперед, на четвереньки; обеими руками вцепился в собачью тень. Рывок выдал опытного борца: тень по-щенячьи всплеснула лапами, дернулась к мучителю — и следом за тенью, словно привязанный, рванулся Аргус.

Одиссей не успел разжать пальцы. Собака проволокла рыжего на шаг-другой, прежде чем удалось остановить разбег.

— Аргус! сдурел?!

И в ответ, дружным хором загонщиков:

— Кабан! кабан!!!

Впереди была тишина. В камышах, в озере, на дне, на поверхности, где плясали водомерки, — тишина. А за спиной корчилась, исходила воплем бронза Мироздания. Под колено правой ноги плеснули кипящей смолой; боль обожгла, оглушила, сделала незаметной другую, малую боль — лопнул пояс, хитон на боку разошелся под жалом рогатины, вдоль ребер вспух пористый рубец, сочась капельками крови.

Не сорвись Аргус, останься рыжий на прежнем месте — лежать обоим рядышком, на весеннем Парнасе. Плыть вместе через черный Стикс на ладье Харона-перевозчика. Или все равно: лежать? плыть?!

— Кабан!

При чем тут кабан? откуда — кабан?.. Раненая нога от-

казалась служить. Падая лицом вперед, Одиссей услышал боевое шипение Аргуса. Истошно заорал кто-то, чтобы почти сразу захлебнуться; у плеча сверкнула, с хрустом вонзилась в прель хвои двузубая молния. Из голубизны неба валился плотницкий топор, вместе с тушей его обладателя. Перекатившись на спину, рыжий принял нападающего в объятья, стараясь удержать руку с топором. От загонщика пахло страхом и гнилыми зубами, косматая пасть норовила вцепиться в ухо, изрыгая дурацкое:

— Кабан! ка...

Впервые в жизни закричал Аргус. Отчаянный скулеж... тише... тишина. Тишина там, где нет топора; там, где камыш... Суковатая дубина ударила сбоку, еще раз; плечо разом онемело. Лишь вопила надрывно раненая нога, теряя кровь, жизнь; и обух все-таки накренился. Зацепил лицо.

Хрустнула переносица, забив дыхание соленым кляпом.

— Кабан! ка... а-а-а!..

Комок перьев с разгона вонзился прямо в крик. Мелькнул хищный клюв, растопыренные когти; вопль скомкался, забитый птичьим пухом. Огромная сова рвала убийцу, превращая лицо загонщика в кусок сырого мяса.

— А-а-а!..

Они бежали. Кроме терзаемого совой главаря; кроме одноглазого плешильца, задушенного Аргусом. Они бежали, и наконец удалось скинуть с себя живой щит чужого тела, удалось привстать, взглянуться сквозь кровавые слезы, увидеть, прежде чем сознание милосердно оставило Одиссея:

...статная женская фигура закована в броню. Словно драгоценный камень — в металл перстня. С нагрудной эгиды страшно глядит змеевласый лик. Копье в руке. Легкий шлем открывает лицо, и синие, немыслимо, невозможно синие глаза горят бешенством львицы, защищающей детеныша.

Взгляд Деяниры.

Взгляд куретки Арсинои.

Взгляд богини на утесе.

Тритогенея, Алалкомена, Промахос, Полиада, Парфенос¹, сова и змея, олива и крепость, дочь Зевса-Жестокого² — Афина Паллада.

И — свежий, пронзительный, ввергающий в соблазн безумия запах яблок.

— Дурачок... я и сама не знаю, за что тебя люблю.

— Тоже мне загадка Сфинкса...

— А ты знаешь разгадку?

— Конечно. Я рыжий, коренастый, сумасшедший и слегка хромаю. А еще я очень хитрый.

НОМОС И КОСМОС

(Ню-тюмическая монодия³)

Влажная, липкая тьма. Две звезды: синяя и зеленая.

Два слова: *Номос* и *Космос*.

Оба не имеют для меня никакого значения.

...память ты, моя память... опытный палач. Я очень не люблю возвращаться сюда. В беспмятство — продлившееся день? два? В дурман забытья. Наверное, потому, что возвращаюсь чаще обычного. Влажная, липкая тьма. Две звезды: синяя и зеленая. Два слова: без значения, без лица...

...без смысла. Свернувшись калачиком, я покоюсь во тьме. Чутьем различая: где тьма, где я. И в то же время: тонкие нити, пронизанные молочно-белым светом, уползают во мрак от моих пальцев, коленей, волос, от моего покоя, трепета, голода, блаженства. Я и тьма существуем

¹ Прозвища богини: Тритогенея (Рожденная у озера Тритон), Алалкомена (Защитница), Промахос (Воительница), Полиада (Защитница городов), Парфенос (Дева); дальше — Паллада (Победительница гиганта Палланта).

² Жестокий (Схетлиос) — эпитет Зевса; к людям применялся в бранном смысле.

³ Одноголосная песнь духа и разума.

каждый сам по себе, обменявшись частицами этой отдельной сущности. **Номос** — Антикля, дочь Автолика, лучшая из матерей. **Космос** — все, что за влажной тьмой. Множество иных **Номосов**, до которых мне нет никакого дела.

Два слова: внутри и вне.

Я — внутри; смысл — вне.

«Одиссей! — зовет кто-то, кому плохо без меня. Нити дрожат, струятся призрачным сиянием; некоторые рвутся, но взамен растут новые. — Одиссей, сын Лаэрта!»

Это в первый раз.

Яркий, ослепительный свет. Два солнца: синее и зеленое. Два взгляда. Встречаются, сливаются воедино — это море. Только море, ничего больше. И в самом центре, омфалосом бытия — Итака. Если глядеть сверху (синее! зеленое!..), очертания острова напоминают смешного сатирика. Рогатик широко распахнул рот, лапа тянется положить туда добычу. Добыча — это я. Одиссей, сын Лаэрта. Меня позвали. Тонкие нити, пронизанные пепельно-серой мглой, тянутся в море от моих пальцев, коленей, волос, от моего смеха, плача, обиды и восторга. Я и море существуем каждый сам по себе, честно делясь «пенным сбором». Мы любим друг друга, как истинные любовники, становясь целым лишь для того, чтобы вновь разделиться.

Номос — Итака, груда камня на задворках Ионического моря; ласка матери, строгость отца. «Славно, славно...» — бормочет дядя Алким. «У тебя есть нож, базиленок?» — спрашивает рябой Эвмей. «Дурак! дурак!..» — сердится Далеко Разящий, ероша курчавую шевелюру. «Стрела Эглета» подходит к пристани. «Не спится, маленький хозяин?» — сочувствует няня. Молчит Старик.

Космос — все, что за лазурью и зеленью моря. За вопросами и ответами; за лаской и строгостью. Множество иных **Номосов**, до которых мне нет никакого дела.

Два слова: внутри и вне.

Я — внутри; смысл — вне.

Нити трепещут, поют. Их дальние края вяжут хитрые, морские узлы: пещера на Левкаде, где я переживал бурю, берег Акарнании, дорога на Калидон... заливы Пелопоннеса, Спарта... Арголида... море играет именами, вместо

целого притворяясь черепками, россыпью жребиев: Мир-тойское, Лиловое, Критское, Фракийское... «Наша встреча не случайна», — поправляет венок Калхант-прорицатель. «Де-е-е-ти!» — воет костистый старик по имени Геракл. «Как же ты похож на него в юности...» — стонет ночь. Пенелопа на плече; Елена на ступенях... драгоценный якорь двух последних лет!.. боль под коленом и дурацкий клич: «Кабан! кабан!..»

Это *Номос*.

Космос — все, что за этим. Множество иных *Номосов*, до которых мне нет никакого дела.

Два слова: внутри и вне.

Я — внутри; смысл — вне.

«Одиссей! — зовет кто-то, кому нельзя без меня. Нити вздрагивают, мгла в них зябко передергивает плечами из пепла, заставляя вибрировать струны вселенской лиры; некоторые рвутся, но взамен растут новые. — Одиссей-Странник! Сын благородный Лаэрта, герой, Одиссей многоумный!»

Это во второй раз.

Плоской нам мнится земля, меднокованным кажется небо... Зеленая от времени медь тяжело нависает над головой. Гремит сотней молотов. Два вихря: синий и зеленый. Два смерча, состоящие из нитей, пронизанных ледяным пламенем: мои честь и подлость, заискивание и гордыня, надежды и разочарования. Расту вверх. Я и небо существуем каждый сам по себе, тесно сплетаясь пальцами, словно двое путников на краю пропасти. Хмурит брови гневный Зевс. Пояс, сотканный из вожделения, обвивает Пенно-рожденную Киприду¹. Хромота кузнеца Гефеста, лукавство Гермия-Проводника; вспыльчивость лучника Аполлона. Олимпийское спокойствие, хохот богов... предчувствие удара в спину — это так по-человечески, и все же...

Запах яблок.

Номос — плоскость земли и медь неба. Дом в два этажа; покои, кладовки, лестницы, коридоры... *Космос* —

¹ Прозвище Афродиты по месту рождения.

все, что за этим. Множество иных *Номосов*, до которых мне нет никакого дела.

Два слова: внутри и вне.

Я — внутри; смысл — вне.

Скоро меня позовут в третий раз.

* * *

— Одиссей!.. ох, Одиссей...

Запах яблок — свежий, пронзительный. Две звезды: обе синие. С неба опускается рука, вытирает мне пот. Ткань дышит прохладой.

Сова и змея, олива и крепость.

— Зачем?

Спрашиваю выдохом. Я безумец. Есть множество слов, так легко цепляющихся друг за друга: «Мог ли признать я Палладу Афины? — меня неизменно в тяжких трудах подкреплявшую, в горьких напастях хранившую верно...» Наверное, можно было бы набрать полную грудь воздуха. И вместо глупого выдоха «Зачем?» — целую гекатомбу, великое приношение из слов, дорогих и легких.

— Я не хочу потерять тебя снова...

Ласковые руки откидывают покрывало. Прохлада плещет на ногу — туда, где огнем горит рана. На немое, мертвое плечо. На лицо: переносицу щиплет. Яблочный аромат становится сильней. Мне стыдно и прекрасно.

— Глупая... раньше был не я. Я другой...

Сейчас за это «глупая...» меня вместо прохлады сошлют в Тартар. До скончания времен. Или привяжут к огненному колесу, принудив кататься вечно от восхода к закату. Или подарят мою печенку очередному коршуну.

Никогда не умел промолчать.

— Я знаю. Ты другой. Первый был груб; ты нежен. Второй был самонадеян; ты осторожен. Третий был неистов; ты спокоен. Я знаю, милый... ты — другой...

У нее мягкие, добрые губы.

Не знаю, смогу ли я назвать ее по имени.

— Мне никогда не расплатиться с тобой. Любая жертва покажется ничтожной...

— Молчи. Тебе нельзя разговаривать. Жертва... зачем

мне жертва — от тебя? Я действительно глупая: радуюсь, что все случилось здесь, на Парнасе! Будь ты дома, я бы не смогла найти тебя...

Не спрашиваю: почему? Кажется, я догадываюсь. В плече пульсирует огонь. Отрадный, теплый. Зато под коленом пламя гаснет, кострище боли подергивается сизым пеплом. Боги, какое счастье — чувствовать свое тело!

Боги...

— Уезжай, милый! Прошу тебя! После того, что ты натворил в Спарте — я сильна, но моя Семья...

— Твоя семья? строга и ревнива?

— Да. Моя Семья. Мне еле удалось убедить их не трогать тебя сразу после клятвы. Пришлось сыграть на высокомерии: дескать, нелепо гневаться на камешек в сандалиии, вынудивший споткнуться. Но вдвое нелепее хватать молот, дабы растереть камешек в пыль. Тем более что придуманная тобой клятва позволила Семье...

Молчу. Я — камешек. В сандалиии.

— Уезжай! спрячься! Гроза пройдет мимо: я знаю, Отец и не взглянет в твою сторону! уезжай!..

— Гроза?

Синие звезды туманятся. Меркнут. Тихий, печальный шепот:

— Ты устал. Хочешь, я расскажу тебе сказку?

— Страшную?

— Как водится. Страшную.

— Хочу.

— Тогда слушай. Давным-давно, когда Елена Прекрасная выбрала себе в мужа Менелая Атрида — жил-был в Фессалии герой Пелей-Неудачник...

— А почему Неудачник?

— Потому. Жизнь такая. В юности случайно убил сводного брата. Позже ненароком тестя прикончил. Был оклеветан женой друга, много страдал!.. казнил и друга, и жену...

— Бедняга.

— Да. И стало Семье жаль горемыку Пелея. Решили явить чудо. Из Неудачника сделать Счастливец. А в чем счастье смертных?

— Долголетие? удача в браке? богатство?

— Угадал. Ну, богатство — это проще простого. Сказано — сделано. С долголетием пришлось повозиться, но тоже... два срока у мойр отвоевали. Остался удачный брак. Что ты знаешь о тайне Прометея?

— Что и все: украл огонь, был наказан.

— Огонь... Разве это тайна — огонь? Тайна титана-Провидца была в другом: кто из богинь родит Зевсу будущего отцеубийцу?

— Я...

— Молчи. Это сказка. Всего лишь сказка. Так Фетида Глубинная была вынуждена стать женой смертного. Героя Пелея-Счастливец. И была свадьба, и был на свадьбе весь Олимп; только людей не было, кроме жениха. И еще было на свадьбе яблоко с надписью «Прекраснейшей», из-за которого поссорились три богини.

— Ты пахнешь яблоками...

— Молчи! И брани быть, и городам гореть, и женщины вина, а не богов, что сгинут и герои, и вожди! Живи, я прошу тебя! живи долго... Скоро эту сказку станут рассказывать все. А Парис-троянец уже в море, и корабль несет к чужим берегам Елену, жену Менелая! Милый, ты придумал клятву клятв! — скоро вы встанете под гибельной твердыней, скоро грянет развод неба и земли. Свадьба Пелея и Фетиды — последняя.

— Развод?

— Да. Мы жили вместе, в одном доме. Бранились, мирились, зачинали общих детей, делали подарки... пакости тоже делали. Но жить надо отдельно. У одного горшка не бывает двух хозяек.

— Моя няня говорит то же самое...

— Твоя няня — мудрая женщина. При разводе муж возвращает полученное за невестой приданое. Ваше приданое — иxor. Кровь Семьи; серебряная волна в ваших жилах. Вы вернете ее под Троей. И у страшной сказки будет единственно возможный конец. Уезжай домой, милый! я не хочу потерять тебя снова...

— Ты пахнешь яблоками...

— Замолчи! спи...

Меркнут, гаснут две синих звезды.

Строфа-II

МЕДНЫЙ СМЕХ НЕБА

— ...Вам, герои микенские,
Саламина воители,
шлемоносные аргосцы,
вам, спартанцы-копейщики
и мужи мирмидонские —
Песнь войны!

Видеть ахейцев душа горит
рати суровые!

Просыпаться не хотелось. Совсем. Там, во сне, Сова
еще никуда не ушла, и нога перестала болеть, позволяя ку-
паться в яблочном аромате...

Во сне никто не орал над ухом гнусавым голосом:

— ...львы могучего Пилоса,
беотийские ястребы,
быкоглавые критяне —
под стенами троянскими,
честь и слава рассыпаны.
Собирай!

Любо взору считать, не счесть
тьмы кораблей!

Нет, все-таки придется. Хотя бы для того, чтобы за-
ткнуть пасть крикуну! Подрядился зарю кукарекать? — так
из петухов иногда супы варят!

— ...итакийские кормчие,
конеборцы-фокеяне,
локры-копьеметатели:
ваша гордость похищена,
ваша клятва вызывает к вам —
смело в бой!

Где ни встретишь троянца ты —
там убей!

Ну вот, и до Итаки добрался. Пора прекращать безоб-
разие! Одиссей с сожалением открыл глаза, попытался
сесть на ложе. В итоге сперва ослеп от яркого света;
потом — от боли! Наяву нога заживала куда медленнее,
чем во сне.

Во сне?!

Рыжий усмиритель аэдов со стоном повалился обратно на ложе. В ответ скрипнула, приотворяясь, дверь.

— Матушка? — осведомились басовитым шепотом. — Как он?

В углу встрепенулась бабушка Амфитея, добровольная сиделка:

— Спит, спит внучок! Жар вроде спал, хвала Асклепию...

— Стонет...

— Полно вам шептаться! Заходите, дядюшки!

На сей раз Три Толстяка протискивались в дверь в обратном порядке: первым объявился Самый Толстый, следом — средний брат, потом — младший. А за младшим прошмыгнули рябой Эвмей и... Аргус! Пес изрядно прихрамывал, чтоб не сказать: плелся еле-еле — но тем не менее бодро вилял огрызком хвоста.

— То-то я слышу: шебуршат! Никак, думаю, племяш очнулся! — загудел Самый Толстый, мостясь на низенькую скамеечку подле ложа. Остальным пришлось толпиться у старшего за спиной, будто ратникам — за крепостной стеной. Лишь Аргус пробрался к хозяину и лизнул Одиссееву ладонь. После чего удовлетворенно рухнул рядом на пол — охранять.

— Да вот, — виновато заморгал сын Лаэрта. — Сесть хотел...

— Сесть ему! встать! Из тебя кровящи натекло: море! После такой раны люди по неделе без чувств валяются — а ему сесть... Голова-то как? И плечо?

Одиссей прислушался к себе.

— Голова в порядке. А плечо болит.

Толстый удивленно цокнул языком.

Очень Толстый хмыкнул:

— У вас на Итаке все двужилые? Псина твоя — тоже думали, сдохнет. А он, гляди, приперся!

— Я ж говорил: от Тифона щенок, — улыбнулся Одиссей, опуская здоровую руку на безухую Аргусову башку. Пес блаженно зажмурился.

— Ладно уж, «от Тифона»... Давай-ка лучше рану посмотрим.

И, едва размотав повязку:

— Ну, парень! ну даешь! Через пару дней плясать станешь, если дальше так дело пойдет...

Самый Толстый скомкал улыбку. Отвердел лицом. В горле его пискнуло, бас надломился, стал острым, визгливым:

— Этих... загонщиков — взяли их. Остатки. Одного твой зверь кончил; второй, с драной мордой, умом тронулся. Лепечет не пойми что. Мы его даже резать раздумали: слепой, калека... свое получил. А остальные...

Он скривился, будто оскомина скрутила рот в узлы.

— Тряхнули мы их маленько. С душой, с толком. Я так понимаю, любят тебя боги, племяш... Ладно, не нашего это ума дело. Хлебни-ка и слушай.

Очень Толстый подал Одиссею чашу с пряным отваром. Вкус у снадобья был приятный. Полынью тянуло, горчинкой.

— Нанял их темный человешишка. Как назвался — плевать, все равно настоящего имени не сказал. По виду: купец средней руки. Однако заплатил вперед, и щедро. Обещался потом вдвое добавить. Добавил бы небось: нож в брюхо. Чтоб концы в воду. Настоящий заказчик, ясно, не «купец». Знать бы, кто...

— Толку-то? — буркнул Одиссей, отрываясь от чаши.

— Это верно, племяш. По гнилому подозрению войной на Эвбею не пойдешь. А больше у нас и нет ничего.

Снадобье внезапно стало горьким-горьким. До слез.

— Да, еще: один паскудник за легкую смерть вот что рассказал. Этот самый «купец» строго-настрога велел: нападете на Лаэртида — кричите: «Кабан!», да погромче! Мы сперва не поняли: к чему бы? Лучше по-тихому...

— Диомед-аргосец. «Кабан!» — боевой клич его рода. Далеко, видать, метили, — возвращая пустую чашу, Одиссей зашипел от боли в плече. Почему-то разговор виделся малозначащим, касающимся кого-то чужого, далекого. Будто нытье зуба с дуплом, после изрядного глотка макового настоя. — Меня убить — полдела. А вот Итаку с Аргосом, а заодно и с вами, дядюшки, рассорить! Приехал родич в гости и не вернулся...

— Да мы уж сами смекнули. И вот что решили: молчать об этом деле надо. Глухо. Вепрь тебя на охоте подрал, и все. Отцу своему, понятное дело, скажи, а остальным, про убийц-то...

— Про каких убийц, дядюшка? Вепрь меня подрал. Слыхал, Эвмей?

— Слыхал, хозяин. Я виноват, недоглядел.

На мгновение в покоях повисла тишина; и со двора вновь прорвался вопль аэда:

— ...встаньте, чада Пелопсовы,
вы, любимцы Зевесовы,
пряньте, гневно-неистовы:
гребни шлемов волнуются,
будто нива созрелая —
быть грозе!

Чую великий порыв легкокрылых судов
к Илиону!..

Эти слова, прозвучав в густой, словно масло, тишине, вдруг стали тяжким, окованным медью тараном. Пробили смоленые борта вокруг Одиссея; насквозь пронизали забитый всякой рухлядью трюм. Рухнула преграда, до сих пор отгораживавшая звуки песни, несущейся со двора, от вложенного в них смысла — и соленый, горький смысл потоками воды хлынул внутрь гибнущего корабля.

Запах яблок. Страшная сказка.

Елена. Троя. Клятва. Война.

Развод земли и неба.

— А, так ты ведь новость не знаешь! Представляешь...

Дядюшка ошибся: он знает. Но дядюшке об этом знать ни к чему.

...ваше приданое — ихор. Кровь Семьи; серебряная волна в ваших жилах. Вы вернете ее под Троей. Уезжай домой, милый! я не хочу потерять тебя снова...

— ...украл! пока муженек на Крите, эта троянская сволочь...

— Аэд рассказал, что ли? — Одиссей чувствовал: ему становится *скучно*. Холодно. Мысли — шарики из метал-

ла, взятые с ледника. Катаются в горсти, хрустят инеем. Как тогда, в Спарте, перед ночным визитом к Тиндарею; только без любви и бронзы.

— Он самый. Ангелом зовут, пройдоху.

— Ангелом?! Гоните его сюда.

— Знакомец? Младшой, кликни певуна. А мы, пожалуй, пойдем — тебе отдых нужен...

Бабушка Амфитея осталась, но лишь затем, чтобы строго предупредить вошедшего с поклоном Ангела:

— Ты смотри мне, пустозвонством внука не донимай! Знаю я вас, болтунов... дай вам волю!..

— Не беспокойся, госпожа! — разлился соловьем Ангел, корча уморительные гримасы. — Великий герой позвал меня, и вот он я! Явился на зов. Но едва увижу, что скромный аэд надоел богоравному Одиссею, я немедленно покину...

— Покинешь, — прервал его Одиссей, глядя, как неохотно закрывается дверь за уходящей бабушкой. — Куда ты денешься? Кто под окном орал?

— Я, — с достоинством ответил аэд.

— Песню сам сочинил?

— А то как же! Мы, златоусты, чужими брезгуем!

Ладно. Любимцы муз — они все с придурью. А Ангел — в особенности.

— Откуда новость узнал? Про Троию, про Елену?

— От гонца микенского. По пути встретил.

«Врет и глазом не моргнет! Станет гонец останавливаться и со всяким бродягой языком трепать! Так ему, куда надо, за год не добраться...»

— Не к тебе ли, златоусту, гонца слали? — подмигнул рыжий. Больше с целью уличить аэда во лжи.

— Зачем ко мне? Я человек маленький. К Нестору Пилосскому слали; на совет в Микены звать.

— На какой совет?

— На военный. Братья-Атриды громче всех кричат: клятва, все как один...

В углу шевельнулся Старик, прежде сидевший без движения. Словно вмешаться собрался, упредить, уже рот раскрыл — да раздумал. Быстроглазый аэд на лету пере-

хватил косой взгляд Лаэртида. Глянул туда же. Ничего нет, пустое место. Только смотрят ли на пустое место так долго? пристально? такими немыслимо, невозможно синими, пронзительными глазами?!

Одиссей почувствовал, что теряет сознание. Летит в пропасть. Держится на одной скуке, на бесстрастном канате, брошенном сверху наследством-безумием, верным товарищем с самого детства. Старик сидел в углу, уставясь в пол; аэд смотрел в угол, чаще вздымая дыханием тощую грудь — и за спиной Ангела таяла стена, открывая бесконечную дорогу, огражденную вдоль обочин туманными рядами столбов. Вдали вереницей брели плохо различимые силуэты. И в черном, беззвездном куполе висела одна-единственная гроздь: Плеяды, семь дочерей Атланта и океаниды Плейоны, взятые на небо.

Третья из сестер, Майя, некогда родившая Зевсу сына — одного из многих — печально мерцала.

Ресницы моргнули, роняя слезу; и видение сгнуло.

— Примешь совет, богоравный? — очень скучно спросил Ангел.

— Военный? — хриплый, больной выдох.

— Мирный. Лечи ногу и езжай домой. Носа оттуда не высовывай. Пусть они все...

Аэд не договорил. Красноречиво глянул туда, где сидел Старик. Добавил вполголоса, странной околесицей:

— Лошадям и ослам повезло больше.

— Почему?

— Потому что мулы бесплодны. Порченная кровь, знаешь ли... Сын убивает отца, спит с матерью. Брат вырезает сестре язык, чтобы изнасиловать без помех. Детей варят в котле, подают на стол родителям. Дочери зачинают от отцов, внуки — от дедов. Предательство, кровосмешение, ложь... из жил в жилы, из года в год. Может, лучше, если сразу?

— Ты о ком говоришь? — спросил рыжий. Уперся в Ангела взглядом, как в щит копьем; и спросил: — Ложь, предательство — о ком?!

Двусмысленность вопроса бродила по горнице незванным гостем.

По коридорам общего дома: от нижних этажей до верхних.

— Да так... ни о ком. Песнь сочиняю.

— Тогда спой и о другом. Мать вытаскивает ребенка из пожара. Отец заслоняет собой семью; друг отбивает у смерти друга. Внучки кормят немощного деда. Победитель щадит побежденного. Верность, честь, любовь... Может, сразу, одним махом — оно ничуть не лучше, а просто глупо? Глупо и подло?!

— Ты о ком говоришь? — спросил аэд. Сверкнул синевой из-под бровей, отодвинул щитом копье; и спросил: — Верность, любовь — о ком?!

— Да так... ни о ком. Жар у меня. Бред.

— Жар... Уезжай домой. Там остынешь, богоравный, — и вышел.

...я еще долго смотрел на аккуратно притворенную им дверь.

* * *

Меня лихорадит. Память ты, моя память... скрипишь под буйством ветров. Взлетаешь на самый гребень волны, чтобы мгновением позже низринуться в жадную пучину. На море былого свирепствует шторм, соленые брызги слепят глаза; давно опустела смотровая корзина на верхушке мачты, и тело впередсмотрящего пожирают дикие гиппокампы. Паруса зияют дырами, хрипят гребцы, кровавые мозоли лопаются на ладонях, марая линии жизни, но рука кормчего тверда.

Я вернусь.

Я уже совсем рядом. До берега настоящего, до ночной террасы и рассвета, алеющего близостью Троянской войны, рукой подать. Тянусь: сквозь вихрь и горечь воспоминаний, сквозь рваные клочья облаков, мыслей, мест, событий, лиц... Дорога от дядюшкиных угодий в Златые Микены так и запомнилась: мятыми лоскутьями, прошитыми насквозь суровой нитью. Я точно знал, что следует делать. Мне ни разу не было *скучно*. Я ни мгновения не сомневался.

И как всякий ни в чем не сомневающийся дурак — ошибался.

О боги, как же я ошибался! О, боги... плоской нам мнится земля, меднокованным кажется небо, и видится отсюда, из сегодняшней ночи, кривая ухмылка меди над головой: спешу, рыжий дурашка, торопись, гони во весь опор...

Первый яркий лоскут: я покидаю гостеприимную усадьбу Автоликидов. Бабушка рыдает, не желая отпускать: «Внучок! Одиссейчик! У тебя же нога! Тебе же лежать...» Нога действительно болит. Но — терпимо. Рана зарубцевалась на третий день, а на четвертый я начал ходить. Чудо?! да, чудо. Безумец, я был настолько возбужден, настолько переполнен ложью предначертания, что чудеса принимал как должное.

На восьмой день я велел нашим собираться.

— Я должен ехать, бабушка. Должен, и все тут. Вот только с дедом прощусь...

На этот раз за мной увязался Самый Толстый. С неожиданной для его туши резвостью нагнал у самой ограды.

— Племяш! Ты это... ты не ходи, ладно?

Старик, остановившись рядом, нахохлился, закусил губу — и лишь искоса полосовал Самого Толстого гневным взором.

— Когда отец умер... — слова давались дядюшке с явным трудом. Царапали глотку шершавыми боками. — Болел он долго, лежа лежал. А перед смертью позвал меня. Вот тебе погребальная речь, говорит. Когда помру, прочтешь у костра. Слово в слово. И запись в огонь бросишь. Понял? Хорошо, отвечаю. Как скажешь. А он мне вдруг: кто на днях из рабов помер? никто? ну ладно. Когда помрет, не спеши жечь. Если что, вместо меня сожжешь. Только чтоб ни-ни! братья, мать — ни словечка! Клянись! Я и поклялся. Думал: блажит старик, бредит. А наутро он исчез.

— Кто?

— Отец. Твой дед. Захожу — в покоях ни души. Туда, сюда — пусто! А он ведь и ходить-то сам не мог... Хотел

тревогу поднять, и тут меня словно обухом: клятва! Отец если чего хотел... все по его хотенью складывалось. Пошел я, рабу одному сунул ножик в брюхо. После сказал: в лес раб ушел, волкам достался. Никто не хватился, не до того было. Отнес тело в отцовские покои, в покрывало завернул, чтоб не узнали... на лицо — маску. Золотую. Его и сожгли. Не ходи в толос, Одиссей. Не дед твой там лежит.

— А... а с дедом что? Куда он-то делся?! Может... может, жив еще?! — Детская, отчаянная надежда вспыхнула, чтобы задымить и погаснуть, наткнувшись на угрюмый взгляд дядюшки из-под насупленных бровей:

— Вряд ли. Есть тут обрыв, неподалеку... На другой день заметил: птицы там кружат. Стервятники, воронье. Спустился. Не скажу, что уверен — птицы мало что оставили; но больше некому.

Самый Толстый замолчал. Ссутулился, медленно побрел прочь.

Я догнал его, тронул за могучее плечо.

— Спасибо. Только... дядя, ты ведь клялся?!

— Клялся. Отец сказал: «Ни братьям, ни матери». А ты не брат мне. Не мать. Племянник ты...

И тогда я впервые понял, что передо мной действительно сын Автолика. Наследник Волка-Одиночки, с ловкостью умевшего обходить клятвы, не нарушая их. Мой Старик стоял рядом; смотрел в спину Самому Толстому.

С гордостью смотрел.

Но я уже знал: есть мысли не для живых.

Особенно когда живых ждет война.

* * *

...весна и война. Два коня в упряжке. Две звезды: синяя и зеленая. Колышется под ветром море обновленной листвы; далек день, когда опадать листьям древесным на землю, возвращать приданое: золото и багрец, смертную прелесть. Буйство лазури над головой будоражит кровь. Алую кровь, с легкой, серебристой примесью. Весна — время жизни, любви и безумства. Война — время смерти, ненависти и... безумства. Я должен успеть.

Быстрее! еще быстрее!

Спасибо тебе, дядя Алким, за твою науку. Не рыжему базилею, юнцу с козьего острова, тягаться с бессмертными богами в открытой битве. Я не Геракл, не Беллерофонт, чтобы встать против Олимпа: сила на силу. Ты был прав, хромой наставник: интриги и хитрость, подкуп и подлость, хорошо подвешенный язык и звонкое золото зачастую оказываются полезнее бронзы. Я хорошо усвоил твои уроки, дядя Алким?!

Почему ты молчишь?!

...дурак! наивный и самоуверенный дурак! Подумать только: чуть меньше года назад... Сейчас, повернувшись наконец к войне лицом, я понимаю это. Я думал, что действую по-человечески: хитро и расчетливо. А на деле был истинным героем: надутым и торопливым глупцом. Пусть оружие мое — слова и золото, а не меч и копье! пусть! Гордыня: один против всех. Тщеславие: я! спасу! Примите вызов, Глубокоуважаемые! — а олимпийцам, занятым разводом, было недосуг даже посмеяться над рыжим базиленком...

Рвутся вперед кони. Гремит, подпрыгивая на ухабах, колесница. Гремят мысли, подпрыгивают и гаснут, в такт ударам копыт. Все, о чем думалось в бессонные ночи, когда я скрипел зубами на смятом ложе, проклиная искаленную ногу, не позволяющую немедленно мчаться в Микены.

Спарта. Встают на дыбы драконы-женихи, готовые терзать друг друга. Неумолим бич, злы крылья Немезиды. Бурлит в крови серебристый икор, жаждет отворить темницу смертных жил, вернуться на Олимп. Понадобилось всего несколько слов. Единственно верных и единственно возможных слов, в нужное время и в нужном месте. И безумство резни вывернулось наизнанку, став безумством попойки.

Дядя Алким! папа! я смогу!

«...но боги!...»

— Ну и что? А в Спарте — не они?!

«Глубокоуважаемые не повторяют ошибок...»

— Должен же я оправдывать свое имя? И если не я — то кто? Подставить горло под нож? никогда!

«Тогда воспользуйся мудрым советом: отсидись дома! Пусть Глубокоуважаемые забудут о тебе, хотя бы на время...»

— Это не выход. Это отсрочка...

В последнем я был прав. А в остальном... В одну реку не входят дважды. Дядя Алким, не твои наставления кипели в моей крови — он, серебристый ихор Глубокоуважаемых. Пенился, толкал бросить вызов небесам, преградить дорогу: пусть не с мечом в руках — со словом в устах; не важно!

Один против неба.

Я хотел действовать, как человек, а вел себя, как герой. Смешной, обреченный герой, которого не надо даже бить молнией или топить в бурном море, ибо он сам с радостью идет в расставленную ему ловушку...

Крисская гавань. «Пенелопа» ждет на берегу, на ясеневых катках, надежно подпертая брусьями из бука.

— Корабль на воду! Поднять паруса! Идем в Арголидский залив!

Как поспели за мной Эвмей с собакой — до сих пор диву даюсь. Прочие отстали.

Щиплют пену стада морских барашков. Верные пастухи налегают на весла, заставляя расступиться Посейдоновы отары. Свежий ветер наполняет паруса. Вперед, в Арголиду! Что же ты, Колебатель Тверди? Не спешишь поднять бурю? преградить путь водяными громадами? разверзнуть пучины?! Ведь я, Одиссей, сын Лаэрта, спешу в Микены, чтобы сорвать ваш замысел!

Что же ты?!

Сердце сжимается от страха, сладостного ожидания и собственной дерзости. Я не настолько глуп, чтобы не бояться. И не настолько труслив, чтобы прятаться. Я иду!

Попутный ветер. Легкая зыбь. Гелиос провожает нас сиянием улыбки. Где бури? грозы? водовороты?!

Эй, Глубокоуважаемые! ведь это же я, Сердящий Богов!..

Тишина.

Арголидская гавань.

— Коня мне!

До Микен отсюда — рукой подать. Особенно верхом.

Свист ветра в ушах. Спасибо куретской науке.

Я иду! скачу! несусь!

Косматая туча пожирает солнце. Ты спохватился, Тучегонитель? Ты решил покарать дерзкого? Сейчас, сейчас в зарвавшегося наглеца ударит ветвистая молния! Испепелит! Сейчас... Куда? стой! Туча лениво сползает к западу, вновь открывая ясный лик Гелиоса. Даже ливня пожалела, скотина.

Обидно, знаете ли...

А вот и Микены.

Встречайте, богоравные!

* * *

Проклятье! Как мне везло в Микенах! Словно в бою, когда враги сами подставляются под копье, наклоняют щит, чтобы твоей стреле было удобней впиться в горло, бестолково размахивают мечами, попадая по своим... А герой разил. Направо и налево. Не давая труда задуматься: бой или насмешка?!

Я был доверху преисполнен козней различных и мудрых советов. Меня ими тошнило. Я врал напропалую. Всем встречным-поперечным. Диомеду сказал, что на день заехал в Герею Аркадскую (это рядом!), по торговым делам, а меня оттуда вызвал гонцом ванакт Агамемнон. Агамемнону — что гонец был от его брата, Менелая Атрида. Менелай вообще не спрашивал, откуда я взялся: белобрысого настолько потрясло бегство обожжаемой жены, что он, как дитя, радовался любому сочувствующему. Нестору Пилосскому шепнул на ушко: дескать, явился согласовывать вопросы военного флота. И кривляка-Нестор закричал, закашлял с одобрением — это да, это верно... Напоролся в коридорах на старого приятеля: Калханта-троянца. Порадовался вслух, что приличные люди из Трои на стороне справедливости; напомнил о неслучайности наших с ним встреч. Сводил послушать сплетни местных стрижей, кивал, внимая пересказу с птичьего на человеческий. Изви-

нился за давнее мордобитие. Потом наткнулся на шурина Паламеда — вот уж кого не ожидал... — кинулся лобызаться, знакомить любимого родича, почти что брата, с мудрейшим из птицегадателей.

За знакомством оба и не вспомнили поинтересоваться: как новоиспеченный итакийский басылей умудрился попасть в Микены одним из первых.

На совет зашел, будто в собственную спальню. Похлопал по плечу десятника хризосакосов¹ на входе: несешь службу? молодец! Спросил: жалованье вовремя платят? И, не дослушав, шагнул в зал.

Мне везло.

Говорили о скотстве петушка-Париса, о том, что басылей Приам торжественно признал Елену женой сына; называли это вызовом всей Элладе — я слушал и тихо радовался вялому гневу собравшихся, их наигранному возмущению. Говорили о союзниках Приама, о железных мечах хеттийцев, собравшихся на подмогу негодаям, о могучем троянском флоте, господствующем в Лиловом море — я слушал. Радовался чужому страху: мечи! флот! ого-го! Предлагали блокаду торговли с Троей, на всякий случай решили заткнуть глотки, кричащие во всех ахейских харчевнях «Война!»; договорились отправить посольство...

Никто не хотел воевать.

Я же видел!.. страшная сказка оборачивалась плутовской былью. Осудил торговую блокаду — согласились, не споря. Сказал: себе дороже! — поверили, не чинясь. А когда я предложил от имени Итаки договориться с киприотским представителем Дома Мурашу, которому Троя задолжала чудовищную сумму — две тысячи талантов!!! — ванакт Агамемнон не побрезговал, расцеловал в обе щеки. Ему уже мнилось, как разоренная Троя кланяется Микенам в ножки и несет Елену обратно к мужу, заранее смазав благовониями где следует.

Мне везло. Через десять минут я стал послом. Отнеки-

¹ Хризосакосы — Золотые Щиты; личная гвардия микенского ванакта Агамемнона.

вался, упирался, спешил домой, где ждет беременная жена! — а они упрашивали, уговаривали, молили хитроумного Одиссея, сулили горы благ, льстили, напирали... И молнии не падали на меня из выси небес. И земля не колебалась под ногами. И золотые стрелы не награждали меня хворьями-болезнями.

Лишь гудел вдали гонг моего *Номоса*.

Мешал чувствовать себя богоборцем.

* * *

Костер заката медленно сползает в морскую купель. Сыплет вокруг царственными искрами: пурпур, золото, густой янтарь. Беззвучно шипит колесница Гелиоса, остужая раскаленные за день борта в соленых водах. Память ты, моя память!.. почему я помню это? почему вижу?! Лишь закрою глаза, и отсюда, с ночной террасы настоящего — бултых! без оглядки, и закатная волна накроет с головой.

Я — внизу, перед воротами Солнечных Львиц. Стены крепости закрывают от меня трагическую гибель заката. Камень неотесанных, циклопических глыб выветрен, крошится, но скрытая сила таится в нем. Вечность простоит, а потом еще полвечности; а потом еще, сколько надо. Не мы строили. До нас.

В детстве думалось: увидеть Микены — и умереть. Увидел. Не умер. Утром плыву в Трою. Увидеть Трою — и умереть?

Задираю голову.

Там, на крепостной стене — колесница пройдет, не качнется! — стоят двое. О чем-то говорят. Спорят. Вот замолчали, отвернулись друг от друга; как по команде уставились вдаль. Разные; непохожие. Лишь имена общим эхом: Диомед Тидид и Паламед Навплид.

Два давнишних идеала моей жизни.

Политик, боец, сын бойца, синеглазый ванакт Аргоса, из которого, наверное, получился бы прекрасный бог — и умница, торговец, сын торговца, пухлый донатор храмов, способный продать друга и купить врага; думаю, из моего эвбейского шурина бог получился бы не худший. Вспом-

нилось: не было на совете ястреба когтистей, чем Паламед. Только и слышали: война. С улыбочкой, прищмыкая, едва не облизываясь — медовым оно было для Паламеда, это слово. Эвбеец привык закладывать храмы; сейчас он закладывал великий храм Арею, Пагубе Смертных. Фундамент из доводов, более несокрушимых, чем стены Микен: если мы не пойдем на восток, неизбежно перегрыземся друг с другом, обид прощать нельзя, руинами Трои начнется вселенская держава Пелопидов — от блаженных эфиопов до ледяных гипербореев!

Жаль, я не умею складывать доводы. Ставить на них казенные печати. Превращать в знаки, величины; в «деньги». Сейчас мне кажется: сложись моя жизнь иначе, я мог бы стать одним из них. Или Диомедом, или Паламедом: правитель? торговец? Воплотив идеал. Не сложилось; не стал. Вырос Одиссеем, безумным рыжим бродягой. Серединкой на половинку. Ну и ладно.

— О чем думаешь?

Рядом — Паламед. Там, на стене, по-прежнему глядит вдаль синеглазый ванакт Аргоса, а эвбеец спустился. Вот он: пухлые пальцы унизаны перстнями, вьются кольца бороды. Приветливая улыбка. Открытый взгляд. Готовность расхохотаться в ответ на удачную шутку. Сейчас он очень похож на своего отца, каким мне запомнился Навплий на Итаке, пять лет назад.

А я? я похож на своего отца?

— Ты похож на своего отца, — улыбается Паламед.

Молчу. Мне приятно слышать его слова, но я молчу.

— Завтра вы отплываете. Ты уже знаешь? — с вами поедет молодой Акамант-афинянин. Сын богоравного Тезея и Федры-критянки. Красивый парень. Что-то вроде нашего, ахейского Париса. Гляди, чтоб он не увез в отместку какую-нибудь троянскую Елену...

Молчу. Мне все равно: поедет с нами сын богоравного Тезея или нет. Пусть едет. Даже если он вдруг закричит «Кабан!» и попытается прирезать меня по дороге — пусть. Ты внимательно смотришь мне в лицо, шурин? В твоих добрых, понимающих глазах — сочувствие? Лишние слова, пустое сотрясение эфира — не для нас с тобой. Каж-

дый знает, что каждый знает, что... и так далее. Но завтра я отплываю в посольство, а ты остаешься. Я тоже сочувствую тебе, мой дорогой Паламед. Потому что ты будешь ждать, а я — делать.

...дурак! — беззвучно кричу я-нынешний отсюда, с ночной террасы, с порога войны. Опомнись! оглядись вокруг! прислушайся — гонг надрывается вещей бронзой! Но вчерашнему дню не услышать вопля сегодняшнего. Лишь Далеко Разящий, кучерявый лучник, умел кричать так — «дурак!..» — что его слышали. Я не умею. Не научился. Жаль.

— Плоской нам мнится земля, — вдруг произносит Паламед вполголоса, разом охрипнув. — Плоской нам мнится земля, меднокованным кажется небо...

Молчу. Молчит и он. Напряженно, мучительно. Чего ты ждешь от меня, Паламед? ответа? какого?! Ты ведь ждешь, я вижу... Станные слова. От них пахнет яблоками. Наконец не выдерживаю:

— Ну и что?

Глупости, конечно. Мог бы высказаться поумнее. Удивиться. Отпустить шутку. Удачную. Увы, вместо остроумного, изящного, уместного ответа — «ну и что?». Речи, как снежная буря, из уст у него устремлялись...

Паламед ждет. Словно я до сих пор молчу. Словно вместо единственно возможного отклика брякнул несусветную чушь. Жрец воззвал к неофиту во время мистерий, а тот взамен положенного гимна ринулся плясать наподобие пьяного сатира. Мне кажется: я — борец, которого перед схваткой натирают маслом. Такие у Паламеда становятся глазки: липкие, масляные!.. шарят по телу...

Не дождавшись, эвбеец нервно хрустит пальцами (блеск самоцветов на кольцах!). Роняет, отвернувшись:

— Это не в твоём духе.

Молчу.

— Это не в твоём духе, — повторяет он. — Играть с козами в войну, отводя глаза; стрелять без промаха, не целясь; лживо хромая, уходить из-под удара; летать над волнами, оказываясь там, где ждут меньше всего... Сердить

богов, барахтаясь острым камешком в сандалии. Вот что значит — Одиссей, сын Лаэрта.

Молчу. Лаэрт-Садовник, ты научил сына великому искусству. Когда не понимаешь игры собеседника, молчи — твоё молчание расценят как тонкий расчёт.

И попытаются заполнить паузу словами. Вот как сейчас:

— А спасти мир... Нет, случайно, мимоходом! — но мчаться, спешить, самому набиваться! Ты полагаешь, что в силах, ухватившись обеими руками, притянуть небо к земле? Сделать алым серебро в наших жилах?

Молчать все труднее. Он тоже мастер пауз, мой пронзительный шурин. Он умен и предусмотрителен, множество храмов возведены на его средства: Волчье капище в Аргосе, тиринфский храм Посейдона-Черногривого, жертвенник Афродиты-Любезной у феспротов, критские алтари Громовержца и Тихой Гестии...

Почему ты не приехал на сватовство в Спарту, мой Паламед? Почему спросил про небо и землю? про камешек?! про серебро в нашей крови?! Мы оба знаем, да? или ты знаешь много больше?!

Ответы — убийцы вопросов.

— Я верну Елену, — отвечаю, ибо пришло время говорить.

— Эх ты... Разве дело в Елене? Разве Елене клялись в верности богоравные женихи? нет! Они клялись быть верными *избраннику* Елены! все, как один, подняться на *его* защиту! Менелай Атрид — не стань его, и клятва сгинет быстрее утренней росы на солнышке. Елена-вдова вправе сама решать свою судьбу, вор-Парис мигом превратится в законного мужа, а у нас у всех найдутся более важные дела, чем подставлять свои бока под копыта пергамских бойцов. «Конский союз» распадется со смертью Менелая Атрида...

Он придвигается вплотную:

— А морской путь в Трою опасен. Человека, например, может смыть за борт. Ночью, без свидетелей. Если ты и впрямь намерен спасти всех...

И, не закончив, уходит.

Идеал моего детства, Паламед Навплид. Наследник Госпожи Торговли. Человек, любыми средствами пытавшийся (пытающийся?) занять мое место. Дикая мысль пронзает навывлет: что, если мы похожи больше, чем кажется? Что, если с некоторых пор для него идеал — я? неутомимый, хитроумный, меткий, шустрый, таинственный... какой еще?!

Был схвачен я ужасом бледным, как спел бы Ангел.

Задираю голову. На стене, в сумерках, еще виден силуэт Диомеда. Я бы дорого дал за его раздумья. Кто горит для него вдали, в погребальном костре заката? Не Менелай ли? белобрысый муж Елены, смытый за борт без свидетелей?

Нетрудно подняться наверх и спросить.

«Ответы — убийцы вопросов», — шепчет мой Старик, сидя на корточках в черной тени. Тень в тени, и тень шепота. Ответы — убийцы вопросов.

...убийцы.

На следующий день посольство отбыло в Трою.

АНТИСТРОФА-II

НО ДУХ МОЙ ТЕМЕН И ОТРАВЛЕН... ¹

— ...угомонись, Менелай! Без тебя тошно. Разнылся, как баба! Никто нас не казнит, отпустят рано или поздно...

— А ты почему знаешь? — вяло окрысился на Калханта муж беглой Елены. И на последнем слове вдруг закашлялся, заперхал, содрогаясь всем телом; на глазах выступили слезы.

«Совсем плох Менелай. Еще день-два, его и казнить не придется. Калхант, впрочем, выглядит не многим лучше: на одном упрямстве держится».

— Знаю. Во-первых, птицы чирикнули...

¹ «Певцами всей земли прославлен
Я, хитроумный Одиссей,
Но дух мой темен и отравлен,
И в памяти гнездится змей...»

В. Брюсов

— Кха-кха-кие еще птицы?

— Воробья видишь?

Одиссей тоже невольно задрал голову. На краю крохотного окошка под потолком, на фоне ядовитой зелени толстых медных прутьев, действительно темнел воробьиный силуэт. Эй, пичуга, тебе-то что здесь понадобилось? Уж едой точно не разживешься...

Язык, как не раз бывало, поспел раньше головы:

— А кто говорил: «Воробей — птица глупая. Ни один уважающий себя птицегадатель...»?

Рыжий осекся. Подбодрил, называется! утешил!

— На бесптичье и воробей — орел, — угрюмо буркнул прорицатель, шмыгая плоским, вечно заложенным носом. — Да и не только в птицах дело. Пророчество мне было.

— Это какое же? — Менелай наконец отдышался. Щеки его, обычно бледные, были сплошь в красных пятнах.

— Такое. Не умру, пока не встречу провидца сильнее себя. До сих пор не встретил. Значит, еще поживем...

— Уже встретил. Меня. Вот казнят нас на рассвете — и увидишь, что я был прав, а все твои пророчества... А, ладно. Так даже лучше. Может, Елену напоследок увижу — казнь смотреть придет...

Калхант тяжело вздохнул.

— Как ты мне надоел, — с чувством произнес он. — Лучше б тебя по пути волной смыло! Зато мы с Одиссеем сейчас бы уже дома были...

Странно слышать такие слова от троянца-изгнанника. Дом...

...Итака.

Ночная терраса. Чуть заметно светлеет небо на востоке, предутренний ветер ерошит кроны деревьев, вкрадчиво шепча им разные глупости, и деревья с достоинством кивают, соглашаясь. «Завтра» неясно, едва различимо маячит в туманной дымке. Зато однозначное, осязаемое «сегодня» — день! час! миг!.. — ускользает из пальцев, бежит в прошлое, а на смену ему из будущего движется новое «сейчас». Нескончаемая вереница островков прошлого,

бесчисленных «вчера» — память ты, моя память! На этих островках можно задержаться — миг! час! день!.. — а можно сесть на попутный корабль, чтобы знакомым проливом выйти в иное море.

Память внутри памяти.

Смотрю поверх перил. И вижу склизкие, сочащиеся росой стены троянской темницы. Влажная, промозглая духота. Никогда не думал, что так бывает: зябко и душно в одно время. Оказывается, бывает. По углам пищат крысы. Как они проникают сюда — великая тайна. Ни одной щели я не обнаружил. Я там, внутри, в каменной утробе, я слышу вялую перебранку товарищей по несчастью, но не вмешиваюсь. Потому что на самом деле я не на террасе своего дома. И не в темнице. Там, в душной сырости, я тоже сажусь на корабль моей памяти.

Отплываю.

...я вернусь.

* * *

Попутный ветер туго надул паруса «Пенелопы», едва мы вышли из Арголидской гавани. К полудню, в виду Кикладских островов, на горизонте выросла рощица чужих мачт. Менелай было дернулся, но я успокоил обманутого супруга: мой отец всегда узнает новости вовремя, а зачастую раньше прочих. Вот папа и решил обеспечить посольству надежное прикрытие.

Береженного Зевс бережет.

Эскадра «вепрей» маячила в отдалении, стараясь лишний раз не мозолить глаза, но и не терять нас из виду. Волны игриво подталкивали «Пенелопу» в корму; ветер не ослабевал, дышал ровно, полной грудью. Все складывалось прекрасно... отлично! наилучшим образом!!! — вынуждая сердце биться чаще: где подвох?!

Эй, Глубокоуважаемые — где?!

Он лежал на поверхности, этот подвох, он просто бросался в глаза, как слиток золота посреди улицы. Наше посольство окажется неудачным. Троянцы не отдадут Елену; нас изгонят с позором. Развод неба с землей состоится при любых обстоятельствах; словно в жестокой хеттий-

ской шутке: «Развод — детей об стенку!» И только брызги крови, смешанной с божественным ихором: примесь серебра в алой кипени...

Что может противопоставить этому рыжий герой? Красноречие и хитрость, угрозы и посулы, авторитет «пенного братства», подкрепленный силой объединенного войска ахейцев... две тысячи талантов, которые Троя задолжала Дому Мурашу... гонца на Кипр я уже отправил...

Достаточно?

Для Приама с сыновьями хватит за глаза. А для бессмертных теней за спинами троянцев? Я прикидывал так и саяк, наконец-то обретя временную передышку, когда не надо никуда спешить, обманывать, убеждать... Синее небо, зеленое море, белые чайки; и назойливое эхо неслось вслед, словно Паламед-разумник до сих пор стоял на микенских стенах, приложив ко рту раковину ладоней:

— ...«Конский союз» распадется со смертью Менелая Атрида...

Замолчи! знаю!

— ...а морской путь в Трою опасен. Человека, например, может смыть за борт. Ночью, без свидетелей.

Молчи!

— ...если ты и впрямь намерен спасти всех...

Намерен ли я?

Хочу ли спокойно вернуться домой, к Пенелопе, которая ждет ребенка? На этот раз все будет хорошо, у нас родится мальчик, обязательно — мальчик, крепкий и здоровый... Все доводы рассудка, вся логика событий кричит: убей Менелая! Убей — и концы в воду. А тут еще Калхант как бы невзначай подошел. Встал рядом, у борта, покачался с пятки на носок — и, скучно так:

— Чайки беду пророчат. Да не простую — двойную. Большую и малую. Если малая случится, большой не бывать. Малая у нее на дороге ляжет, не пустит.

Помолчал немного, со значением. И снова — скучно, размеренно; для непонятливых, должно быть:

— Много смертей — большая беда. Одна смерть — беда, но малая... Вот Менелай, к примеру: как жену у него

увели, свет не мил сделался. Пьет много. Того и гляди, за борт пьяный свалится...

И отошел. Я, дескать, намекнул, а дальше — твоя забота.

Скучный у тебя голос, пророк. А моя собственная *скука* куда-то подевалась. Не засыпает душу песком отрешенности. Сгнуло мое безумие, спряталось. Остался я разумником, мужем, исполненным мудрых советов. Людей не люблю, теней не вижу, и Старик от меня морду воротит. Сейчас вообще ушел прочь. Тишина. Молчит медный свод, молчит бронзовая скорлупа. Или это просто я оглох? «Убей Менелая! убей!..» — требует издали мое отражение. Улыбается лицом Паламеда, шуршит намеками Калханта, кроет доводами рассудка. А безумие молчит. Оно молчит, а я понимаю: все — за, лишь оно — против.

И еще молчат боги.

Ведь я же восстал на вас, Глубокоуважаемые! Почему не остановите дерзкого, не ударите громовым перуном, не пустите несущую смерть золотую стрелу, не нашлете бурю, чтоб в щепки разбить корабль о скалы? Не явите грозное знамение, дабы устрасился непокорный?!

Ясны небеса, чист горизонт. Попутный ветер весело надувает паруса. По пути ли мне с тобой, ветер? Ведь достаточно мигнуть тому же Эвмею — даже рук марать не придется! Чаши весов колеблются в шатком равновесии. Думаю. Взвешиваю. И вдруг, вспышкой озарения: я перестал быть безумным! перестал быть собой! Я убил — нет, не Менелая! самого себя!

— Как жизнь, Атрид? — оборачиваюсь к мрачному Менелая.

Он обиженно моргает:

— Разве это жизнь?

— Жизнь, — смеюсь я. — А ты что думал?!

Сразу становится легче. Я смеюсь, смеюсь впервые за дни плавания! Встречай, Троя, посла-безумца! Безумие — идти против воли олимпийцев, безумие — пытаться сорвать их замыслы; но безумие — моя стихия!

Вот только *скука* по-прежнему не хочет возвращаться. И приходит запоздало: я выиграл бой — но не войну.

— Па-рис! Верни Елену! Па-рис! Вер-ни!

— Слава ахейцам!

Чувствую, что окончательно схожу с ума. Это не Троя! это иной берег! Нет, все-таки Троя — вон ров и укрепления, дело рук великого Геракла. Вон берега мутного Скамандра. Все правильно. Кроме главного: сонмище людей, встречающих наш корабль, вместо оскорблений кипит приветствиями. Летят в воздух шапки, венки, тысячи глаз сияют радостью, тысячи глоток изрыгают:

— Союз нерушимый меж Троей и бурно-могучей Ахайей!

— Па-рис! вер-ни!!!

Нас подхватывают на руки. Несут: в буре кличей, в громе здравниц. Гостеприимно распаиваются Скейские ворота, стража вытягивается, салютует копиями. Я, Одиссей, сын Лаэрта, беру Трою! нет! она сама блудницей валится к ногам героев!

Быть не может...

Машинально подмечаю мощь стен, несокрушимость угловых башен. За стенами, в черте города, вижу странное: стада овец щиплют травку. Оказывается, троянцы часть городской земли отвели под малые пастбища, поддерживая живой запас продовольствия на случай осады. Если здесь есть еще пара-тройка источников... а ведь о внезапности нападения можно только мечтать. Дурные мысли; от всеобщего ликования они становятся еще дурнее. Бред, обман зрения и слуха!

— Слава!

— Па-рис! ут-рись!..

— Богоравный Менелай! Хитроумный Одиссей! Вещий Калхант!

А я все жду: когда ударит? откуда?! — и сердце замирает в предчувствии...

На землю нас опускают только у ворот Пергама, троянского акрополя. Передав из рук в руки через лабиринт улочек, сплошь запруженных толпой. Выше, выше, вверх,

на холмы — где ждет послов дворец базилея. Торжествуя, поют ворота. Вход стерегут две золоченые львицы: куда там микенским! По сравнению со здешними — бедные родственницы. Спешно оправляем одежды, ибо ношение на руках даром не проходит. Шествуем ко дворцу, в сопровождении местных даматов. Еле сдерживаюсь, чтоб не вертеть головой по сторонам.

А Акамонт-афинянин даже не сдерживается. Вертит.

Мрамор ступеней розов, словно женское тело. Поверх брошены ковры. Двери великолепны: порог из бронзы, косяки отделаны серебром. Дверные кольца из чистого золота. Вокруг — ряды колонн с резными капителями; свод инкрустирован по фризу эмалевыми вставками. У дверей — стража. Горит на солнце начищенная медь доспехов, сверкают наконечники копий; на шлемах — султаны из перьев. Вপুরо спутать с павлинами!

А долги зажали, скряги, не отдают...

В длинном коридоре царит сумрак. Факелы на стенах роняют пятна света через каждые семь шагов (посчитал, не поленился). Тьма—свет, тьма—свет. Впечатление злое. Наверное, так и было задумано.

Без шума раскрываются следующие двери.

Небесная лазурь, расшитая драгоценными искрами — стены. Вечерняя синь — купол потолка. В нем прорезаны световые колодцы, сквозь которые рушатся вниз потоки солнца.

Дух захватывает.

Колонны света перемежаются колоннами из мрамора (светлее, чем дворцовые ступени) — и поначалу теряешься: свет? камень? что растет из земли в небо, а что — наоборот?!

Под ногами: море. Пенится барашками. Вот сейчас ухнешь в Посейдоново царство! В дальнем конце зала, на возвышении — трон. Медленно надвигается на нас... нет, конечно же, это мы идем к трону — плывем по рукотворным волнам. Слева и справа с достоинством выстроились... Сыновья? Придворные? В основном сыновья: неуловимое сходство заставляет щуриться: так не бывает! Однако здесь далеко не одни троянцы. Двое чернокожих в

ярких одеждах. Эфиопы; «Люди-с-Обожженным-Лицом¹». Передать им, что ли, привет от Ворона? Нет, не поймут. А жаль... Смуглые, но все же не до черноты, хеттийцы с орлиными носами. Смотрят одинаково: пристально, оценивающе — и чуть надменно. Дальше — фракийцы, три беловолосые женщины в мужской одежде... неужели амазонки?

«Мисийцы, — одними губами шепчет Калхонт. — Кикконы, пафлагонцы... кары-дикари...» Союзники. Умен Приам: почет ахейским послам, и демонстрация силы. А где, собственно...

...вот это — Приам?!!

Вот эта трясущаяся развалина на троне — владыка крепкостенной Трои?!

Дряблые руки безвольно обвисли на подлокотниках, словно для контраста украшенных львиными мордами. Пальцы дрожат, мнут воздух. Голова старца клонится набок, и правителю стоит немалых усилий держать ее ровно. Воск лица изрезан муравьиными ходами морщин. Волосы редкие, грязно-седые. Да ведь ему (быстро прикидываю в уме) и пятидесяти нет! А на вид — в толос краше кладут. Люди говорят: Приамовы жены до сих пор ему детей рожают. Законных. От царственного мужа. Одна дочку месяца три назад родила. Или врут? Дяденька, откуда ж у тебя силы жен любить?

Нет, я действительно кобель! Нас троянский владыка принимает, судьбы мира решаем, а у меня одно на уме!

Оказывается, Калхонт уже говорит. Приветствует богоравного лже-старца, желает Трое мира и процветания, правителю здоровья и наследников побольше (куда ж ему еще больше-то?!)... Закончил. Пора и мне слово сказать. Разливаюсь соловьем. Краем глаза замечаю: наши дары несут. Приам степенно кивает, прилагая немало усилий, чтобы после каждого кивка вернуть голову в первоначальное положение.

Умолкаю; жду ответной речи.

¹ Собственно этимология слова «эфиоп».

И едва не падаю в обморок: Троя тоже хочет мира, только мира, никакой войны. Он, Приам, приносит ахейцам и лично богоравному Менелаю самые искренние извинения. Парису, выродку семьи, нет прощения. Елена будет возвращена законному супругу в самое ближайшее время, с соответствующими дарами, которые, быть может, хотя бы отчасти возместят богоравному Менелаю... Я, понимаешь, на части разрываюсь, от каждой тучи шарахаюсь, жду подвоха отовсюду — а тут только приплыли, и нате?! Да что ж это творится?! И, главное, — что творится *со мной*?!

Ведь радоваться надо! За тем и ехал!

А я стою и ну ничегошеньки не понимаю! Ведь троянцы сейчас отдадут нам Елену, мы уплывем домой... эй, Глубокоуважаемые?! Куда вы смотрите?! Афиночка, яблочная моя — посмеяться над рыжим вздумала?! Нет, видать, совсем я разума лишился! Еще бы вслух к ним с этим воззвал!.. Что, и Парис тоже вот так? Запросто?

Кстати, а где он, петушок наш, охраняющий мужей от их жен?!

Я никогда не видел его раньше — но узнал сразу. Парис стоял справа от трона, среди других базилят. Губы кусал. Да, он был красив. Иначе, чем Акамант (я даже скопился на афинянина, для сравнения), — Парис был нечеловечески красив! Крылось что-то такое в лице, в мягкой, слегка расслабленной фигуре, в посадке головы, в разрезе влажных карих глаз. Он походил... на бога? Я вспомнил Афины, какой она мне явилась в последний раз; вспомнил статуи богов в храмах... Нет. Знакомая дичь чудилась мне в троянском юноше-соблазнителе.

Далеко Разящий?! кучерявый насмешник?! — не может быть!

Я сморгнул и увидел тень.

Тени.

На лбу выступил холодный пот. Люди, звери или боги не отбрасывают такие тени. Чудовищность красоты и прелесть уродства. Тени обступали Приама, троянского владыку, медленно кружились вокруг трона, и сквозила в их движениях сладострастная обреченность. Превращая пя-

тидесятилетнего мужчину в грудь умирающей плоти. А Парис, пастушок-найденыш... О боги! он похож, он действительно похож!..

Есть мысли не для живых.

— ...полагаем, что к примирению больше нет препятствий. А сейчас досточтимых послов ждет трапеза. Мне же позвольте на время удалиться — базилея зовет его долг. Позже я присоединюсь... к вам...

Приам заерзал на троне, словно ему подложили колючку. Пальцы старца закопошились: взяли, смяли, погладили, оторвали... Мигом двое даматов под руки подняли владыку с трона — аудиенция закончилась.

— К жене побежал. Долг супружеский исполнять, — шепнул мне на ухо Калхант, когда мы выходили из зала. — Он без этого трех часов не может... плохо делается...

Я мысленно извинился перед самим собой за «кобеля». Вот тебе и развалина трясущаяся! Силен, старикан! Значит, не ввали люди...

Пир закатали до утра. А утром, едва проспались, к нам заявила целая свора гонцов с приглашениями едва ли не от всех знатных граждан Трои. Богоравные жаждали явить гостеприимство.

И я понял: быстро нам отсюда не выбраться.

* * *

— Любим данайцев, дары приносящих! — надывается толпа снаружи. Это дарданы, их тут едва ли не половина населения. Они нас любят.

Громко, во всеуслышанье.

Сегодня нас принимает Анхиз, дарданский властитель; брат Приама. Я начинаю уважать здешние семьи. Жить рядышком, имея одинаковые права на трон, и не сожрать друг дружку... Уметь надо. Детей у Анхиза много меньше, и дворец тоже не сводит с ума размерами; зато отделан побогаче. Хотя, казалось бы, дальше некуда. В мегароне на стенах фрески — местные деды-прадеды совершают под-

виги. Вон из моря лезет чудище, а базилей Лаомедонт велит Гераклу (похож!..) прибрать чудище к ногтю. Все чин чинарем: базилей большой, Геракл маленький, дракон средний. Рядом красота неопишная — впереди стада пастушок идет, со свирелькой. Стадо, заметим, славное: полста юношей, полста девиц и пега я корова. Корова вот-вот свалится от усталости. Внизу надпись клиньями, похеттийски: «Основание». Города, надо полагать. Дальше и вовсе загляденье: Посейдон с Аполлоном возводят троянские стены. Посейдон в растворе перемазан, на голове платок, борода колтуном; Аполлон зачем-то с луком. На заднем плане человечиска копошится; лицо от благочестия чуть не треснет. Ему тоже кусок стены выделили.

— Радуйтесь! Нам каждый гость дарован богом, какой бы ни был он земли...

Радуюсь. Кланяюсь Анхизу-дарданцу, гостеприимному хозяину. Кланяться хорошо: легче скрыть потрясение. Да, меня предупреждали заранее: Анхиза любила Черная Афродита, даже сына Энея ему родила (вон стоит, плачет на радостях; здоровенный детина...) — а потом разлюбила. Да так, что у милого избранника от горя расслабление членов и подслеповатость. Знаем мы эти штучки, афродитические...

Видели вчера.

Трясет его, Анхиза-то; дергает. У левого глаза — полированный хрусталь, для пушей остроты зрения. Хрусталь держит слуга, самому владыке не удержать. Похожи они с братцем, ох, похожи — в их лета так выглядеть, это сильно постараться надо. Старались. Вон, тени кругом Дарданца кишмя кишат. Знакомые, базилейские; виделись уже. Дрожь по хребту, мурашки; говорю положенное, заверяю в дружбе-приязни, а сам нет-нет да и гляну: тени! прелесть уродства! дикость красоты! Больше не разглядеть. Удивительно ли, что членов расслабление...

Выясняется: дарданы войны не хотят. И сейчас не хотят, и раньше не хотели. И хотеть не будут. Осуждают Париса, сочувствуют обманутому мужу; приложат все усилия. «Любим данайцев!..» — снова взмывает за стенами. Нас приглашают за столы. Эней Анхизид прилип к Мене-

лаю, в сотый раз умоляет пересказать трагическую повесть его жизни. Слезы текут по простоватому лицу Энея, чистые, искренние. Парень явно не дурак поплакать. А владыка-папаша не дурак выпить: виночерпий с ног сбился. Вон, и члены поменьше трясутся, и взор просиял. Говорим о приятном. Меж столами снует мой рябой свинопас: на правах сопровождающего его оставили с господином послем. Эвмея вдохновила история найденыша-Париса, теперь свинопас достает всех и вся: не пропадал ли у здешнего босиея еще один сынок? Лет тридцать пять тому назад? Да гляньте, гляньте!.. черты, властность очей! семейное сходство! Не похож?! Жаль...

Гоню его прочь.

Позже, ночью, мой свинопас подымет дворец истошным воплем. Выяснится: его, мертвецки пьяного, уложили спать прямо на столе, сбросив на пол скатерть с посудой. Очнувшись в кромешной тьме, Эвмей кинется щупать вокруг себя: справа — край-обрыв, слева — край-обрыв, впереди, сзади... Где лежу? Где бросили?! А пошевелиться страшно. Решит проверить высоту, осторожненько скинет вниз нож. Примется считать, досчитает до двадцати — и в крик.

У стола дрых мой пес, нож в его шерсть плюхнулся. Мягко, беззвучно...

Короче, дарданы тоже за мир.

* * *

— Ахайя и Троя — сестры навеки!

Шумит, горланит толпа. Мы в гостях у троянского лавагета. Гектор Приамид, крепкий парень. Не хотел бы я сойтись с ним на копьях. «Бей рабов!» здесь не пройдет. Ничего рабского. Спокойствие, достоинство; уверенность. Рядом с Гектором — его родной брат, прорицатель Гелен. Братья похожи; очень. У прорицателя жреческий венок — будто шлем. У прорицателя храмовый посох — будто копье.

Наш Калхант глядит на Гелена, и мне чудится: там, где сталкиваются взгляды двух провидцев, горят стены, муравьи копошатся во рвах, и кровь заливает алтарь земли.

В ушах: мертвая тишина.

Вместо гонга — беззвучие.

Лавагет и прорицатель, сила и мудрость Трои, против войны. Называют Париса позором рода. Говорят: украсть чужую жену, все равно что оскорбить богов. Худой мир лучше доброй ссоры. И ведь честно говорят, от души.

Киваю в ответ.

А провидцы все глядят, глаза в глаза. Стараюсь не становиться поперек: больно.

Глохну.

* * *

...оглох.

За миг до того, как стражники ворвались ко мне в покои — на похмельной, всклокоченной заре! — я вскочил от страшного сна. Там, в дреме, царила глухота; странная глухота. Я слышал речь людей, блеянье овец, гром над утесом, шелест волн и дробь ливня я тоже слышал, но глухота властным хозяином входила в мою жизнь. Что-то исчезло, что-то, ценное во сто крат больше, чем все звуки мира, и только папин голос бормотал над ухом: «В твои годы я уже почти не слышал треска. А когда родился ты...» — не может быть! не должно! папа, я не хочу!.. я зарыдал спросонья, оплакивая утрату безумия, бронзового гонга (скорлупы! панциря!..) — и в уши ударил топот многих сандалий.

А следом: гул встревоженного *Номоса*.

Родной, мучительно-близкий, забытый в суматохе героизма последних дней, блаженных дней игры в поддавки с Ананкой-Неотвратимостью — он гремел, призывая опомниться и стать самим собой.

Обретя его вновь, я смеялся в лицо стражам, порывался плясать, и вооруженные троянцы пятились, забыв связать руки рыжему безумцу. Наверное, поэтому меня не избили, как Менелая — белобрысый, когда его бросили в темницу, выглядел хуже гидры после ее посещения Гераклом. Взыграла гордыня Атридов: нос вперед, и в бой! По счастью, кости остались целы, зато кровь из знаменитого носа мы останавливали едва ли не до вечера — у Менелая она никак не хотела подсыхать. Текла и текла, проклятая;

порченная. Алым серебром отблескивала на коленях, на камнях пола.

Или это просто игра света?

Неделя прошла, притворяясь вечностью. Стражники, поставляя нам воду и черствые лепешки, на все вопросы отвечали: «Не велено!» Менелай даже опять полез в драку и опять был бит. На восьмой день запрет вступать в беседы с заключенными, видимо, сняли, потому что довелось узнать о себе много нового. Мы трое были уже не послы, а лазутчики. Подлость наша вопияла до небес, обилие пороков изобличало людей корыстных и мерзких, воняло от нас козлами, и снаружи каждое утро голосил хор, предвзяв будущую трагедию:

— Бойтесь данайцев, дары приносящих!

— Па-рис! бод-рись!..

«Пенелопа», как позже выяснилось, была вытащена дальше на берег и окружена кольцом воинов. Наши спутники содержались на корабле под арестом; исключение составлял лишь юный Акамонт-афинянин. Сынок бого-равного Тезея успел-таки стяжать Парисовы лавры, соблазнив юную Приамидку, и теперь решалось, что с соблазнителем делать: казнить или женить?

По слухам, первое казалось Акамонту предпочтительней.

На самом деле мне было отнюдь не весело. Я бродил от стены к стене, погруженный в бронзовый гул; я чувствовал, что в первую очередь сам явился причиной возмущения *Номоса*, не в силах понять — почему?! И мой Старик, сидя на корточках в полосе жалкого света, падавшего из окошка, шептал беззвучно:

«Ты сумасшедший. Тебе не нужно понимать».

— Да! — вскрикивал я, и мои собраты по несчастью испуганно жались по углам, переглядываясь. — Да! не понимать!

«Тебе нужно слышать, видеть, чувствовать и делать. Мальчик, ты даже представить себе не можешь, как тебе повезло...»

— Мне повезло!..

И прорицатель Калхант глядел на меня с суеверным ужасом.

В середине второй недели заточения мне наконец стало *скучно*. Пожалуй, я бы обрадовался, если бы в этом состоянии умел радоваться. Как раз в полдень выяснилась причина ареста. Оказывается, пока мы здесь усыпляли бдительность чистых душой троянцев, ванакт Агамемнон вкупе с союзниками яро готовился к войне, собирая в единый кулак флот и армию. По мне, так в кулаке микенский ванакт держал скорее трещотку по имени Паламед-эвбеец, оповещающая весь мир о своих замыслах — слишком уж быстро разлетелась весть о тайном коварстве Микен. Но, так или иначе...

Две волны сошлись воедино: скука и гул *Номоса*.

Миг, и вдогон плеснула волна третья.

Любовь.

ТРОЯ

Пергамский акрополь, темница (Мелический хорал-полемодицея¹)

Скучно. Ворчит гонг, сердясь. Я люблю вас, люди! — будьте начеку. Герой должен быть один, говорит дядя Алким, и он прав. Герой обречен мойрами-Пряхами на одиночество: воюет в одиночку, побеждает в одиночку и умирает тоже в одиночку. Некий рыжий безумец вступил на пагубную стезю геройства: один за всех. Один против Олимпа. Я! спасу! — отсидись на Итаке... Нет! спасу! — за-таись! спрячься... Нет! я!..

Ого-го — и на стенку.

Там, где герой идет напролом, говорит дядя Алким, люди ищут иные пути. Военная хитрость. Иногда, если надо — подлость. Да, гибнут твои друзья, но их гибель — цена победы. Герой, ты ожидал молнии или землетрясения? готовился встретить Глубокоуважаемых лицом к лицу, втайне желая и страшась этого?! — взамен получи

¹ Песнь хора в оправдание войны, сопровождаемая музыкой.

удар в спину. От людей, воюющих по-человечески. Отправить посольство, чтобы за их спинами раздуть шумиху: война! обманный маневр! завтра выступаем! Принести жертву на алтарь Арея — после казни послов Троя обречена. Это вам не бабу увести...

Война должна иметь достойное оправдание; она его получит.

Я люблю вас, люди... боги, я люблю вас.

Не умею иначе.

Ты был мудр, костистый старик по прозвищу Геракл, говоря: живи долго, мальчик! — ибо понимал, что время подвигов закончилось. Героя погубили свои, герой умер; да здравствует Одиссей, сын Лаэрта.

Одиссей, сын Лаэрта-Садовника и Антиклеи, лучшей из матерей. Одиссей, внук Автолика Гермесиды и Аркесия Зевсиды. Одиссей, владыка Итаки, груды соленого камня; муж заплаканной женщины, отец смешного младенца. Герой Одиссей — для других. Хитрец Одиссей — для других. Я! я...

Если нужно будет убить — убью. Если понадобится предать — предаю. Если потребуется обмануть — обману. Если ценой будут развалины Трои и погребальные костры до небес — что ж, пусть так. Главное: вернуться. Прикрыть спину от ударов неба и земли, жаждущих развода. Удавить последние капли героя в себе. А после опять: вернуться.

Есть разные девизы на щитах: «Сам Зевс меня не оставит!», «Муж-победитель», «Слава бежит впереди меня»...

Я вернусь.

Ничем не хуже.

И звучит куда более по-человечески.

* * *

...когда вошел тюремщик с едой, Одиссей прыгнул ему на спину.

И, сдавив глотку, обжег шепотом:

— Молчи! сейчас отпущу. Пойди к бацилею и скажи: Одиссей, сын Лаэрта, хочет видеть Приама, сына Лаоме-

донта. И еще скажи: теньям не место подле живых. Запомнил?

— Кхх-хах!.. ах-каах... н-не м-мест...

— Ну и молодец. Иди.

У дверей тюремщик задержался. Не заорал: «На помощь!» Вместо этого, растирая горло обеими руками, выдал:

— Кххх... з-зачем?

— Стал бы ты иначе меня слушать, — неприятно улыбнулся узник. — И учти: забудешь передать, базилей с тебя голову снимет. Уж поверь мне. А не веришь мне, поверь прорицателю. Ему воробей на хвосте принес.

— Снимет-снимет, — закивал Калхант, жмуря совиные глаза и меньше всего понимая игру рыжего. — А семейство изгонит в леса.

И минутой спустя, наедине:

— Ну, рыжий!.. ты б еще ячменной муки спросил, с солью! Темечко заранее посыпать!¹

Одиссей глядел в стену; молчал.

Через час за мной явились.

ЭПОД

ИТАКА

Западный склон горы Этос; дворцовая терраса (Сфрагиды)

В небо плеснули кислым молоком. Стало зябко, ночной хмель мигом выветрился; зато осадок скопился в голове тоскливой мутой. С удивлением обнаружил: меня трясет. Мелкая такая дрожь, противная. «А-а... пожалуйста!.. не на-а-а...» — слабый всхлип в тишине спальни. Это жена. Спросонок. Остро захотелось войти, вбежать, нырнуть под покрывало, в дремотное, родное тепло; утешить,

¹ Перед жертвоприношением головы жертв посыпались солью и ячменной мукой.

как утешают тело, не разум, ибо какие утешения для разума можно сыскать на этом проклятом рассвете?

Скоро солнце.

Скоро Эврилох отправится убивать свою тысячу врагов.

Если бы отец сейчас находился на острове, я бы, наверное, пошел к нему. Разбудил; служанка побежала бы греть молоко — папа всегда поражал меня страстью к теплomu молоку, к пористой пенке... Но Лаэрт уехал в деревню. Так говорят все; так велено говорить. Папа, я знаю, чего тебе стоило покинуть Итаку; я никогда не смогу отблагодарить тебя в достаточной мере, мой лысый, улыбчивый папа, мой Лаэрт-Пират! — в силах ли копье отблагодарить щит за его крепость? Но сейчас мне не хочется думать, где ты.

Мне сейчас вообще не хочется думать.

Вчера и сегодня вот-вот сойдутся, чтобы единым целым отправиться в завтра. Плыву, из последних сил рассекаю волны былого; с корабля бросают канат — вцепляюсь судорогой всего тела... поднимаюсь на борт. Вглядываюсь в суровые лица; в знакомые лица.

— Откуда плывем? — Голос отказывает, срывается крысиным писком.

— Из Трои.

— Куда?

— Домой.

Падаю на кормовой помост; закрываю глаза.

...спотыкаясь, хватая воздух скрюченными пальцами, базилей Приам ковылял ко мне. Он был поднят с ложа, едва успев завернуться в тонкий, льняной фарос: я видел, чего лишилась очередная жена, и мысленно извинился перед ней за свой визит.

— Т-тени! Т-ты сказал: т-тени? не м-место?!

Несчастный, изможденный человек: у него дурно пахло изо рта, и стоило труда не отвернуться, когда Приам ухватил меня за грудки. Лицом к лицу. Боги, он ведь ненамного старше моего отца! боги!.. В глазах троянского владыки шипел под дождем безумный факел мольбы: «Спаси!»

Только мое безумие было куда скучней.

— Т-ты? м-можешь?! м-можешь, да?!

— Могу. Только...

— Прог-гони! молю! Они н-не видят! н-никто!

— Нет. Меня казнят на рассвете.

— Жить! т-ты будешь жить! — Слюна брызгала из черного провала. — Жить!

— Конечно, я буду жить. Ведь базилей мудр. Базилею пообещали успешную войну: благоволение небес, мечи союзников... Умри послы, и боги вынуждены будут отвернуться: все знают, им противен нарушитель закона гостеприимства. Умри послы, и части союзников придется спрятать мечи в ножны: у войны свои законы, их приходится блюсти. Умри послы, и мудрый базилей Трои может остаться один на один с гневной Ахαιей, сбитой в единый кулак, решившей, что и ей — почему бы и нет?! — закон не писан. Умри послы...

— Ж-жить! молю!

Я говорил раздельно и внятно. Зная, что сейчас он не успевает ничего осознать, пьяный неразбавленным, отчаянным вином надежды; но слова мои оседают в Приаме — на дно, в илистую грязь, сокровищами затонувшего корабля, чтобы всплыть позже, в нужный час. И еще: я старался смотреть ему в глаза. Лишь в глаза: закишие, с желтыми капельками гноя в уголках.

Отведи я взгляд...

Тени. Жуткий хоровод, зовущий базилея на ложе. Похоть, какую он тщетно пытался утолить ласками бесчисленных жен. Сходство юного Париса с темными, невидимыми танцорами, общая сладострастность движений, томность повадки были несомненны. Я все-таки не выдержал: посмотрел. Качнулся, сбился. Быстрее зарницы пронеслось: стою, погрузив ноги в Аид и касаясь макушкой Плеяд, а внизу корчится, взывая, жалкий червь по имени Приам. Но скука удержала, и гонг пролился бронзой в любовь, рождая неясные для меня слова: «Человек *Номоса!*...»

Тени! прочь!

Видение было ложью.

Подкупом рыжего безумца: Пирровой¹ победой.

— Мне понадобится вода, глина и камни, — я ободряюще сжал плечо басилея, и несчастный натянулся струной в ожидании умелого плектра². — И еще: я должен трижды позвать *их* по имени. Понимаешь?

— Горы! море! — по-моему, он сейчас был безумней меня.

— Нет. Горы и море оставь себе. Камни, вода, глина — и имена.

Даже спускаясь во тьму Эреба, я не осмелюсь повторить имена, которые произнес трижды над малым кенотафом. Есть мысли не для живых; есть имена не для живых.

На следующий день нас освободили. Всех. «Пенелопа» готовилась к отплытию, разом помолодевший Приам горделиво косился на жен, пренебрегая великим долгом; троянцы устали от здравниц и проклятий — теперь они молчаливо глазели на нас, по-рыбьи разевая рты. Накануне выхода в море я пошел в знаменитый храм Афины, к упавшему с небес палладию. Палладий оказался грубым деревянным идолом, черты были слабо намечены, никакого сходства; я стоял перед ним, не зная, что сказать, и надо ли говорить вообще.

В тени боковой стены шушукались две женщины, закутанные в накидки. «Не надо! — донеслось до меня. — Зачем?» Одна из них быстро пошла к выходу. На пороге оглянулась. Словно повинувшись внезапному порыву, сбросила накидку с головы: лицо как лицо, средних лет, слегка одутловатое... светлые волосы, фигура с возрастом стала оплывать...

И взгляд, беззвучно спрашивающий меня о чем-то.

Уже на корабле я понял, что видел — Елену.

Другая женщина подошла ко мне. Ей было около тридцати: девически стройная, высокая. Мне приходилось смотреть на нее снизу вверх.

¹ Пирр — греч. «Рыжий»; прозвище Одиссея за цвет волос.

² Плектр — пластинка для игры на струнных инструментах.

— Меня зовут Кассандра. Я дочь базилея Приама.

— Радуйся, богоравная! Увидев тебя на пристани, я помашу тебе...

— Не надо. Меня не будет на пристани. Мне запрети-ли покидать храм до особого разрешения.

— Почему?

— Потому что мне плюнул в рот Аполлон. С тех пор я предвещаю только беды. Люди не любят слушать дурные пророчества.

Я вспомнил: о Кассандре-горевестнице мне рассказы-вали. Например, как она при первом явлении Париса в город кинулась на новоявленного брата с топором — еле оттащили.

— Ты похож на Геракла, — вдруг сказала она, хму-рясь. — Я видела его; в детстве. Безумец, стрелок и герой. Мой город однажды пал перед ним; падет снова.

— Это хуже, чем дурное пророчество, — тихо сказал я, отступая. — Кассандра, это правда. Это почти правда; единственный облик правды, доступный людям. Мы оба сумасшедшие; оба лучники. Только я не герой.

И добавил, помолчав:

— В этом моя удача.

Уходя из храма, Одиссей задержался перед палладием.

— Возьми, маленькая...

Он сунул руку за пазуху. Достал яблоко, купленное за-года на рынке. Краснобокое, глянцевое. Самое большое, какое только нашлось. Ногтем нацарапал, взрезая кожу: «Прекраснейшей».

Положил на алтарь.

Деревянный идол долго смотрел вслед рыжему, и капли сырости текли по грубо вырезанному лицу.

ПЕСНЬ ШЕСТАЯ

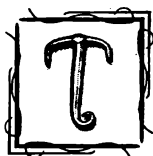
БЕРЕГА, ЧТО МНЕ ОБЕШАНЫ¹...

Быть героем легче, чем быть просто порядочным человеком; ведь героем можно быть раз в жизни, а порядочным человеком нужно быть каждый день.

Пиранделло

СТРОФА-I

ЗАКЛЯТЫЙ ДРУГ



юремными крысами пищали канаты в ременной оплетке. Ветер растерянно хлопал парусами, решая: с какой стороны примоститься? И стоит ли вообще пучить щеки? Похоже было, что господин острова Эолии² вчера изрядно перебрал, теперь маясь похмельем. Наконец кормчий Фриних кощунственно буркнул: «Не стоит ждать милости от небес!..» — и рывкнул на гребцов Немейским львом. Два ряда длинных весел расплескали зелень воды, вырвав «Пенелопу» из тенет переменчивого бога, и бросили судно на юго-запад.

За кормой ждала Троя. Знала, крепкостенная: вернутся.

В душе царило смятение, подобное творившемуся на море. Ошалелые волны сталкивались, вскипая шипучей пеной, море притворялось бадьей с гнилым суслом; ветра затеяли чехарду, и лишь усилия мускулистых гребцов по-

¹ В корабле раскрылись трещины,
Море взрыто ураганами.
Берега, что мне обещаны,
Исчезают за туманами...

*Н. Гумилев.
«Возвращение Одиссея»*

² Имеется в виду Эол — владыка ветров.

зволюли кораблю двигаться в нужном направлении. Радоваться или печалиться? С одной стороны, отпустили с миром, чтобы не сказать: погнали взащей!.. сравнили с Гераклом!.. и вообще...

Радоваться не получалось.

Страшно: знать. Страшнее: знать заранее. Когда готов разодрать жилы, лишь бы выплеснуть примесь ихора — легкого! серебристого! чужого! Когда платишь долги отцов; платишь жизнью, с лихвой, накопившейся за годы отсрочки платежа. Впору рвать волосы, заламывать руки и, стеная, взывать к равнодушию небес; впору предаваться скорби и печали, густо замешанным на смертном страхе.

Скорбеть не получалось.

Печали не было.

И страха.

Радость и печаль, скорбь и гнев — всего лишь слова, а слова ничего не значат для помраченных рассудком. Родное безумие, с которым успел намертво срастись за восемнадцать лет жизни, вернулось к хозяину. Верней пса; ближе жены; заботливей отца с матерью. Сухой песок скуки, безбрежное море любви и медный свод над головой.

И еще: сидящий рядом, на корточках, Старик.

Рассекая волны Лилового моря, «Пенелопа» шла к Эвбее — загрузиться припасами. Затем в Арголидскую гавань, высадить Менелая с Калхантом; и последний бросок — на Итаку.

Домой.

* * *

У Навплийской пристани корабль встречал сам базилей Навплий. С эвбейской знатью за спиной; с сыном Паламедом бок о бок. Кольца светлых, вьющихся бород, кольца на пальцах, радушие на лицах. Вот примет Паламед базилейство — тоже Навплием станет. Морьяком.

Родовое имя.

— *Теперь ты будешь меня ненавидеть?*

— *Нет. Я буду тебя любить. Я умею только любить.*

— *Наверное, ты действительно сумасшедший...*

— *Наверное...*

— ...Свежей воды? сколько угодно! Копченной свинины? Хлеба? Вина?! Четыре пифоса прамнейского в дар богоравным! Что вы! обижусь! После хождения по мукам, после тягот заточения!..

Пир Навплий действительно устроил на славу, посрамив гостеприимство троянцев. Сравнение больно отдалось в висках гулом металла. Итог пиров в Трое до сих пор давал себя знать: кашлем Менелая, бледностью прорицателя, бранью команды. Однако гул был слабым: намек? или просто звенит в ушах от выпитого? — а выпили, надо сказать, порядком. Веселье выходило натужным, вымученным: напыщенность здравниц, неискренность расспросов, сочувствие, клейменное казенной печатью; возлияния за победу. Время тянулось сырым тестом, вино лишь усиливало шум в голове, еда отягощала чрево; голоса вязли в духоте мегарона, от воззваний к Глубокоуважаемым бросало в дрожь...

«Напился все-таки», — укор жужжал полудохлой мухой. В паутине. В сетях. Спеша, паук!

Разом протрезвел.

Поднялся из-за стола:

— Гостеприимство богоравного Навплия сравнимо разве что с его мудростью. Однако пора и честь знать. Пойду осмотрю корабль — с рассветом отплываем. И рад бы...

Навплий сделал вялую попытку уговорить гостя задержаться; настаивать, впрочем, не стал. Похоже, праздник на пороге войны утомил и хозяев. Выбравшись из зала, Одиссей с хрустом потянулся. Полной грудью вдохнул вечернюю свежесть. Ночевать в доме родственников мог только безумец.

Рыжий был безумцем, но иного рода.

Из-за угла рябым даймоном вынырнул Эвмей; захромал справа и чуть позади, отстав на шаг. Аргус посетить пир не соизволил — дрых на «Пенелопе». Как его не пришибли в Трое, пока Одиссей гнил в темнице, оставалось загадкой. Но, по словам Фриниха, на третий день ареста пес объявился на корабле. Грязный, голодный, злой пуще Ехидны, с боком, обваренным кипятком, и гноящейся раной на ляжке. Зажило, правда, «как на собаке». Дождлся

Аргус хозяина, всего облизал, с ног до головы — еле оттащили...

Уже в воротах Одиссей оглянулся. Из дверей вышли еще двое. Беседуя на ходу, пошатываясь и смеясь друг над другом, двинулись через двор. Менелай и Паламед. Небось проветриться решили. А то войны не дожدهшься — помрешь от обжорства.

Войны.

Не дожدهшься.

...они с Эвмеем были на полпути к гавани, когда гулкий удар в затылок едва не бросил Одиссея наземь. Белое пламя залило глаза, явив черным контуром: тропа, утесы, и два силуэта не спеша плывут вверх. В гору? в небо?!

Паламед и Менелай.

В следующее мгновение стало ясно: удар пришел не снаружи, а изнутри. Бронзовый панцирь *Номоса* взывал, кричал, вопил об опасности. Скорее! Не думать! делать! идти туда, где тишина...

Иногда тишина кроется в эпицентре грохота.

Молчаливым призраком Одиссей с места ринулся обратно, расшвыривая сандалиями каменную крошку. Эвмей, без лишних вопросов, бросился за хозяином. Он отставал, верный свинопас, он безнадежно отставал — и все равно, припадая на одну ногу, продолжал хромать вслед за быстрым сыном Лаэрта.

По правую руку вновь возникают дубовые створки ворот. Нет, не сюда. Дальше, в гору, мимо стайки плакучих ив — тишина там. Осталась за спиной ограда из пористого ракушечника. Остался позади задыхающийся Эвмей. Скорее! успеть! надо успеть...

Куда? Зачем?!

Нет ответа. Лишь звон Мироздания — путеводной звездой в сумерках.

Тропа вьется гадюкой — прочь! вывози, кривая! не хочешь?.. Думать нельзя. Время делать: без мыслей, без смысла, полагаясь только на сухой песок скуки, жаркий прилив любви и вещей звон гонга.

Продравшись сквозь заросли тамариска, Одиссей принялся карабкаться в гору. Напрямик, без тропы. В тиши-

ну. Камни сами ложились под ноги, шершавые выступы давали возможность зацепиться крепким пальцам лучника. Сын Лаэрта упорно стремился на вершину кручи, нависшей над тропой: пророчит бурю металл тревоги, отчаянно колотится сердце, грозя разорвать темницу груди; кровь вскипает пурпуром и серебром, смертью и бессмертием.

Выбираясь наверх, Одиссей уже видел...

...я видел: вот она, внизу. Тропа. Кружит дальше, теряясь в пасти ущелья, а близ обрыва стоят двое. Эвбеец отошел в сторонку, задрал хитон — помочиться на камни. Менелай замер у самого края, любителю красотами. Двое...

Трое!

В кустах на склоне притаился третий. Третий, кому забыли объяснить, что лук и жизнь — одно. Наконечник его стрелы смотрел в спину обманутому мужу Елены; острое жало, выкованное из сплошных доводов рассудка. Вспомни, Ахайя! — кто выиграл в Спарте состязания стрелков? кого отпустил Приам-троянец, после таинственных переговоров ночью?! Что вы говорите? как уцелел свидетель коварного убийства Паламед? — да мало ли как: убежал, спрятался... Умри Менелай от выстрела в спину — все поймут, кто заслужил позорную казнь или изгнание. Полюбому, молодого итакийского басилея можно будет смело сбрасывать со счетов; да и влияние Лаэрта-Садовника сильно пошатнется. А война... а что война? — Менелая нет, клятвы нет, рыжего подлеца тоже нет!..

Прежде чем доводы рассудка сорвались с чужой тети-вы, я протянул руку. Взял с Итаки лук, качнувшийся мне навстречу. Костяная накладка была теплой, словно хранила отзвук предыдущего касания. Лук и жизнь — одно. Моя жизнь. Жизнь моих близких. Жизнь несчастного Менелая, разменной фигуры в азартной игре Паламеда.

Прости, незнакомый лучник.

Я люблю тебя.

Расстояние для выстрела было почти предельным, но я знал, что не промахнусь. Ведь это же очень просто! Надо просто очень любить этот лук, резную накладку из кости,

блаженствующую под твоей рукой! благородный изгиб, глухой скрип тетивы... надо очень любить эту стрелу; надо очень любить людей, ради которых делаешь этот выстрел; надо... просто...

Доводам рассудка не суждено было уйти в полет.

* * *

— Лаэртид! Ты зачем туда забрался?! Да еще с луком...

— Охота пуще неволи, — ответ, оперенный насмешкой, слетел вниз.

— А добыча? есть?

— Есть!

Я никогда не забуду, как смотрел на меня Паламед, опоздав прикрыть срам. Снизу вверх. А Менелай смеялся. Пусть смеется.

Ему и знать не надо...

Уже в море рябой свинопас добровольно проверил на себе воду и вино из всех бурдюков. Я пытался его отговорить, даже бранил, но Эвмей уперся хуже осла. Однако яда не оказалось.

ИТАКА

Западный склон горы Этос; дворцовая терраса (Палинодия¹)

...как я устал! Еще минута, здесь, на террасе, в преддверии рассвета; еще семь месяцев памяти, там, в море бывшего — шаг, и мы встретимся. Одиссей, сын Лаërта — и Одиссей, сын Лаërта. Боюсь, я не узнаю себя. Отпряну, прежде чем безоглядно раскрыть объятия и сделаться целым. Они машут мне с покинутых островов: маленький строитель кенотафов («...прощай!...»), самолюбивый подросток, мечтающий о гимназиях («...прощай!...»), невезучий беглец в эпигоны («...эй! помнишь?...»), жених тени с кожистыми крыльями («...а-а-а!...»), юный базилей, герой

¹ Палинодия — песнь с обратным смыслом.

поневоле, посол-жертва («...проща-а-ай!...»). Я вернусь, друзья мои! Не надо прощаться!

Память ты, моя память!

Жизнь ты, моя жизнь... бестолковая штука. Что от тебя останется на пороге сотого рассвета? тысячного? пожалуй, что и ничего. Меня забудут, а если вспомнят — нарядят в одежды с чужого плеча, лицо закроют маской из золота, словно микенским ванакам-покойникам, поставят на величественные котурны. Будь я аэдом, я бы переписал все вдребезги. Ну в самом деле: эпизод на Эвбее, с неудачным покушением — он же лишний! пустой! А путешествие к сыновьям Автолика грешит длиннотами... зато о Пенелопе помянуто безобразно мало; женщины вообще бледны, невыразительны...

Я согласен, будущий певец. Жизнь — любая, не только моя — вообще бестолкова и маловыразительна, пока ее не коснется твой вещий стилос. Острие — для вымысла; лопатка — для стирания правды. И впрямь, я редко возвращался к матери — но кто часто вспоминает матерей? Считанные дни и ночи провел рядом с рыжей Пенелопой — разве для любви необходимо постоянное присутствие? Нагромоздил кучу имен и названий, обделив большинство подробностями и красками — слушатель вправе пнуть тебя, мой аэд, возмутившись: запомнить всю эту дребедень?! у лошади башка большая, пусть она...

Скоро венец Гелиоса, подобно ставшим в круг копейщикам, прорвет сырую пелену.

Я вернусь.

Внизу, совсем близко, начинают звучать струны форминги¹. Мне ничего не видно, мне и слышно-то плохо, но тихий, слегка гнусавый голос напевает странным речитативом, вне привычных ритмов и созвучий:

— *Не сравнивайте жизнь со смертью, песнь с плачем, вдох с выдохом и человека с божеством — иначе быть вам тогда подобным Эдипу Фиванскому, слепому в своей зрячес-*

¹ Форминга — простой струнный инструмент (четыре или семь струн), напоминающий гитару.

ти, отцеубийце и любовнику родной матери, добровольно ушедшему в царство мертвых близ рощи Эвменид, преследующих грешников, ибо непосилен оказался Эдипу груз бытия...

Возможно, развлекавший моих парней аэд проснулся. Поднялся выше по склону; сочиняет грядущий гимн. Возможно, я просто придумал себе струны и слова.

Я устал. Я бесконечно устал.

А впереди — Троя.

— Не сравнивайте жизнь с жизнью, песнь с песней, вдох со вдохом и человека с человеком — иначе быть вам тогда подобным Тиресию-прорицателю, зрячему в своей слепоте, провидцу света будущего, обреченному на блуждание во мраке настоящего, чья смерть пришла в изгнании и бегстве, близ Тильфусского источника, ибо пережил Тиресий время свое...

До рези под веками вглядываюсь в туман. Молоко за перилами пенится, вскипает, зрение бессильно проникнуть в его глубины, но я вглядываюсь... мы вглядываемся — маленький строитель кенотафов, самолюбивый подросток, беглец в эпигоны, смешной жених, юный базилей, герой поневоле, посол-жертва...

Молоко обманывает. Морочит. Пророчит. Рисует бесконечную дорогу. По обочинам — ряды столбов с резными верхушками. Бредут к горизонту силуэты — тени? люди? И в черном беззвездном куполе готова осыпаться одинокая гроздь: Плеяды, семь дочерей титана Атланта и океаниды Плейоны, взятые на небо. Третья из сестер, Майя, некогда родившая Зевсу сына — Лукавый, Проводник, Килленец, Трисмегист, один из многих! — печально мерцает.

Мне нельзя засыпать; я не засну.

Мне можно только возвращаться.

— Не сравнивайте жизнь с плачем, песнь с божеством, смерть с выдохом и вдох с человеком — иначе быть вам тогда подобным солнечному титану Гелиосу-всевидцу, кому ве-

домо все под меднокованным куполом небес, но чей путь от восхода к закату, день за днем и год за годом, неизбежней и неизменной грустного жребия хитреца-богообманщика Сизифа: от подножия к вершине, а после от вершины к подножию, и так во веки веков...

Когда я прибуду в Авлиду, к месту общего сбора, вожди соберутся в шатре Агамемнона на совет. Корчить из себя героев и браноносцев, отцов дружин и владык земель. Получится плохо. Совсем не получится. Миг, другой — и все перессорятся, начнут вырывать из рук грядущие трофеи и браниться из-за недобытых пленниц. Хорошо будет лишь Нестору Пилосскому: он любит притворяться старцем, этот сорокапятилетний трус, посаженный на трон Гераклом, ибо под рукой больше никого не оказалось — он и будет выглядеть старцем.

Мы сделаем его таким.

Мы — я, Диомед, Аяксы, братья-Атриды, Идомей-критянин... самый старший стоит на полпути между двумя и тремя десятками лет. Я с вами, братья мои, я один из вас, плоть от плоти, кровь от крови, серебристо-алой — мальчишки идут на войну.

Глубокоуважаемые, радуйтесь: мальчишки идут на войну!

— Не сравнивайте плач со вдохом, жизнь с песней, выдох с человеком и божество со смертью — иначе быть вам тогда подобным дикому циклопу Полифему-одноглазу, пожирателю плоти, но кол уже заострен, дымится древесина, обжигаясь на огне, и стоит на пороге вечная слепота, когда поздно будет ощупывать руками многочисленных баранов своих...

Развод Неба и Земли; дележ сыновей. Мне кажется, большинство достанется земле. Просто земле.

Я вернусь.

— Не сравнивайте ничего с ничем — и быть вам тогда подобным самому себе, ибо вас тоже ни с чем не сравнят. А иначе были вы — все равно что не были...

Млечный Путь клубится предо мной на пороге рассвета.
Зовет.

Мне осталось всего ничего... рядом!.. рукой подать...

АНТИСТРОФА-I

БЕЗУМЦЕВ БЕРУТ НА ВОЙНУ

— Господин! Господин! Радуйтесь! Сын у вас! Сын!

Лишь сейчас до Одиссея дошло: крики роженицы, сводившие его с ума, наконец-то стихли. Вместо них из гинекея слышится требовательное лягушачье кваканье.

Сын?!

Не ошибся оракул, не соврали толкователи, не зря...

— Пенелопа? Как она?!

— С ней все хорошо, господин! Роды прошли благо...

Рабыня, к счастью, успела отшатнуться в сторону. Мимо нее по коридору пронесся сумасшедший вихрь, обдав добрую вестницу порывом ветра. Едва не вынес дверь на женскую половину — забыл, в какую сторону открывается. Верхняя петля оборвалась; нижняя, умница, выдержала.

— Рыжий, посмотри...

Счастливая, измученная Пенелопа. На лице, залитом восковой бледностью — капли пота вперемежку с веснушками; волосы растрепались языками пламени. А в руках любимой... Вот это сморщенное, орущее, красное существо — сын?! Их сын?! Его сын?!

...видимо, таковы все отцы; я не исключение. Никакого умиления и восторга при виде *вот этого* я не испытал. Врать не буду. Умом понимал: долгожданный сын, наследник, со временем он вырастет, станет настоящим, надо радоваться... А вместо радости — растерянность. Страшно брать его на руки: не приведи Гестия-Хранительница, уроню ненароком или придавлю нечаянно... — страшно, непривычно, и какая-то странная брезгливость в придачу. Перед собой-то я могу быть честным до конца! Но взять пришлось, и вот стою, дурак дураком, со скандальным свертком на руках, а Пенелопа смотрит на меня

(на нас?!) с ложа, улыбается, глаза ее сияют зелеными звездами, и я начинаю глупо ухмыляться в ответ, а за нами наблюдают няня с повитухой — вот где умиления! восторга! на всю Большую Землю хватит, и еще на Пелопоннес останется! — а я все стою и не знаю, что дальше делать, что говорить...

Спасибо папе с мамой! Вовремя объявились. Надо будет тому расторопному рабу, который успел к ним сбегать, корову подарить. Или две. Вдохнул я с облегчением, обрел дар речи; воистину: «Речи, как снежная вьюга, из уст у него устремлялись!» — вьюга, не вьюга...

— Папа! Мама! С внуком вас! Радуйтесь!

Кажется, я нес еще что-то о мире, благоденствии, милости Глубокоуважаемых... сейчас уже толком не вспомню, а все равно стыдно. В голове слегка звенело, но не так, как обычно давал себя знать гонг, пророча опасность. От радости, должно быть. Хотя, честно говоря, я куда больше волновался за жену — совсем ведь девчонка! чресла узкие! действительно ли роды прошли удачно?! — чем радовался сыну.

Лаэрт принял младенца из моих рук. Присел на скамеечку рядом с ложем, слегка покачал ребенка — и тот, на удивление, смолк. Чихнул. Папа бережно опустил новорожденного себе на колени, и я непроизвольно вздрогнул. Дед берет внука на колени! Это значит — принятие в род, признание наследником. Однажды дедушка Автолик держал на коленях меня...

Я покосился на Старика. Устроившись напротив моего отца, он внимательно следил за ритуалом. Серьезный, как никогда.

— Радуйся, сын мой Одиссей, радуйся, Пенелопа, дочь Икария: ваш сын и мой внук отныне — плоть от плоти, кровь от крови нашей семьи. Я, Лаэрт, сын Аркесия, даю своему внуку имя. Отныне его будет звать...

Отец замолчал. Сдвинул брови. Перевел взгляд на меня и твердо закончил:

— ...зовись отныне Далеко Разящим! Радуйся, внук мой Телемах!

Имя прозвенело в воздухе спущенной тетивой. На миг

почудилась у окна знакомая фигура: стройный кучерявый юноша, которого я не видел уже много лет. Ты слышишь, насмешливый друг мой?! видишь?! ты явился на зов?..

* * *

Звонящие объятия Мироздания открываются мне. Море любви распаивается во всю ширь, смывая сухой песок скуки. Не объятия — огромное яйцо с бронзовой скорлупой.

Внутри него — море.

Посреди моря — остров. Скалы умыты солеными слезами, зелень горных лугов, бляные стад, дымки над крышами. Итака. Рыжая Пенелопа, отец, мать, новорожденный Телемах, няня, рябой Эвмей, лохматый Аргус, дядя Алким с сыном... И в самом центре, птенцом в яйце, пленником в темнице — я.

Одиссей, сын Лаэрта.

А бронзовый свод все ближе, надвигается отовсюду, море подступает к острову, скалы загибаются к небу краями гигантской чаши с драгоценным вином — нельзя пролить! расплескать! потерять — ни в коем случае! я сам стану чашей — сохраню, сберегу!..

Тесно.

Душно.

Страшно. Нет, не страшно! — и пусть стенки совсем рядом, грозя раздавить. Жар любви, и шелест скуки, осадком на дне, и звон предела — я выпью все, без остатка, я уже пью, хмелея от безумия; все, что мне дорого, что составляет мой мир, стремительно входит в меня, становясь Одиссеем, сыном Лаэрта и Антиклеи, мужем Пенелопы, отцом Телемаха... Забыв взмолиться — да минет меня чаша сия! — я пью ее до дна, свою роковую чашу, и когда последняя капля, последняя песчинка, последний удар гонга проваливаются внутрь, становясь мной — мир вновь распаивается навстречу!

Стою один. Нагой. Среди бескрайнего простора. Ветер обдувает разгоряченное тело, холодит кожу, отчего она начинает покрываться пупырышками; ветер крепчает, сечет колючими, ледяными градинами — чужой ветер, чу-

жой песок, чужой град, а я отныне лишен гулкового бронзового панциря, который укроет, защитит, отразит удар. Отныне мой мир — внутри. А снаружи нет ничего, кроме меня: ранимая кожа, уязвимая плоть, алая кровь с примесью серебра, клейменного печатью небес. И самый шустрый пергамский копейщик любовно полирует жало длиннотенного копья, грезя о моей печени.

Детский плач.

Не треск, не звон, не грохот — плач.

Дети не должны плакать.

Не плачь, малыш, папа с тобой, рядом, папа сделает все, чтобы тебе было хорошо. Папу хотят забрать на войну и убить там. Не плачь, это пустяки. Папу не убьют, он останется со своим мальчиком и никуда не поедет.

Разве берут на войну безумцев?!

* * *

...Одиссей пошатнулся, но устоял. Застыл, глядя в одному ему видимую даль, не замечая тревоги на лицах родных, не слыша вновь раскричавшегося младенца. Щеки Лаэртида налились болезненным, пунцовым румянцем, на лбу вспухли жилы, словно от дикого напряжения. Наконец кровь отхлынула, лицо побледнело, лоб покрылся каплями пота — рыжий глубоко вздохнул и медленно повернулся к отцу.

Он возвращался.

Откуда?

— Тебе плохо, Одиссей? — Вопрос родился сам, из воздуха, и никто из собравшихся в гинекее не понял, чьи уста его произнесли.

— Мне? — Одиссей оскалился; обвел покой белым взглядом статуи. — Ха! мне хорошо! Мне прекрасно! У меня родился сын! Я без ума от счастья! я безумен! неизлечим! Нам хорошо вдвоем: мне и моему безумию! мы с ним как братья... нет! одно целое! Я безумно люблю вас всех; я не расстанусь с вами никогда! Слышите? Ни-ко-гда-а-а!

Эхо вприпрыжку разбежалось по дому бацилея Итаки, заставив рабынь в ткацкой испуганно подпрыгнуть, а мяс-

ника, разделявавшего во дворе бычью тушу, прервать свое занятие.

— Ни-ко-гда-а-а! Потому что безумцев не берут на войну...

Последние слова сын Лаэрта прошептал очень тихо. Этот шепот расслышали всего двое: отец и Старик. На лицах обоих проступила тень усмешки: одна на двоих. Впрочем, этого тоже никто не заметил.

В покоях царила тишина.

Тишина?!

...маленький Телемах больше не плакал.

* * *

— ...Вы слышали? Одиссей Лаэртид многоумный... вовсе-то не многоумный оказался! придурок полный...

— Так он еще с детства... сердил!

— Кого?

— Кого надо, того и сердил! Или, ты думаешь, от большого ума за козами голышом гасают?

— За козами? Голышом? Ему что, жены с рабынями мало?

— Я ж и говорю — тронутый...

— Кем тронутый?

— Кем надо, тем и тронутый!

— Какие козы? Сам ты козел! — я доподлинно знаю, Одиссей, он поле солью засекает. С утраца, значит, выйдет, быков запряжет, мешок соли возьмет — и ну пахать-сеять!

— Тебе б соли на язык насыпать, пустомеля! Дома его держат, взаперти, чтоб перед людьми не позориться. После того, как он на родную мать с ножом бросился! Стерва ты, кричит, записная, глаза твои зрачками в душу!..

— Ага, удержишь такого! У меня племяш третий день с ихней Итаки вернулся. Сам видел: бродит по городу в лохмотьях, плачет, подаяния просит; волосья колтуном, глаза вытаращил... А у самого — меч на поясе! Попробуй, откажи в подаянии!

— А что твой племяш на Итаке забыл?

— По торговой надобности...

— Знаем мы эту «торговую надобность»...

— Жену, говорят, пытался в храм продать, иеродулой-потаскухой!.. она с горя топиться ходила...

Слухи ползли, ширились, и мало у кого возникали сомнения в том, что Одиссей, сын Лаэрта-Пирата, действительно сошел с ума. Мигом припомнили неясные проклятия, висящие над родом итакийских басилеев, извлекли из темных уголков давние слухи о безумии юного наследника, стряхнули пыль, отерли паутину: дело ясное, никаких сомнений! Спорили лишь о следствиях: посев соли, прыжки голышом, битье горшков в харчевне или сбор милостыни с мечом на поясе. В причине же никто не сомневался.

Разумеется, пришлось слегка побезумствовать — для достоверности. Собственно, большинство сплетен было чистой правдой: и по скалам голым лазил, и подавание просил, и горшки бил, и поле солью засеивал, и песни на площади орал, все больше считалки детские, и еще много чего.

Без зазрения совести.

Или я не безумец?

Но в тот проклятый день, когда запыхавшийся Ворон объявил о прибытии гостей («Важные дяди с Большой Земли, да!»), я как раз сидел дома. Подтверждал еще один слух: заперли, не выпускают никуда! Мы были вдвоем с сыном — Пенелопа отлучилась по делам; Телемах тихонько агукал в колыбели, а в моей голове звучал, разрывался истошный детский плач. Ребенок не хотел успокаиваться.

Ему было страшно.

* * *

Паламед вошел без стука, стремительно распахнув дверь. Коротко окинул взглядом талам; дернул пухлым ртом, сжал в ниточку. В нить бесстрастных Прях, обрыв которой значит: смерть.

И выхватил моего сына из колыбели.

Я сидел у окна, раскачиваясь и тупо мыча свадебный гимн, а Паламед-эвбеец шагнул прямо к колыбели, и вот: на сгибе левой руки он держит пускающего пузыри Теле-

маха, а в правой у него — меч. Ребенок засмеялся, потянулся к блестящей игрушке. Паламед засмеялся тоже:

— Выбирай, друг мой. Хочешь остаться? — отлично. Останешься сыноубийцей. Как твой любимый Геракл. Я спущусь вниз один и скажу всем, стенам: «Одиссей-безумец не едет на войну. Он слишком занят похоронами сына, которого зарезал перед моим приходом». Мне поверят; ты сам слишком постарался, чтобы мне поверили.

Я допел свадебный гимн до конца.

Ребенок смеялся на руках веселого, пышно разодетого дяди; ребенок заходился отчаянным плачем далеко-далеко отсюда, на хрупкой грани между «да» и «нет». Наверное, я недостаточно безумен. Или, напротив, вполне достаточно. Чтобы вернуться, надо уйти. Чтобы начать новую песню, надо допеть старую.

Я допел свадебный гимн до конца.

— Оставь ребенка в покое, — сказал я, вставая со скамьи. — Пойдем. Я еду на войну.

И пошел впереди, по лестнице, мурлыча памятное еще со времен парнасской охоты: «Видеть ахейцев душа горит рати суровые!»

Во дворе нас ждали оба Атрида, Менелай и Агамемнон; с ног до головы увешанные оружием и золотыми побрякушками; и еще Нестор — этот, как всегда на людях, кряхтел и кашлял, притворяясь согбенным старцем; и еще какие-то гости, которых я раньше не встречал.

Они беседовали с моей женой и не сразу заметили нас.

— Я спас тебе жизнь, — тихо шепнул Паламед, пропуская меня вперед. — Останься ты дома, хоть безумный, хоть нет, и жизнь твоя будет стоить дешевле оливковой косточки. День, два... может, неделя. И все. Удар молнии, неизлечимая болезнь... землетрясение, наконец. Надеюсь, Одиссей, ты понял меня.

— Я понял тебя, — без выражения ответил я.

Мне было *скучно*. Ребенок в таламе перестал смеяться и заплакал: дядя увел папу и унес блестящую игрушку. Ребенок на грани между «да» и «нет» перестал плакать и засмеялся нехорошим, взрослым смехом.

— Теперь ты будешь меня ненавидеть?

— Нет. Я буду тебя любить. Как раньше. Я умею только любить.

— Наверное, ты действительно сумасшедший, — вздохнул Паламед.

Я не стал ему ничего говорить. Он просто не знал, что такое — любовь. Настоящая любовь.

* * *

Иногда кажется, что судьба обделила меня врагами. Морщу лоб, хмурю брови: нет, не вспоминается ни один. Враг — это что-то близкое, трепетное: мало убить человека, чтобы он удостоился почетного звания врага; я застрелил мятежника в воротах Калидона, все полагают, что Филамилед с Лесбоса умер после моих побоев, Приам держал меня в темнице... теперь вот Паламед. Три дня сплошных пиршеств, пока мы не проводили их в гавань, изумление в его глазах сменялось страхом, ужасом, суеверным ознобом; думаю, это заметил не один я. Впрочем, мне все чаще было *скучно*, и еще любовь, целое море любви, и еще бронза, превратившаяся в детский плач... Часть меня засела в эвбейце стрелой, зазубренным наконечником, и сейчас выдергивалась, возвращалась к хозяину вместе с частицами чужой души — взяв взаймы, без отдачи; корчась от страха, он сползал с нагретого места, а такие места долго не пустуют...

Когда-то я видел в нем идеал. Вижу и сейчас.

Завтра я начну воплощать идеал в жизнь. Спасибо, Паламед. У нас много общего, больше, чем ты думаешь. Не бойся, не надо. Я люблю тебя.

* * *

Папа был в саду. Тюкая мотыгой, он окучивал какую-то грядку; в центре грядки торчал разлапистый папоротник, млеющий от счастья. Чуть поодаль, на принесенной рабами скамеечке, сгорбилась мама: штопала теплый плащ. Она сильно располнела за последнее время — сказывалась наследственность.

Порченная кровь.

Не обижайся, мама. Пожалуйста.

— Раненько ты, — вместо приветствия бросил папа, не разгибая спины. Потянулся, тронул резной лист; вздохнул. — Хороший человек уверял: в середине лета зацветет. У них, у гипербореев, всегда так, ночью. Жаль, не застану...

— Почему не застанешь? — тупо спросил я. Обширная папина лысина сверкала бисеринками пота, и лоснились мокрые волосы за ушами. Он все-таки поднял голову, будто почувствовал мой взгляд:

— Уезжаю.

— Куда?!

— В деревню, — бросила мама, прикусывая край нити. — Ты всем так и говори, если спросят: в деревню, мол, уехал. Виноградники возделывать. Служанку с собой взял, и больше никого. Старее, значит.

У полных людей не бывает морщин. Вернее, бывают, но мало. Поэтому мамино лицо выглядело много моложе тела. Счастьем веяло от ее лица, тихим, грустным счастьем. Так бывает, когда все плохо, и вдруг нашел старый, утеранный в суете дней пустячок — прижал к себе, вдохнул родной, давно забытый аромат...

— Интересно, кто из нас родился не в своем уме?

— Ты, — уверенно сказал папа. Разрыхлил комок земли и повторил: — Ты. Поэтому ты едешь на войну, а я в деревню. Ведь ты едешь?

— Еду. Война — настойчивая любовница. Как все богини, — он снова глянул на меня: быстро, искоса. Будто дротик метнул. — Хочешь не хочешь, а рано или поздно поворачиваешься к ней лицом.

— Или тебя поворачивают. Стоишь к войне лицом, кланяешься, а тебя уже сзади... какой-нибудь пронира...

— Пусть так, — по-моему, он намекал на судьбу посольства. — В конце недели я отплываю. Не в Авлиду, нет! — туда еще рано. Мне бы не хотелось говорить вслух, что я собираюсь делать, папа. Скажу лишь: я намерен стать любимцем Глубокоуважаемых. Дядя Алким однажды сказал: «Даже если собрать целую армию героев, каждый из них будет сражаться сам по себе. Это не будет настоящая армия; это будет толпа героев-одиночек. Жуткое, если задуматься, и совершенно небоеспособное образование...»

— Я всегда говорила: Алким умнее тебя, Лаэрт! — встала мама.

Мотыга застучала чаще.

— Папа, я еду собирать урожай героев. Если толпа, значит, толпа — но самая большая толпа, какую только удастся собрать. Я вытащу героев из любой норы, где бы они ни таились, я сделаю героев из трусов, ястребов из перепелов, все серебро в нашей крови уйдет плавиться в Трояду; а когда мы встанем под троянскими стенами — каждый сам по себе! — я научу их воевать по-человечески. Я встану лицом к войне, но спина у меня будет прикрыта.

— Одиссей, любимец... — папа не договорил. Выпрямился. — Ты вырос, малыш. Ты совсем большой. И все равно: рядом со мной ты можешь говорить вслух о чем угодно.

— Почему?

— Потому что мужчины нашей семьи — люди *Номоса*. Я ждал рождения внука... у тебя ведь так ничего и не произошло? да?!

— Да, папа...

...детский плач вдали умолк. Сменился тишиной; позже — смехом. Ярким, восторженным. Я купался в этом смехе, оглохнув, ослепнув, не слыша слов отца, не видя тревоги на лице матери; я блаженствовал, как можно блаженствовать лишь, еще не родившись, — и впервые услышанное мной слово «Номос» было тому причиной. Все, что приходилось видеть, слышать, чувствовать и делать, все, что придется видеть, слышать, чувствовать и делать в дальнейшем, — все было там. Нерожденное, оно прекрасно умещалось в единственном слове: берег и море, живые и мертвые, любовь и скука, смерть и бессмертие, от пределов Восхода к пределам Заката...

Даже сейчас мне трудно вспоминать об этом: хочется уйти туда.

— ...они думают: это можно понять рассудком! Они глубокомысленно вещают друг дружке: «Плоской нам мнится земля, меднокованным кажется небо...» — и отве-

чают тремя словами: *Номос*, *Космос* и *Вестник*! А мы не умеем понимать! Мы живем в этом, дышим, рождаемся и умираем в центре Мироздания, где бы мы ни находились — мы, люди *Номоса*...

Отец замолчал. Грудь его ходила ходуном, на щеках выступили пятна. Я впервые видел отца таким. И мама не вмешивалась, не останавливала.

— Хочешь, я объясню тебе значение этих слов? — отдышавшись, спросил он.

— Нет.

— Почему?

— Потому что я не умею понимать. И мне поздно учиться.

— Я ждал, что ты так ответишь, — еле слышно обронил Лаэрт-Садовник. — Ждал. У тебя ведь ничего не произошло?

— Да. Ты уже спрашивал.

— Когда я плавал на «Арго»...

Он даже не поинтересовался, слышал ли я об этом. Мой отец всегда умудрялся знать все, что ему было надо.

— Когда я плавал на «Арго», то уже в Колхиде, пока герои возились с руном и упрямыми колхами — я сушей отправился дальше. Меня уверяли, там растет... впрочем, неважно. Я вернулся вовремя, к отплытию. Вернулся — другим. Сейчас я полагаю, что случайно пересек границу *Номоса*, оказавшись вовне. На краткий миг, но мне хватило. Я вывел корабль по неизвестным путям, я не видел того, что видели остальные; я вернулся домой, но с тех пор Глубокоуважаемые слепнут, когда хотят обратить свой взор в сторону Итаки и некоего Лаэрта. Забывают, теряют нить рассуждений; отвлекаются на что-то иное. Главное: не называть их по имени. Мы часто спорили об этом с Алкимом...

Кусая губы, папа смотрел мимо меня. Я и так знал: дама Алким по прозвищу Дурной Глаз болеет с зимы. Няня сказала: до осени не доживет.

— Мы спорили с Алкимом. Он считает, что человек *Номоса*, выйдя за пределы, становится космополитом. Гражданином *Космоса*. И поэтому...

— На, примерь, — вмешалась мама, подходя ближе. — Вечно вам о глупостях толковать!

Отец послушно накинул плащ, повернулся, внимая маминым приказам. Ожидая, пока она укоротит завязки, осведомился:

— Отплытие намечено из Авлиды?

— Да.

— И на пути в Троаду вы врежетесь во флот Приама. Очень умно. А потом тех, кто сумеет высадиться, будут бить с двух сторон: с суши и с моря. Эх ты, любимец...

— Папа!..

Я задохнулся. Понимать — не для меня, но впервые в жизни я понял.

— Что — папа?! что — папа, я тебя спрашиваю?! Папа едет в деревню! Виноградник лелеять. Плыви спокойно, мальчик мой. Собирай кого хочешь, прикрывай спину. И скажи этим... героям, когда будешь учить их воевать по-человечески: они могут не брать в расчет Приамовы эскадры. Только не обижайся, Фриниха, Филойтия и Эвмея я у тебя заберу. Под Троей они тебе ни к чему, а мне в самый раз... виноград — дело хлопотное, особенно зеленый!..

— Папа...

— И нечего нюни распускать, — строго сказала мама, запахивая плащ на отце. — Не маленький. Ну как, Лаэрт? не задувает? А то в деревне сыро... вечерами...

Я — самый счастливый человек на свете.

СТРОФА-II

ЛЮБИМЕЦ ГЛУБОКОУВАЖАЕМЫХ

— ...скоро уеду, Пенелопа. И папа — тоже. Вы останетесь без нас: женщины, хозяйки... дети. Предоставленные сами себе. Думаешь, вы справитесь?

Тихий вопрос итакийского бацилея Одиссея вплетается в отдаленный шепот ночного прибора. Кажется, с женщиной говорит само море, над которым нависли бесчисленные глаза-звезды великана Аргуса.

Вот-вот покатаются под безжалостным серпом.

— Справимся, рыжий. Конечно, волчицы не чета ушедшим на охоту волкам... Но логово будет ждать; и волчата будут расти. Иногда, хвала Гермюю, Сильному Телом, упрямство способно заменить силу!

Низкий, грудной голос Пенелопы сливается с шорохом ветра в листве, и теперь кажется: море спросило, а ветер ответил.

Ночь.

Море разговаривает с ветром.

Наверное, это очень красиво со стороны. Надо только уметь видеть и уметь слышать.

Надо уметь возвращаться.

— ...Это хорошо. В эру развода небес с землей я предпочел бы иметь за спиной дом, а не западню. Поколение обреченных, рыжая моя! Порченная кровь. Они ведь не просто спешат на войну, горя рвением юнца, которого поманила девка, — навалившись плечом, они пытаются сдвинуть камни старых границ. Любой ценой. Сдвинут, не сдвинут, победители или побежденные... никому не найдется места в новых рубежах. Союзники поневоле, герои на час; разрушенный мост через пропасть. Но если ты уверена в малом: в себе, во мне... в нашем сыне и нашем доме...

— Я уверена, Одиссей.

Ветер еле слышно выводит нежную мелодию, вторя неумолчному шуму прибоя. Кифаред и флейтистка. Им обоим никогда не надоедает вечный дуэт.

— Повтори! повтори еще раз!

— Я уверена, рыжий.

— Я рад это слышать, Пенелопа. Впрочем, мой отец, — скрытая гордость всплывает на поверхность моря и вдребезги, в брызги пены, расшибается о береговые скалы, — он знал, что делает, сразу взяв маленького Телемаха на колени и нарекая внуку имя.

— Это была случайность. И не очень удачная. Свекору следовало бы обождать, пока ребенку не сравняется хотя

бы полгода. Боюсь накликать беду, но дети болеют... люди станут злословить, осуждая такую поспешность.

— Надо плохо знать Лаэрта Аркесиада, чтобы сказать: случайность. Теперь наш Телемах — законный наследник. Что бы ни стряслось...

— Я слушаю тебя, рыжий...

В шорохе ветра явственно пробивается тревога.

— Телемах, сын Одиссея, внук Лээрта — продолжатель рода. Пускай наш сын пачкает пеленки и временами мается животиком; важно, что он наследник по закону! Отныне и навеки. Мой отец всегда знал, что делает.

— И ты боишься...

— Да, я боюсь, Пенелопа. Боюсь, и мне не стыдно в этом признаться! Слишком многим Итака с ее влиянием на море — кость в горле! Сейчас наш флот нужен всем, нас встречают кликами восторга, но позже... Запомни, рыжая: когда тебе будет плохо, одиноко или мучительно холодно на пустом ложе, ты представь, что я сижу вот в этом углу. На корточках. Смотрю на тебя; улыбаюсь. И тихо шепчу: «Я вернусь!»

— Рыжий... не надо!..

— Надо. Тебе не станет легче жить, но станет легче ждать. Пусть герои не спят ночами, грезя о державе Пелопидов от эфиопов до гипербореев! — я не герой. У меня семья. Никто из них не в состоянии сказать: у меня семья. Жены, дети — да! но не семья. Ты можешь себе представить обремененного заботами о семье ванакта Агамемнона? Аяксов, Большого и Малого?! Менелая, чью жену мы якобы едем отбивать? даже у Диомеда — не получилось...

Тишина.

И коротко, ясно:

— У них есть слава, долг или честь, но нет семьи. А у меня — наоборот.

— Ты хочешь сказать...

— Если, не приведи Гадес, я погибну, тебя на следующий день возьмет в осаду армия женихов. Все соседние острова, от Зама до Закинфа! а днем позже — Пелопоннес и Большая Земля. Вдова Одиссея-Многокорабельного... тебе позавидует Елена! Они будут убеждать народы, что

мечтают о твоей красоте! они станут пить, жрать и врать так громко, что им поверят. Допускаю, среди них даже сыщутся один-два восторженных юноши, кто на самом деле полюбит тебя. Как любят символ. Но большинству будет нужен венец итакийской базилики вовсе не из-за твоих чар. А наш сын...

— В лучшем случае его оставят прозябать во дворце. Время от времени бросая подачки, словно шелудивому псу, — в посвисте ветра прорезалась отточенная черная бронза. — В худшем...

— Ты умница. Ты сама все понимаешь. Поэтому я вернусь. Меня любят боги.

— Рыжий... что ты говоришь, рыжий?..

— Любят. Вернее, любят. Я жить не могу без любви Глубокоуважаемых. Ведь это очень просто: если я люблю их, смогут ли они отказать мне в любви? никогда!

— Ты сумасшедший... — шепчет ветер.

— Да. Да... — отзывается прибой. — И еще: прошу тебя, заклинаю, молю всем сердцем... Если однажды наш сын захочет совершить глупость и на все твои разумные доводы ответит: «Я должен, мама. Должен, и все тут!» — не мешай ему. Останься со всей своей мудростью и не мешай. Хорошо?

— Рыжий...

**ФОКИДА — БЕОТИЯ — АФИНЫ — ДОДОНА;
КРИТ — АРКАДИЯ
(Полемодический стесихор¹)**

— Фокеяне! Мужички божественных вод Кефиса и веселых Крисских долов! Браноносцы обильной злаками Анемории, утесного Пифоса, хранители священных Дельф! Доколе! Знаете ли вы, что проклятые хеттийцы признали договором петуха-Париса как вассального им царя Трои?! Теперь дряхлый калека Приам, даже если и захочет отсту-

¹ Устроение, организация хоров в оправдание войны.

пить, вернуть похищенную Елену — ему не позволят! сменят на троне этим лесным варваром!..

— Позор!

— А знаете ли вы, хранители величайшего оракула — как хеттийские союзники троян именуют нашего Аполлона? нашего Блистающего Феба?! нашего Отпирającego Двери, Дельфиния, нашего Стрелка?!

— Как?!

— Апалиунас!!!

— Смерть! смерть косноязычным!..

— Оракул вещает победу!

— Беотийцы! Камни Авлиды, леса Этеона и холмы Феспий вопиют к небесам! Не здесь ли, в Семивратных Фивах, родина величайшего из великих, взошедшего к бессмертным Геракла?! Не вас ли ободряет на бой его тень? его память?! его сила и отвага?!

— Нас!

— Земляки Геракла! В этот суровый для ахейцев час я, Одиссей, стою в вашей заветной роще пред алтарем Посейдона! Внемли мне, Колебатель Земли! услышь, Черногривый! Фитальный-Производитель, могучий Владыка Пучин! Эти мерзкие троянцы! — они до сих пор похваляются, как мощный бог пачкал лилейные руки в растворе их жалких стен! как Зевс наказал своего старшего брата за дерзость, принудив служить ничтожным! как басылей Лаомедонт изгнал бога без платы за труд, грозя отрезать его олимпийские, многослышащие уши!

— Все! как один! горе тебе, Троя!!!

— Знамение! земля дрожит!..

— Воители прекрасных Афин! Дух Тезея, убийцы грозного быкочеловека, предводительствует вами! Нет никого искуснее вашего басылея Менестея в построении колесниц и пеших щитоносцев! Афинские старцы умудренней прочих, афинские девушки милей иных, афинские матери плодовитей всех!

— Слава! слава нам!

— Здесь, в храме великой богини, возлюбленной мной

больше прочих, я взываю: Афина, Защитница Городов! Отврати свой светлый лик от злокозненной Трои! обрати к ним ужасную эгиду свою, всели страх в сердца! Не тебя ли, прекраснейшую Деву, оскорбил кривой на оба глаза Парис, когда не подал тебе яблоко раздора? отверг твои дары?! На руинах града подлецов и клятвопреступников мы осыпем тебя, о Паллада, тысячу яблок — и на каждом вырежем слова нашей признательности!

— Статуя! статуя кивнула! чудо!!!

— Перребои и эниане, мужи додонские! Не ваши ли земли омывает серебристый Титаресий, берущий начало от истока подземного Стикса — чьими водами клянутся боги? Кто поросль священного Зевесова дуба? Чьи голоса сливаются с вешим ропотом листьев?! с пророческой медью в кроне?!

— Наши! Мы лучше всех!

— Отмеченные Громовержцем! Здесь, в додонском храме Владыки Олимпа, я взываю к тому, кто превыше небес, как вы превыше прочих мужей...

— Все! Как один!

— Орлы! Орлы летят! Бьет роковой час!..

— ...именем «пенного братства» велю тебе, Идомедей Критский: восемьдесят «вепрей» на воду! И три десятка двутаранных «козлов» вкупе с «быками», сколько сыщутся — в проливы Трояды! Немедленно! Лаэрт Аркесиад снова вышел в море! — левой руке отца нужен щит...

— Да, старший брат мой! Дом древних Миносов прикроет Итаку в морском бою! Я знаю: на помощь троянскому флоту спешат корабли ванакта Черной Земли — но волны в бурю хохочут голосом Лаэрта-Пирата, а «пенному братству» не впервой дышать резней абордажа!

— Я не забуду тебя, критянин...

— Аркадяне! блаженные! богоравные! Горцы Киллени, стоявшие у колыбели Гермия-Проводника! бойцы Стимфала, орлы мои медноперые, коршуны бронзово-клювые! — вам ли оставаться в стороне?! вам ли довольствоваться объедками чужой славы?!

— Нам — объедки?! Аркадия вовеки!

— Что значит: нет кораблей? Будут! Полсотни! шесть десятков! Эскадра из микенского заказа — вам, гневные мои! Это говорю я, Одиссей, сын Лаэрта!

— Слава Многокорабельному!

— Гермы¹ Зевесова сына, Атлантова внука источают кровавые слезы! Благое знаменье! благое!..

...я носился из края в край, словно на ногах у меня были крылатые сандалии моего прадеда Гермия. Спал урывками, ел что попало, не чувствуя вкуса; отказывал женщинам, тротя возбуждение на многочисленных собраниях: Толпа — та же женщина: ненавидит соперниц, падка на лесть, нетерпима к бессильным умникам. Мычали быки, обильными гекатомбами умирая в притворах храмов. Дым алтарных треножников застил небеса, и туда, в дым, пахнувший кровью и жиром, я кричал, подобно опытному ксенагу: «Все! как один! слава!»

— А-а-а! — отзывалась толпа.

Меня узнавали издалека. Частью в шутку, а больше с уважением звали панахейским ксенагом — вербовщиком воинов. Приезд считался честью: в авлидской роще Посейдона, понимаешь, выступал, в самосском капище Геры ораторствовал — а у нас? чем мы хуже?! вон, и роща есть, и храм, и родник, из которого сам Дионис... проездом... Дешевая блудница, я принадлежал любому желающему. «Все! плечом к плечу! слава!»

— А-а-а! — отдавалась толпа.

Серебро готовилось без остатка излиться под Трою.

Застыв щитом для моей спины.

А за мной по пятам — хвостом! плащом! храпом загнанной лошади! — носился Паламед-эвбеец. Идеал прошлого, он не успевал, он отчаянно запаздывал, взывая к героям, уже распаленным речами хитроумного Одиссея, молясь у алтарей, покрытых золой угасшего жертвоприношения, призывая к войне, удовлетворенной за полчаса до его приезда.

¹ Резные столбы вдоль дорог, посвященные Гермию-Психопомпу.

— А-а-а! — отмахивалась толпа, даже толком не собравшись.

Дважды Паламеда чуть не прибили: решили в запале, что он — сторонник мира. Любое благое знамение приписывали мне; дурное — ему. Арестовали на острове Эгине: в торжественной речи эвбеец помянул участие святого царя Эака в строительстве троянских стен. Наш Эак?! нет, наш Эак?! хватай его, люди! Через неделю, оголодавшего, выпустили на поруки — завернув на денек, я поручился за своего шурина, напомнил тамошним мирмидонцам, что они — первые люди на земле, и уплыл в буре воинственных гимнов.

Спешил к куретам.

* * *

Это был совсем никудышный храм, близ Беотийских Феспий. И стоял-то он на отшибе, в распадке у ручья; и я торопился дальше, не рассчитывая собрать беотийцев по второму разу. Но будучи застигнут сумерками, решил дать отдых лошадям. Пока мои спутники разбивали лагерь, зашел в священное место: просто так, на всякий случай. Если попадется кто-либо из жрецов — закажу молебен...

Портик был пуст, внутри тоже никого не оказалось.

— Э-эй!

Тишина.

Снаружи было еще светло, хотя бледный серпик месяца болтался над деревьями; здесь же царила тьма. Плотная, осязаемая, насквозь пронизанная неясными воспоминаниями, и я поспешил наружу.

— Проклятье!

Шагнув за порог, больно ушиб ногу. Присел, шипя от боли. Так случается: кости целы, ушиб пустяковый, а больно, хоть плачь! Вот он, подлый, притаился в траве: бесформенный, пористый камень. Ждет ротозеев.

Вот он... вот я...

...но, отступив назад, рыжий споткнулся о бесформенный камень — треклятый валун являлся всегда следом за Телемахом, прячась в траве или пене прибоя! — охнул, моргнул...

— Ушибся?

Я сидел на корточках, словно желая превратиться в моего Старика; я боялся повернуться, обмануться, я молчал, глядя на камень, и глаза мои застилали слезы.

— Ну и дурак. Вот сейчас уйду, будешь знать.

Он изменился за последние годы. Мы опять выглядели ровесниками. И он по-прежнему был выше меня на целую голову.

— Не уходи, — попросил я. — Ладно? Я искал тебя...

Далеко Разящий обеими руками взлохматил шевелюру. По-моему, он снова хотел назвать меня дураком, но передумал.

— Искал он меня... значит, плохо искал.

— Хорошо.

— Ну и как? нашел?

Бронза, ставшая детским плачем. Скука, рассыпающаяся песком вечности. Любовь, простертая бескрайним морем.

— Нашел, — я не стыдился слез. — Нашел! Боги, какой же я был дурак! боги!..

Он присел рядом, на камень.

— А я тебе что говорил? Был, есть и будешь. Только боги здесь ни при чем.

— Ты бог, — сказал я. — Ты соврал мне.

— Нет. Я не вру и не промахиваюсь. Я — Сила. Там, где бог говорит: «Я!», Сила молчит: «И я тоже!..» Там, где бог молчит, Сила смеется: «И я тоже!..» Закон Силы: я не есть все, но я есть во всем. Я — Сила, а ты — дурак.

— Сам дурак, — ответил я.

Он наклонился совсем близко. Лицом к лицу. И странность, мучившая меня с детства, проявилась сама собой.

У него были змеиные глаза.

Не всегда. Временами. Когда ему хотелось.

Когда он бывал доволен.

— Ну наконец, — счастливый вздох. — Наконец-то... Эй, иди сюда! хватит прятаться!

Последнее относилось не ко мне.

Сперва явился аромат яблок.

— Радуйся, Афина, дочь Зевса, — сказал кучерявый.

— Радуйся, Эрот, сын Хаоса, — ответила синеглазая.
Я молчал.

Я не был уверен, что не сошел с ума, и вся встреча не происходит исключительно в моем помраченном воображении. Хотя нет, в последнем-то я как раз был уверен.

— Ну ладно, пойду-ка, — Далеко Разящий поднялся на ноги, запрокинул голову, вглядываясь в сиреневое небо. — Не буду вам мешать. Поворкуйте, голубки... наедине...

— «И я тоже»? — спросил я, улыбаясь.

— Наконец-то... — повторил он, скрываясь во тьме храма.

Аромат яблок сгустился.

— Однажды он явился к моему сводному брату, — приподняв пеплос до колен, она опустилась прямо в траву, мокрую от росы. Избегая прикасаться к бесформенному камню. — И попросил дать ему выстрелить из Фебова лука. Братец всегда был вспыльчив, вспыльчив и глуп, как и все красавчики.

— Отказал? — Я никак не мог стереть с губ дурацкую улыбку. Будто щит. Случайно заметил: даже про себя, не размыкая рта, все равно стараюсь не называть их по имени. Даже Далеко Разящего, а уж казалось, привык... да не к тому, к чему надо. «Он», «она», «синеглазая», «кучерявый» — будущие аэды убьют меня за такие штучки.

А, ладно.

— С тех пор у брата одни неприятности с любовью, — вместо ответа сказала она. — Дафна в лавр превратилась, Гиацинта диском убило... Коронида-нимфа сгорела. Любимчик Адмет таким гадом оказался... Откуда ты его знаешь?

— Кого? Твоего брата?

Долгий, внимательный взгляд — будто она увидела меня впервые.

И, после паузы:

— Как я соскучилась, милый! Ты даже представить себе не можешь...

Позже, на изломе ночи, я снова зашел в храм. Она не препятствовала — дремала, утомленная, а может быть, делала вид, что дремлет. Внутри по-прежнему царила тьма,

но теперь мне светили пенные кольца Грота Наяд, и зеленые звезды над утесами, и синий взгляд из смятой травы, и радуга тетивы, и алый бутон вместо наконечника, и память о тайных путях, которые нужны, когда не любишь — иначе просто идешь, не отступаясь. Хвала вам, Феспии Беотийские, мой случайный привал! — внутри я не обнаружил изображений или статуй. Алтаря не обнаружил тоже. Там лежал камень — пористый, бесформенный; родной. Проступал из тьмы, из хаоса, тая в своей бесформенности мириады вещей, людей, слов, боли в ушибленной ступне; *Номос*, один из многих, проступал из *Космоса*, не требуя ничего, кроме силы, влекущей одно к другому. Я не есть все, но я есть во всем. Древняя поговорка пеласгов¹: «Начать с камня» — с истока, с самого начала, с основания... не с этого ли камня, с которого однажды начали мы, о насмешливый друг мой?! Я дал пострелять тебе из моего лука, ты дал мне пострелять из своего — нам обоим хватило на всю вечность, которую мы звали игрой, а теперь зовем жизнью, ибо лук и жизнь — одно. Выйдя из храма, я улыбался, и до рассвета было еще много любви, синих вздохов в траве и зеленых звезд над головой.

* * *

Звон кузнечиков. Птичья разноголосица. Соловей-хорег булькает на нерадивый хор, погрязший в заботах о червях и гнездах: утренний стасим до сих пор не выучен, а облака уже расположились кругом сцены, клубясь в нетерпении.

Рассвет.

Кажется, я начинаю бояться рассветов.

— Семья хотела послать кого-то из ангелов, милый, — нагая, она сидела, полускрытая метелками дикого овса. Склонив голову набок, заплетала русую волну кудрей. Родинка под мышкой то скрывалась, то игриво подмигивала мне.

Никогда не скажешь, что сова, и олива... и крепость.

¹ Пеласги — древнейшие обитатели Греции, по преданиям, жили в Золотом Веке.

— Из ангелов?

— Из вестников. Гермия или Ириду Радужную. Я сама напросилась: хотела повидаться. Понимаешь, если без личности... Папа ругается, да и мы все клялись!..

Дочь отца-тирана сбежала в луга с заезжим петушком. Маленьким таким, рыженьким парисиком. Олива, и крепость, и сова забыли доложиться молнии. Молния будет сердита.

— Понимаешь?

Я не понимал.

И не собирался понимать.

Минутой раньше мы смеялись. Это когда она рассказывала, как пыталась не пустить меня на сватовство в Спарту. Но потерялась, ища Итаку; даже название такое — Итака — вылетело из головы. Пока я не воззвал к ней на палубном помосте. Нашла, нащупала, кинулась спасать: противным ветром, заворачивающим обратно, непогодой... И, как назло, влез мой эфиоп, с мольбой к дяде — милый, ты же знаешь, дядя пристрастен к этим эфиопам, нектаром не пои, дай с черномазыми гульнуть, а Семья еще заранее сговорила: всем женихам-полукровкам попутного ветра и свежей воды! Короче, дядя встал от моря до неба, рявкнул с похмелья — а тут она! торчит на утесе!.. пришлось сделать вид, что работает маяком, направляет и напутствует — если б разнюхали, что пыталась остановить... ты умница, милый, ты все понимаешь!..

Я смеялся.

Не находя в этом ничего смешного.

— Ты умница, милый, — повторила она, укрепляя узел на затылке. Грудь поднялась, вызываясь грозя небу темными, лиловыми сосками. — Я всегда знала: ты умница. На этот раз мне повезло. Ты все правильно понял — тогда, с этим дурацким посольством, я сперва было решила... а ты молодец. И папа говорит, что молодец, и мачеха; и даже дядя, хотя ты сильно подставил его внука. Ну, этого мейлихия¹, с Эвбеи. Ты хорошо поработал на Семью, милый...

¹ Мейлихий — медовый, сладенький (второе значение — слащавый).

Продолжаю растягивать губы полумесяцем, от уха до уха. Привычка. Хотя по-прежнему не вижу ничего смешного. Думаю, подставленный эвбейский внук — тоже. Я хорошо поработал. Тут она права.

— С тебя подарок, милый. За добрую весть.

Рука сама напряглась: в моем будущем, еще не отличном щите образовалась первая ременная петля, и предплечье ощутило тяжесть.

— Помнишь, я говорила тебе про Пелея-Несчастливца?

— Которого захотели осчастливить?

— Да. Так вот...

Я слушал, и меня, вовремя накинутым плащом, стремительно охватывала скука. Слова, едва произнесенные, выстраивались между нами фалангой копеечников, теряя тепло и холод, смех и грусть, пока не оставался смысл, только смысл и ничего, кроме смысла — острого, равнодушного, холодного, словно граненое жало за миг до погружения в чужую печень.

Я слушал.

...Пелей Эакид, по отцу внук Зевса-Надменного и наяды Эгины, по матери — кентавра Хирона Пелионского. Бывший аргонавт, участник знаменитой охоты в Калидоне; до сих пор жив, а говорят — Несчастливец...

...Фетида Глубинная, дочь старца Нерее и океаниды Дориды; по отцу внука Геи-Земли и Понта-Водяного, рожденного без родителей; по матери — старейшего из титанов, седого Океана. Носительница проклятия: ее сын будет сильнее отца. Если мерить людскими мерками, многие за такое проклятие согласны доплатить...

...сын этих двоих — неудачливого героя и невезучей богини. Родившийся около двух лет тому назад, малыш Лигерон, он же Ахилл, то есть Не-Вскормленный-Грудью (странное прозвище!), он же Пирра, то есть Рыжая (еще более странно: почему Рыжая, если мальчик?!)...

...и наконец: один шустрый итакиец, который хорошо поработал на Семью — заметьте! бескорыстно! — тем самым заслужив доверие.

— Да, — наконец сказал я. — Воля Олимпа священна.

Она жмурилась, подставляя лицо встающему солнцу. Она была счастлива. Крепость, сова и олива. Ямочки играли на щеках; распущенные локоны спиралью завивались от висков вниз. Дочь отца-тирана сбежала в луга с заезжим петушком. Чтобы между ласками сообщить приятную новость: папа берет петушка, маленького, миленького парисика, в работники. Теперь мы будем видаться чаще... ты рад, милый?! ты приготовил мне подарок? ах, вот же он!..

Впервые я видел без преград, без дыма жертв и грозных знамений: до чего мы похожи! Одной крови; одной души. На их месте я тоже давно бы развелся, разошелся, сломал мост через пропасть, чтоб не шлялись туда-сюда, а если пропасти на самом деле нет — создал бы ее, сотворил из ничего!.. Чтобы можно было только с обрыва разглядеть противоположный край: фигуры в дымке, неясные, внушающие трепет и ужас. И бездна пропасти, сама по себе зовущая встать на колени, на четвереньки, отползти назад, уткнув взгляд в камешки, терзающие ладони, ноги, сердце...

Кого я имею в виду? ну что вы, ведь ясней ясного!

— Это не воля, милый. Это просьба. Считай, что это моя просьба. Выполни — и покровительство тебе обеспечено!

— Твое? если просьба твоя...

Уже не хозяйка и парисик. Бедный жених с богатой невестой обсуждают приданое; хотя вообще-то такое полагается обсуждать с отцом невесты. Или на деле я обсуждаю — с отцом?

— Не только мое. Мое у тебя уже есть; навсегда. Ты недоволен, милый?

— Что ты! просто, понимаешь... — в отличие от меня, она умела понимать. Божественно умела. Давно пора было воззвать к этому умению. — Просто я боюсь.

— Меня? — легкий, серебристый смех.

Подобный смех струится в моих жилах; скоро от меня потребуют его вернуть. Это не воля, это просьба: верни, пожалуйста... милый. Милые, время отдавать долги! и не-

стерпимо чешется шрам под коленом, залеченный ее трудами.

— Я боюсь того, чего не в силах предугадать. Молнии, землетрясения; твоего копья, стрелы твоего вспыльчивого брата. Гнева твоей мачехи. Это ничего, что я так? открыто?

— Успокойся, милый. Рядом со мной тебе ничего не грозит. Так ты выполнишь просьбу?

— Разумеется! Но мне бы хотелось... понимаешь?..

Мой Старик, раньше сидевший на корточках возле камня, вскочил. Зашагал вперед-назад. Кто из нас тень, Старик? ты понял, да?! в отличие от меня и подобно ей, ты всегда умел понимать.

Но как-то по-другому, по-своему.

Ей так не дано.

— Чего бы тебе хотелось, милый?

— Клятвы.

Все. Слово сказано. Хорошо, что мне по-прежнему *скучно*. Стихает детский плач вдали, сменяясь вопросительной тишиной; бесформенным камнем ожидает любовь в траве.

— Какой клятвы?

— Какую твоя Семья однажды дала Хирону Пелионскому. Нерушимой клятвы черными водами Стикса, что никогда и ни при каких обстоятельствах, тайно и явно, не станет посягать на его жизнь.

Сказанное грудью ударилось в фалангу копейщиков между нами.

И бродил туда-сюда Старик, кусая губы от возбуждения.

— Ты безумен, милый?

— Да.

Взгляд Старика был мне наградой.

Ее лицо отвердело, став ликом статуи. Вокруг нагой фигуры дрогнул призрак: латы, ужас эгиды, легкий шлем с гребнем... копье в руке. Крепость, сова и олива. Словно вопрошая, она запрокинула голову к небу: синева, вспененная облаками.

Я ждал. Скука, и любовь, и целый мир, переставший плакать.

Два облака налились чернотой. Будто в молоко сыпали гость земли. Заклубились, грязные; грозные. Ворчание донеслось издали; но нет, детский плач не откликнулся, выжидая. Тучи, ранее бывшие облаками, двинулись навстречу друг другу, зависли на миг, размышляя; сошлись вместе.

Морщина молнии между ними.

И — гром.

Хрипотца затихающих раскатов.

— Хорошо, милый. Папа сдвинул брови. Если ты выступишь... волю, ты получишь клятву.

Значит, все-таки — воля. Не просьба.

Значит, все-таки — отец невесты.

Значит, я действительно хорошо поработал.

— Но ты тоже должен будешь поклясться, милый...

— В чем?

— В том, что не допустишь ухода ахейцев из-под Трои до... до конца.

— До победного конца?

Она не ответила. Синие льдинки глядели в упор; ждали. И тучи над головой не спешили разойтись в стороны.

— Я дам такую клятву.

Старик вдруг стал хромать. Раскачиваясь и едва ли не подпрыгивая при каждом шаге, будто птичка-вертишейка. «Славно, славно...» — беззвучно дернулся рот знакомой присказкой.

Да, мой Старик. Конечно.

Только можно я не стану сдвигать брови?

— Я дам такую клятву. Сейчас я вернусь на Итаку, а в конце месяца отправлюсь выполнять... волю.

— Ты — умница, милый. Хочешь, я проведу тебя на прямую? тайными коридорами Семьи?

— Нет. Я безумец. Тайные коридоры нужны, когда не любишь; когда любишь, просто идешь. И еще: мне понадобится помощник.

— Хорошо. К концу месяца Диомед будет ждать тебя в Аргосе.

— Диомед? почему именно он?
— Диомед — мой сын, — спокойно ответила сова, и
олива, и крепость.

* * *

На обратном пути нам встретился Ангел. Тощий аэд сидел у обочины, мучая лиру; когда я проезжал мимо, услышал:

— ...мы оба
Любим хитрить. На земле ты меж смертными разумом первый,
Также и сладкою речью; я первая между бессмертных
Мудрым умом и искусством на хитрые вымыслы. Знай же,
Ныне пришла я, дабы все с тобою разумно обдумать...

— Новая песня? — спросил я.
— Старая, — ответил Ангел.
Останавливаться мы не стали.

АНТИСТРОФА-II

КРАСНАЯ КРОВЬ ВАС С ЗЕМЛЕЙ НЕ РАЗЛУЧИТ¹

Итака.
Груда соленого камня на задворках Ионического
моря.
Возвращаюсь, чтобы покинуть; чтобы вернуться.
Неужели так — вечно?

...только-только выбравшись из-за горизонта, Гелиос
слегка щурился, окутываясь легкой дымкой — боялся,
всевидец, ослепить сам себя. Кроме этой, упрямо следо-
вавшей за золотой колесницей, дымки, на бирюзе небо-
свода не было ни пятнышка. Сезон испепеляющей жары

¹ — Брось, Одиссей, эти стоны притворные,
Красная кровь вас с землей не разлучит.
А у меня она страшная, черная,
В сердце скопилась, и давит, и мучит.

*Н. Гумилев.
«Ахилл и Одиссей»*

медлил, ожидая появления Орионова Пса, и плоское блюдо земли, накрытое опрокинутой чашей небес, было не раскаленным, а просто теплым.

Живым.

Радуйтесь, твари земные, пока есть время!

Твари радовались. Стремглав носились над головами стрижи с ласточками, добывая пропитание горластому потомству; щебет стоял — уши закладывало! Басом гудели солидные, толстые, отливающие бронзой жуки, деловито жужжали пчелы, наперебой заходились стрекотом цикады в темной зелени олив и смоковниц — все спешили жить. Вкусить от пиршественного стола бытия, урвать лишнюю кроху, пока еще не открылись пред тобой мрачные врата Эреба и горькие воды Леты не плеснули прямо под ноги, приглашая сделать глоток забвения.

Спешили; жили, дышали... даже те, к кому горечь тайных вод подступила вплотную.

Слуги уложили Алкима на солнышке, возле плетеного навеса — чтобы, если начнет припекать, мигом перенести больного дамата в тень. Одиссей хорошо помнил этот навес: здесь дядя Алким не один год вдалбливал в детские головы тьму всяческих премудростей. Ментору вдолбил: как-никак сын, плоть от плоти. А ему, непоседе-басиленку?

Сейчас проверим.

— Радуйся, дядя Алким! — сказал и поперхнулся. Где уж тут радоваться...

Более всего дамат Алким походил на каким-то чудом ожившую мумию. Говорят, в Черной Земле, в древнем Айгюптосе, царей после смерти не сжигают, а засушивают и хоронят в огромных толосах, ограненных на манер копейного жала. Сам же дядя Алким и рассказывал... Кажется, тело дамата вдруг спохватилось и теперь спешило усохнуть вслед за левой ногой, сухой с детства. Сейчас советник Лаэрта-Садовника выглядел жухлым, увядшим, как ломкий осенний лист, лишенный и малой толики жизненных соков: дунет ветер — подхватит, понесет прочь,

все дальше и дальше, на край земли, за край, откуда нет возврата...

И только глаза на лице мумии лихорадочно горели: два угля Гефестовой кузницы под слоем пепла.

— Радуйся, Одиссей, — в голосе дамата добавилось хрипотцы, но слова он произносил по-прежнему: четко и твердо. — Садись, поговорим. Ты ведь за этим пришел, я вижу.

Одиссей молча кивнул и уселся напротив умирающего. На то место, где обычно сидел во время занятий некий рыжий сорванец. Память ты, моя память!.. накатила — отхлынула.

Не сейчас.

— Позволь, дядя Алким, я расскажу тебе одну историю, — потянулся, тронул сухой, щетинистый подбородок Алкима: тайный знак просьбы и любви. — Вроде тех, что ты когда-то рассказывал нам с Ментором. Если хочешь, спи... каюсь, я тоже иногда задремывал на твоих уроках.

Взглянув в пепельно-серое лицо дамата, Одиссей заппнул, отвел взгляд. Продолжил, невольно подражая памятным речам своей возлюбленной-покровительницы:

— Жил-был в Фессалии герой Пелей-Неудачник...

Пауза. Нет, дядя Алким ничего не спросил. Можно продолжать:

— Не складывалась жизнь у Пелея, и вот однажды решили Глубокоуважаемые сжалиться над ним. Из Неудачника сделать Счастливым. Богатство, долголетие, жена-богиня — чем не счастье?!

— Титанида, — осенним листопадом прошелестел голос дамата.

— Что?

— Ты действительно слишком часто дремал на моих уроках. Не богиня. Жена-титанида, древнего рода. Из тех, кто скрепя сердце пошел на поклон, чтобы не пойти в Тартар. Оборотень, как и все морские.

— Ты говоришь: оборотень?!

— Я ничего не говорю. Я старый и больной; я сплю. Это люди говорят: Фетида Глубинная в руках героя становилась зверем, огнем, водой...

— Твои сны — вещие, дядя Алким. Итак, сыграли свадьбу, а вскоре родился у счастливых родителей сын Лигерон...

— По прозвищу Ахилл, что значит «Не-Вскормленный-Грудью».

Сухие губы умирающего чуть раздвинулись в улыбке — и нижняя губа треснула; на ней проступила капля густой, как смола, темной крови. Но Алким даже не заметил этого. В глазах его теперь горел совсем другой огонь — яркий, веселый, живой. Молодые глаза на лице умирающего старца. Это было... вспомнились тени, кружившие в сладострастном танце вокруг Приама-Троянца: прекрасный, завоораживающий ужас. И Одиссей торопливо продолжил, оборвав повествовательный лад:

— Сейчас юному Лигерону, насколько я понимаю, около двух лет. И его очень любят Глубокоуважаемые. Настолько любят, что жаждут видеть младенца на самом почетном месте — под стенами Трои.

— Храни нас боги от своей любви! — еле слышно прошептал Алким, слизнув кровь обложенным языком. — Говори, говори дальше!.. я сплю...

— Спи. И пусть тебе снятся Лигероновы папа с мамой. Глупые, они почему-то не хотят ребенку такого великого счастья!.. скрывают, прячут.

— Жаль, мне не снится, где именно прячут этого замечательного малыша...

— Сейчас приснится. Его держат на Скиросе, среди дочерей и внуков тамошнего басилея. Переодетого девочкой. Но я избран помочь Лигерону обрести его удел, его невиданное, неслыханное счастье. Меня об этом очень убедительно попросили.

— И ты хочешь знать...

— Знать? нет. Я сумасброд; я не умею знать. Мой рок: видеть, чувствовать и делать. Что делать, мне успели объяснить. Что я чувствую, никого не касается. Теперь я хочу видеть: ясно и отчетливо.

— Ты вырос, мальчик. Стал совсем взрослым. Видеть, чувствовать и делать — по-человечески. Славно, славно...

Алким умолк, вслушиваясь в далекий шум прибоя и

стрекот цикад. Легкая тень от дымки, преследовавшей солнце по пятам, набежала на его лицо, сделав впадины и морщины резче; хотя казалось, что резче некуда.

— Какой чудесный сон: юный Лигерон, сын полубога Пелея и титаниды Фетиды! Дитя, в чьих жилах едва ли не на семь восьмых течет серебристый ихор Глубокоуважаемых, и лишь чуть-чуть — алая кровь смертных. Редкость в наше время; опасная драгоценность. Что нам снилось об этой драгоценности раньше?

— Слухи. Сплетни.

— Люблю грезить сплетнями. Итак...

...Сухой песок скуки заваливает меня с головой. Кто-то невидимый быстро и уверенно выводит на песке острым стилосом, чтобы стереть, едва я успею прочесть:

«Одни говорят, что Фетида Глубинная купала сына в черных водах Стикса, дабы сделать его тело неуязвимым для людей и богов. Другие вместо Стикса поминают Лету; третьи утверждают, будто мать с вечера клала новорожденного, умащенного нектаром, в огонь, желая выжечь смертную долю, а утром натирала амброзией¹. Если поверить хотя бы в одно из этих утверждений или на мгновение допустить, что верны все три...»

Сухой песок пышет жаром. Жаром огня, в котором древняя титанида закаляла плоть своего сына — но я терплю. Вытерпел же Лигерон, прозванный Ахиллом... А невидимая рука тем временем разравнивает горячую поверхность песка, чертя новые письмена:

«После освобождения Прометей-Ясновидец открыл олимпийцам великую тайну: жена-возмездие, Фетида родит Зевсу сына, который будет сильнее отца вкупе с другими богами, дабы со временем низвергнуть их. И тогда Громовержец, стремясь избежать рока, повелел отдать Фетиду в жены смертному; и родила она от героя Пелея...»

¹ Амброзия («бессмертная пища») — дарует вечную жизнь, возрождение плоти; нектар (от греч. корня «нек», т. е. «смерть») предохраняет от старения и разложения. Аналог живой и мертвой воды; богам доступны оба компонента. Применяемые по отдельности, создают вечных старцев или юных, нетленных покойников.

— ...дита из пророчества? На месте Глубокоуважаемых, и в особенности на месте их владыки (умирающему простительна ересь!), я бы все же опасался этого мальчика. Не ища встречи и посылая по его душу кого-нибудь другого... например, тебя.

Если мумия способна выглядеть счастливой, то дядя Алким был счастлив.

— Значит, они хотят просто избавиться от угрозы? Принести в жертву? Но почему именно под Троей?!

— Ты слишком многого от меня требуешь, Одиссей. Я не пророк и не ясновидец; я старый, больной человек. Я сплю и вижу дивный сон. О маленьком Лигероне — стань он сыном божества, быть ему сокрушителем Олимпа, губителем родичей. Но Не-Вскормленный-Грудью — сын полубога-героя. Кого станет сокрушать он, дай ему волю?!

— Ему два года, дядя Алким! Даже меньше двух! А война вот-вот...

Алким отвернулся, сощурился на солнце, глубже спрятавшееся в сизую пелену. Глаза его медленно гасли, но там, в глубине, продолжали мерцать отсветы огня. Быть может, того огня, что на глазах иссушал, сжигал дамата изнутри... и нет под рукой амброзии: омыть умирающего на рассвете. Дрогнул, раскрылся провал рта:

— Тебе не доводилось видеть, как моряки растят «крысиного волка»?

«Доводилось», — угрюмо кивнул рыжий. Не единожды. В бочку запирали дюжину крыс-самцов; спустя некоторое время извлекали единственного: выжившего крысоеда. Его держали в клетке, кормя только живыми сородичами, и наконец подпускали в трюм корабля. Вскоре «крысиный волк» принимался за дело...

— Спасибо тебе, мой Алким, — Одиссей не заметил, что назвал дамата так, как всегда звал своего советника Лаэрт. — Нам с тобой приснилось больше, чем я надеялся. Я исполню волю Глубокоуважаемых. Я вытащу Лигерона из норы... но я буду очень внимателен к этому ребенку. Очень.

— Я сплю, мой базилей. Я не слышу тебя. И мне снит-

ся город Эфир, снится один хороший человек, большой знаток в составлении ядов. Если ты собрался воевать, как воюют люди...

— Да, мой Алким. Как люди. Спасибо еще раз.

— Ну что ж, прощай, мой базилей. Я знаю, тебе надо спешить. Мне — тоже. Скоро я не проснусь вовсе. Внутри бедного Алкима поселился злобный, усатый рак, и клешня его вот-вот перекусит нить моей жизни. Но теперь мне не обидно умирать. Знаешь, я всю жизнь мечтал поучаствовать хотя бы в одной войне... Лицом к лицу!

Немой вопрос отразился на лице Одиссея, уже поднявшегося, чтобы идти.

— Я все-таки принял участие в войне. В Троянской войне. Прямо сейчас. Ведь для этого совсем не обязательно надевать шлем и размахивать копьем, выкрикивая всякие глупости...

Я никогда не забуду твой урок, мой Алким.
Последний урок.

* * *

Прежде чем отплыть на встречу с Диомедом, Одиссей сделал малый крюк. Причалив в эфирской гавани, сказал Илу Мермериду, больше известному среди «пенного братства» как Ил-Гадюка:

— Мне нужен яд.

— Для друзей? для врагов? для тайны? — ласково осведомился Гадюка: горбун с длинными, паучьими руками и лицом редкой красоты.

— Для стрел. Что-нибудь вроде Лернейской отравы.

На лице Гадюки появилась мечтательная улыбка:

— О, у моего господина хороший вкус!.. Медок Лерны! молочко Ехидны! Горгонская слизь! это, знаете ли... — губы эфирца стянулись шрамом. — Но для этого господину нужно всего лишь убить гидру.

— Мне некогда выслушивать твой бред. Да или нет?

— Увы, — паучьи руки разошлись в стороны. — У меня нет яда для стрел. А зелья, подобного Лернейскому, вооб-

ще нет на земле. Но у меня есть совет. Мой господин знаком с Анхиалом-тафийцем? это рядом, в Акарнании...

— Нет.

— Тогда попрошу моего господина обождать. Я напишу табличку...

Когда Одиссей уходил, он вдруг увидел: Гадюка вовсе не горбат. Просто так держит спину; иногда. Самого Одиссея тоже многие считали хромым. А Анхиал-тафиец из Акарнании оказался милейшим собеседником и гостеприимным хозяином, ради гостя готовым на все. Особенно ради гостя, способного оказать многие услуги веселюбивым тафийцам.

Хороший человек, как сказали бы Лаэрт-Садовник и его дамат.

...Больше всего я боялся, что лук Аполлона воспротивится отравленным стрелам — нет, принял как родных.

* * *

Скирос — малый остров в Лиловом, иначе Эгейском море; три сотни стадий от восточной оконечности Эвбеи, на исходе первой четверти пути от Большой Земли к Троаде; кроме тайного убийства героя Тезея нынешним басилеем, списанного на несчастный случай за недостатком доказательств, не прославлен ничем; по обе стороны юго-западного мыса — два островка, отягощающих наблюдение за морем с суши; ложные сигнальные огни устроены халкидским эосфором¹, который после допроса с пристрастием сообщил...

Дядя Алким, твой ученик хорошо подготовился к ответу?

— Мне тебя что, папашей теперь называть? — хмуро осведомился Диомед вместо приветствия.

Я не ответил.

Мы вообще дня два почти не говорили друг с другом.

¹ Эосфор — Несущий Свет, божество вечерней звезды; тайное прозвище сигнальщиков, устраивавших ложные береговые маяки, способные посадить корабль на мель или рифы.

Не до того было; а больше делали вид, что не до того. «Пенелопу» я оставил в Аргонидской гавани — мою красавицу не узнал бы издали лишь слепой, да и ему бы рассказали, а я вовсе не хотел оповещать море, кто собрался на Скирос. Отплыли на Диомедовой пентеконтере, — старая подружка, по троянскому образцу, за которую мне, кстати, с ванакта причитается! — сплошь набитой его гетайрами-головорезами. В придачу хотел взять купеческую эйкосу, но в последний момент передумал. Двадцать весел — это много для скромного торговца безделушками.

Взяли кимбу — малую ладью с бортами, обтянутыми кожей. Вон она, родная, болтается на канате за кормой. Погода благоприятная (попробовала б капризничать!..), не утонет.

Диомед сидел возле судового алтаря; мрачней тучи. Тайная дума грызла аргосского ванакта; точила изнутри. Он сильно изменился за те месяцы, что мы не виделись. Иногда мне казалось, будто Диомед старше меня на десять, двадцать лет! — иногда, что я старше его на целую вечность. Временами он поднимал взгляд к небу, и синие глаза упирались в синь купола над головой с дерзким вызовом: словно он собирался прямо с помоста ринуться ввысь.

— Мирмидонцы отказываются идти на войну без него, — вдруг бросил он, по-прежнему глядя вверх. — Трахины, Фтия, Алоп... наотрез.

— Без кого? — спросил я.

Я знал: без кого.

— Он очень нужен им, — послушать Диомеда, так выходил разговор двух безумцев. — Настолько нужен, что они готовы на все.

— Кто — они? — спросил я.

Я знал: кто.

— Если я решусь убить его, не мешай мне, — Диомед перевел взгляд с неба на меня; уперся, надавил. — Прошу тебя, заклинаю: не мешай.

Всю оставшуюся дорогу к Скиросу он молчал. Молчал и я. Думал: смогу ли я прикончить Диомеда? — если аргосец посягнет на жизнь ребенка, за которого мне заплатят

священной клятвой, ремennыми петлями моего будущего щита, залогом возвращения...

Ответы — убийцы вопросов.

...вот бывает так: один-единственный взгляд меж двоими ударит молнией, и сразу ясно — навсегда. Или друг друга в бою от смерти прикроют, или друг друга в кровной сваре зарежут.

Или—или.

Без недомолвок.

* * *

На подходах к острову кимба была видна издалека. Особенно — из дворца, каменной диадемой увенчавшего скалу над мысом. При желании и достаточной зоркости можно было разглядеть не только то, что в ладье — шесть человек да еще лохматый пес, мирно дремлющий на тюках с товарами, но и то, что двое из шестерых — купцы-хозяева, а остальные — рабы, судя по коротким стрижкам. Косолапо переваливаясь на зыби, кимба двигалась к берегу, прямоком в бухточку с галечным пляжем. Сюда спускались высеченные в камне крутые ступени. Наверное, имелась возможность добраться ко дворцу и другим, более легким путем, но с этой стороны острова легких путей видно не было.

Наконец днище скрежетнуло по камням, ладья ткнулась носом в берег, и рабы поспешили втащить ее на пляж. Молодой плечистый купец-щеголь — хитон цвета луковой шелухи как нельзя лучше подходил к его рыжей шевелюре — задрал голову вверх. Минуту-другую, приставив ладонь козырьком, изучал нависшую над ним твердыню; наконец с сомнением поджал губы. Дескать, могут и взащей погнать. После чего, не тратя времени даром, принялся командовать. Рабы засуетились, второй из купцов щелкнул коротким бичом, и вот: на берегу развернулся настоящий рынок. Чистые полотна на песке, поверх разложены, манят взгляд женские украшения, гребни — медные, серебряные, черепаховые, из душистой магнолии; шкатулки, инкрустированные перламутром, флаконы из горного

хрустала с притираниями и благовониями... отрезки тканей, полированные зеркала из бронзы... «веселые» светильнички, изображающие Приапа с тележкой, и еще множество всякой всячины.

Расчет оказался верен: покупатели не заставили себя ждать.

Вернее, покупательницы.

Многочисленные жены и дочери басылея Ликомеда, многие — с детьми и внуками на руках, потянулись на пляж. Еще бы! Когда скучища изо дня в день! — а заморские гости не балуют скиросцев приездами, да еще с товарами, перед которыми разве что богиня устоит. Двое дородных стражей, с неохотой спустившись вдогон женщинам, скучно оглядели торговцев. Не усмотрев ничего подозрительного, сели возле ступеней, прислонив к скале копья. Велено приглядывать — приглядываем, только блажь все это, кому оно надо?

Не Европы, не украдут...

Рядом мигом образовался один из купцов. Заговорщицки подмигнул: может, женам что нужно? невестам? подружкам?! Серьги там, ожерелье? Уступлю за полцены! Разглядеть хорошо бы? А как же! Разглядеть, лизнуть, пощупать... кстати, собак у вас держат? Породу улучшить не желаете — видали, какой кобель в ладье дрыхнет?! Не пес — дракон, сожрет, не поперхнется! И всего за безделицу... что? Подумать надо? Сразу видно серьезных людей! А для лучшего соображения отведайте глоток фасосского — я и сам горазд, да не пить же в одиночку: Дионис оскорбится, с ума сведет!

Стражи охотно согласились Диониса не оскорблять.

Тем временем рыжий успевал нахваливать товар, отшучиваться да сыпать прибаутками. Цен не заламывал, но и своего не упускал: сразу видать купеческую хватку! Женщины обступили выложенные сокровища, галдя чище стаи ворон зимой. Горластые тетki с пышными телесами, юные девицы, румяней зари, рабыни, исподтишка подмигивающие торговцам: есть, мол, чем расплатиться! пошли за камешек?! Под ногами шныряла детвора, норовя стянуть пустячок, и цепкий взгляд купца нет-нет да и задер-

живался то на одном, то на другом ребенке. Хотя, казалось бы, до сосунков ли торговому гостю, если он не из подлого племени андраподистов¹?

Припоздавшая девушка — тоже с сопливым дитятей на руках, сестрой или племянницей — все пыталась протиснуться к манящему изобилию. Но увлеченные торгом подруги сомкнули строй не хуже спартанских щитоносцев, и разорвать их ряды мог разве что Арей-Губитель, вздумай бог войны прицениться к черепаховому гребешку. Рыжий купец обернулся, встретился взглядом с девушкой — куда более рыжей, чем он сам, с червонным отливом...

Разом нахлынуло: толпа на площади в Спарте. И хрупкая, по-мальчишески угловатая девушка-подросток, пылая растрепавшимся огнем кудрей, норовит заглянуть за спины сопящих мужчин.

— Помочь, лисичка? Мы, рыжие, друг дружке лучшая подмога!

— Ага, — ничуть не смутилась «лисичка». — Подержи-ка...

И девочка, мирно посапывающая, несмотря на всеобщий галдеж, сама собой оказалась в моих руках, так что я даже слегка растерялся. А рыжая с внезапным проворством упала на четвереньки, скользнула между ног товарок — и, сияя, принялась любоваться эпирскими бусами. Нет, конечно, сходство с Пенелопой оказалось весьма поверхностным: чистое, без веснушек лицо, миндаль глаз темный, зрачок почти незаметен; нос тонкий, правильный, словно выточен из слоновой кости...

Опять на девиц заглядываешься, кобель итакийский? Может быть, вот этот карапуз у тебя на руках — и есть Лигерон? Вряд ли, конечно... надо тайком проверить: девочка или только переодели девочкой? Глубокоуважаемые настаивали, чтобы юный Пелид отправился под Трою по доброй воле — только кто его будет спрашивать, соплив-

¹ Андраподисты — «делатели рабов»; покровителем считали Зевса, в свое время укравшего приглянувшегося богу мальчика Ганимеда.

ца? Сунем на корабле цацку блестящую, пообещаем дать из лука пострелять — и всех дел, раз уж так приспичило, чтоб доброй волей... Было жаль портить женщинам случайный праздник. Но уговор дороже клейменных слитков серебра. Я люблю всех вас, красавицы, и тебя, рыженькая, и тебя, чудо на моих руках — только праздники все равно, рано или поздно, кончаются. Ничего с вами не сделается, потом всех отпустим. Нам нужен Не-Вскормленный-Грудью, сын Пелея и Фетиды. А если его не окажется здесь, на пляже... что ж, тогда скиросскому бацилею придется обменять Лигерона на своих жен и дочерей.

Куда он денется, обменяет.

Внутри струйками песка текла знакомая скука. Вроде бы все здесь. Больше никто не спешит из дворца на берег по крутым ступеням. И мои люди усердно подливают сонным стражам, готовясь перегородить лестницу. Самое время...

* * *

Видимо, Диомед тоже решил: пора.

Потому что из-за ближнего островка, бородавкой торчавшего неподалеку от мыса, вырвалась боевая пентеконтера и со всех весел ринулась к берегу. А с противоположной стороны мыса, из-за нагромождения скал, бегом явились аргосские гетайры — под покровом ночной мглы и благодаря указаниям болтливому зосфору, высадка воинов прошла наилучшим образом. Запоздало ударил тревогу гонг во дворце; разомлев от вина, стражи не успели опомниться — опытные свинопасы мигом скрутили бездельникам руки, ткнули мордой в песок. Двое подхватили копья и перекрыли ступени — единственный путь к бегству.

— Пираты! — взвился знаменем женский визг над побережьем.

— Стража, на помощь!

— Насилуют! — возопила одна из пышнотелых красоток.

«Ага, помечтай!» — усмехнулся про себя Одиссей.

Он обернулся к рыженькой, чтобы вернуть ей ребен-

ка — не самому же на корабль тащить! — и застыл, пораженный увиденным.

У девушки менялось лицо. Словно незримый скульптор подкрался к храмовой статуе и принялся на ходу перекладывать уже законченное творение. Черты стали жестче, кожа тугим пергаментом обтянула скулы. Брови сошлись у переносицы грозовыми тучами, профиль сделался хищным, орлиным. Карие глаза зажглись факелами в ночи... да что лицо! — сама девичья фигура менялась под неумолимым резцом: шире — плечи, жилистей — ноги, отчетливей — вены на запястьях. Пронзительный визг рухнул птицей, сбитой влет; ниже, еще ниже, словно опытный флейтист пробежал пальцами по отверстиям; заставив инструмент хрипеть. И когда малыш Лигерон Пелид, он же Ахилл, Не-Вскормленный-Грудью, он же Пирра-Рыжая, он же несостоявшийся крушитель Олимпа, с гортанным рычанием бросился навстречу Диомедовым гетайрам...

«Это безумие! — вопил внутренний даймон Одиссея. — Ему ведь меньше двух лет!..» «Безумие! — скалился в ответ *Номос*, содрагаясь до основания. — Двое мальчишек, год за годом, играют в песке, и один из них... Встречай брата-безумца, рыжий!»

Сын Лаэрта все-таки изловчился, нашел едва заметную паузу между свистящими стрелами мгновений — сунул дитя прямо в руки онемевшей от ужаса тетке.

— Он! это он!..

Лигерон обогнал Одиссеев крик. Как молния обгоняет раскат грома. Миг — и он уже среди воинов; еще миг — в руках у подростка (...младенца?! бойца?!) сверкнул меч, а один из гетайров беззвучно рухнул в песок. Высверк бронзы, алый фонтан хлещет из разрубленной шеи...

— Это он!

Лучшие из лучших, гетайры личной охраны ванакта Аргоса, валились колосьями под серпом. Червонный отлив кудрей, веселая ярость взгляда, женский гиматий лопнул на бедре; он был подобен богу, и убивал как бог — легко.

— Остановите его! Оста...

Грохот вдоль лестницы. С неба на землю. Свинопасы,

выронив копья, летят кубарем; абсолютно голый скиро-сец, закрывшись щитом, спешит на подмогу Не-Вскормленному-Грудью. Вот он ближе, ближе... хрустит под стопой гребешок из магнолии, брызжут бусы... огибает безобидного торговца...

Любовь. Скука. Детский плач.

Одиссей в броске снес голого с ног; швырнул поверх щит, навалился. Нет, не удержать. Перехватил горло, другой рукой вцепился в волосы, выворачивая лицом к небу.

Сдавленный храп:

— Одиссей, ты?!

— Патрокл?!

Захват разжался сам собой.

— Останови Лигерона! Ему нельзя... он их всех! всех!..

Останови!.. попробуй, останови малолетний смерч, играючи крушащий все вокруг! В растерянности Одиссей бросил взгляд в самую гущу бойни — и увидел. Гетайры пятились, расступались; огненнокудрое дитя блаженно зашлось хохотом и смолкло, упершись в синий взгляд. Он возник из пыли и стонов: ванакт Аргоса, Диомед, сын Тидея-Нечестивца. Сын боевого безумия — и совы, оливы, и крепости. В броне, в сверкающем на солнце шлеме, наглухо перекрытый ростовым щитом; с копьем на изготовку.

— ...если я решусь убить его, не мешай мне. Прошу тебя, заклинаю: не мешай!..

Гарпии раздери эту клятву!

Я не хочу убивать своего друга! Я не могу смотреть, как гибнут его люди! Я... я действительно: не хочу?! не могу?!

Лук сам упал в руку с далекой Итаки. Даже тянуться не пришлось. Колчан с отравленными стрелами был припрятан под ближайшим полотнищем: на всякий случай. Вот он, случай; всякий! Томной любовницей на ложе стрела легла на тетиву. Правая рука, казалось, сама поползла сперва к груди, и потом, дальше, выше — к уху.

Прости меня... кто? Кто — прости?! Диомед?! Двухлетний убийца Лигерон Пелид?!

«Убей Диомеда!» — вопил рассудок. Потому что ребен-

нок Пелея и Фетиды — залог клятвы олимпийцев, залог жизни, залог...

«Убей Диомеда! Он злой! Он палач маленьких, таких, как я! Он и меня убьет!» — оглушительно вторил детский плач, прорываясь сквозь песок скуки и взбаламученное море любви.

Впервые рассудок с безумием были заодно!

Вот только напоенное ядом жало упрямо отворачивалось от аргосского ванакта, стремясь уткнуться в спину мальчишке, переодетому девушкой.

Разум — за! Безумие — за!

Кто — против?!

Неужели...

Лук Аполлона! Забывший или не захотевший вспомнить тайную истину: «Лук и жизнь — одно». А я, я сам это помню? Прямо сейчас?

...Вещи несут на себе отпечаток своих хозяев. Но — лишь отпечаток. Бог на моем месте тоже стрелял бы в Диомеда. А лук хотел иначе!

Мгновение длилось, длилось, длилось — два отчаянных удара сердца. Рука с тетивой ползла к уху, напрягая лук, изгибая его в сладострастном ожидании: сейчас пущенная им... мной!.. пущенная нами стрела вонзится в незащищенное горло Лигерона... нет, Диомеда!.. нет...

Два удара сердца — очень долгий срок.

Диомед сделал последний шаг, и рука его, сжимавшая копье, ударила с уверенностью, дарованной опытом.

Нет! не надо!

Лигерон вдруг отвлекся, глянул в мою сторону. Мазнул наискось слепым взглядом. Лук в ответ дернулся так, что мне едва удалось удержать его; и тяжелое копье Диомеда на локоть вошло в бок мальчишки. Не-Вскормленного-Грудью швырнуло наземь. Копье выдернулось из раны, в горячке занеслось для нового удара...

Диомед едва успел отскочить — меч вскользь прошелся по голени, скрежетнув медью поножей. А мальчишка уже снова был на ногах, и ванакт, прикрываемый двумя

гетайрами, пытался, барахтаясь в вихре ударов. Женский гиматий окончательно разорвался, и было хорошо видно, что на теле Лигерона нет ни царапины!

Огонь, Стикс, Лета...

Одиссей опустил лук, страдальчески скрипнувший тетивой.

* * *

В следующий миг нагой человек со щитом — без меча, без копья — обрушился на мальчишку со спины.

У Патрокла почти получилось.

Почти.

Ударил щитом в плечо, сбил в песок, но упасть сверху, чтобы придавить, мешая встать — не смог...

Море любви слилось воедино с сухим песком скуки, детский плач взорвался изнутри набатным гонгом — и, швырнув лук обратно на Итаку, я ринулся в тишину.

В зрачок урагана.

Повалить, удержать, не дать...

Но первым успел не рыжий безумец.

Первым был ком шерсти с оскаленной пастью. Веревка ненадолго смогла удержать Аргуса, рвущегося в бой. Там, среди криков, лязга и хрипа, был его хозяин. Живой бог нуждался в защите. Остальное не имело значения.

Успел.

И промахнулся, чего раньше с Аргусом никогда не случалось.

Покатился пес кувырком по гальке, обернулся ему вслед Не-Вскормленный-Грудью; в руке — обломок чужого копья. Сверкает безжалостная бронза, жаждет собачьей крови...

— Собачка!

Остановилось. Замерло. Стихло все.

— Ой, какая лохматая...

Звякнула бронза о гальку. Упала. Да еще кто-то из гетайров, не успев остановить удар, наотмашь полоснул

мальчишку мечом по спине. Одиссей хорошо видел: лезвие взрезало податливую плоть, словно тугую кожицу граната — и рана закрылась за клинком, как если бы гетайр рубил не тело, а воду.

Эта вода смыкалась с еле заметным опозданием.

...оборотень, как и все морские...

— Ты чего? — обернулся через плечо мальчишка. — Я уже не играю... — Обида, мелькнув в голосе, сразу исчезла, едва Лигерон вновь повернулся к ошалелому псу. — Собачка!.. хорошая... ты не кусаешься?

Одиссей сам не заметил, как оказался рядом.

— Не кусается. Аргус добрый. Дай ему ладошку — пусть обнюхает.

— Зачем?

— Он так знакомится.

А пальцы тем временем клещами вцепились в загривок пса: только цапни мне! попробуй только!

— Большой какой... страшно!..

— Не бойся...

И охнул от изумления: Аргус потянулся вперед, обнюхал протянутую ладонь, всю в чужой крови, и вдруг — лизнул!

— Ты ему понравился, Лигерон.

Незримый скульптор подкрался из-за плеча: удивленно округлились глаза, снова детские, девичьи, припухшие... задрался нос, раньше прямой, на губах проступила робкая улыбка... тело, лишенное одежды, становилось заметно более щуплым, угловатым...

Вопросы посыпались градом:

— А откуда ты знаешь, как меня зовут? А как тебя зовут? А мне его погладить можно? А...

— Твое имя мне назвал Патрокл. А меня зовут Одиссей. Можешь его погла...

Лигерон не дослушал: руками, лицом, всем телом зарылся в густую шерсть Аргуса — пес, как ни странно, терпел.

— Лохматик!.. здорово!.. Так ты — дядя Одиссей?! Самый хитрый?! Мне про тебя тоже Патрокл рассказывал...

Хвала богам — он ни на чем долго не задерживался!

— Да, я очень хитрый дядя Одиссей. А это очень грозный дядя Диомед. — Очень грозный дядя, опершись на копье, ошарашенно глядел, как мальчишка играет с собакой.

— Правда?! Радуйся, дядя Диомед! А здорово у нас вышло! отличная игра! Давайте еще поиграем?..

Диомеда передернуло.

Боги! игра... Всего лишь игра. Эй, Глубокоуважаемые! — вы хотели, чтобы Лигерон пошел под Трою доброй волей?

— Конечно, малыш! Только давай — позже. Поехали с нами, мы отвезем тебя на большую-большую игру. И играть будем много дней.

— Ух ты! — Когда глаза Не-Вскормленного-Грудью полыхнули в ответ, Диомед невольно подался назад, крепче ухватив копье. К счастью, сын Пелея этого не заметил. — Честное слово?!

— Честное.

— А можно... можно, я теперь за тебя буду, дядя Одиссей? Ты же сам сказал: рыжие друг дружке — подмога!

— Можно. И дядя Диомед за нас будет.

— Здорово! А когда поедет? Прямо сейчас?

— Ну, не прямо... После обеда.

Лигерон радостно завопил и прошелся по пляжу колесом, умело огибая окровавленные трупы. Вновь вскочив на ноги, оказался лицом к лицу с Патроклом. Дядька-пестун, или кем он тут был, наготу прикрыть не удосужился, а ставший ненужным щит и вовсе подбирать не стал. Все мужское достоинство Патрокла было выставлено на всеобщее обозрение. Я заметил: гетайры одобряют. Завистливо цокают языками. Навалился озноб; по хребту забегали мурашки. Скульптор-невидимка, что ты творишь? останови, отдерни резец! Мальчишка (...мальчишка?!) снова начал меняться: мягкая плавность форм, остаточная угловатость подростка, но черты лица пронизывает чувственность, влажно блеснули карие глаза, грудь заострилась сосками...

— Патрокл... — Рука Лигерона ласково опустилась на бедро опекуна. — Я уезжаю на игру... Мы поплывем вместе?

В голосе Не-Вскормленного-Грудью прорезалась тревога.

Напомнив мне вопросы моей жены.

— Конечно, — поспешил успокоить его Патрокл.

А виски-то у тебя совсем-совсем седые, молодой изгнанник...

— Иди, собирай вещи. И попрощайся с Деидамией. Я скоро приду.

— Хорошо... — Ладонь скользнула по бедру Патрокла и тут же, будто устыдившись чужих взглядов, отдернулась. — Ты долго не задерживайся, ладно. Я тебя буду ждать...

Лигерон побежал к лестнице. Совсем иначе, чем двигался в бою: прижав локти, покачивая бедрами. Дразнил, звал...

— Ему действительно два года, — Патрокл смотрел в землю, словно пытаясь отыскать оброненную безделицу. — И одна из базилейских дочерей беременна от него. А я... я люблю его, Одиссей. Люблю этого ребенка. Наверное, тебе меня не понять.

Наверное, кивнул я, сам не зная: наверное, да — или наверное, нет.

Рядом молча повернулся Диомед; зашагал к кораблю — так и не проронив ни слова.

* * *

...стоял посреди кровавого пляжа. Надо мной с криками кружили чайки.

Сердце мое разрывается от любви и жалости к тебе, Лигерон, сын Пелея. Ты несчастней меня; ты безумней меня, одинокий рыжий убийца, чья кровь на семь восьмых соткана из серебра; оборотень, Не-Вскормленный-Грудью, умеющий превращаться из девушки в воина, из воина — в мальчишку, словно вода, принимающая форму сосуда, в который налита...

— Тебе не доводилось видеть, как моряки растят «крысиного волка»?

Крыса, загнанная в угол, — вот кто я. Обремененная норой и крысятами, страхом и бессмысленным оскалом. Никогда не загоняйте крысу в угол. Не надо. Иначе Лернейская Гидра может показаться вам милой шуткой на день рождения...

Мы едем играть.
Вместе.

ЭПОД

ИТАКА

Западный склон горы Этос; дворцовая терраса (Кифаредический ном)

Доселе грезят берега мои:
Смоленные ахейские ладьи,
И мертвых кличет голос Одиссея,
И киммерийская глухая мгла
На всех путях и долах залёгла,
Провалами беспамятства чернея.

М. Волошин

Встаю навстречу рассвету.

Отсюда, с этой террасы, восток не виден. Заслонен стенами дома. Словно родина пытается закрыть мне глаза теплыми ладонями, заслонить от ужаса грядущего: не смотри! не надо! Надо. Видеть, чувствовать и делать. Ни к чему быть провидцем или гадать по щебету ласточек — началось. Там, за домом молодого басилея Итаки, за пространствами Пелопсова Острова и Большой Земли, за морем, названным в память афинского басилея-самоубийцы, за Троадой, терпеливо ждущей в тишине, за краем плоской земли, обогнув ее за ночь, встал из седой мглы Океана золотой челнок солнца.

Скоро солнце двинется навстречу мне, с востока на запад.

Скоро я двинусь навстречу солнцу.

Я.

Одиссей, сын Лаэрта-Садовника и Антиклеи, лучшей из матерей. Одиссей, внук Автолика Гермесиды, по сей день щедро осыпанного хвалой и хулой, — и Аркесия-островитянина, забытого едва ли не сразу после его смерти. Одиссей, владыка Итаки, груды соленого камня на самых задворках Ионического моря. Муж заплаканной женщины, что спит сейчас в тишине за спиной; отец младенца, ворочающегося в колыбели. Любовник той, чье имя лучше не произносить всуе. Герой Одиссей. Хитрец Одиссей. Я! я...

Человек *Номоса*.

Одно-единственное «я», собравшее наконец себя из осколков.

Ждите меня. Деревья за перилами — каждым листом, каждой каплей росы на этом листе. Птицы на ветвях — каждым нахохленным перышком. Небо над птицами — древними пятнами зелени на куполе из меди. Небо, птицы; деревья. Море бьется о скалы; скалы безмолвно смеются над морем — ждите.

Я вернусь.

Ночь принесена в жертву. Дымящаяся кровь растекается по алтарю, топя в себе зелень звезды-одиночки, сливаясь с беззвучием крика, растворенного в шорохе листвы под ветром; кровь медленно заливает горизонт. Струится из-за стены под ноги: пурпур царских мантий, багрянец тревоги, алая кровь с примесью старого, почерневшего серебра, сирень весенних кустов и сизый, душный всплеск погребального костра. В доме схватывается ребенок. Всклипл спросонья, плач, Телемах начинает кашлять и почти сразу умолкает. Слышны шаги босых ног: это Пенелопа. Ласковая колыбельная без слов: спи, малыш, все в порядке, это просто дурной сон...

Все в порядке, шепчу я себе. Это просто дурной сон.

Рано или поздно я проснусь.

Черной тенью, наискосок к стене: мой Старик. Молчит. Глядит в спину. Молчу в ответ. Белые пальцы зачечнели на перилах. Не оторвать. Будто стремлюсь врасти в тело дома, в плоть террасы, где учился возвращаться; смешно. Мне смешно, и я хохочу навстречу рассвету —

беззвучней, чем кричала ночь, умирая на алтаре. Ни к чему пугать жену. Сейчас она выйдет ко мне, держа сына на руках; сейчас судьба дико завопит за порогом, пробуждая моих спутников к убийству заветной тысячи врагов...

Но до этого «сейчас» еще целая вечность.

Я успею.

Память ты, моя память!.. быстрее удара пергамского копейщика, ты несешься в иной рассвет. Время наклониться, взять последний осколок. Вот он, рядом: отвезя счастливого Лигерона Пелида к мирмидонцам, мигом собравшимся на войну, я спал на корабле и был поднят из сна в сон, из ночи в полыхание восхода...

...Багрец. Пурпур. Струи янтаря, алая вьюга.

Пряди тьмы туго вплетены в буйство красок: не оторвать. Проливается золото из сложенных раковиной ладоней; серебром седеет даль. Купаюсь в полыхании, открываюсь навстречу. Мой мир во мне, не защищен ничем, кроме хрупкой плоти, и дитя вдали готово разрыдаться.

Они вставали навстречу миру во мне.

Впервые: снаружи, а не внутри.

Молния и трезубец, змеиный жезл-кадуцей и копье, лук и стрела, конский гребень шлема, молот и домашний очаг, пояс, сотканный из вождения, и желтая нива, и мрак небытия. «Клятва!..» — зывали они, требуя и приказывая; не зная, что зазубренным наконечником, частью в целом, я глубоко засел в каждом из них: выдерни — умрешь.

«Клятва-а-а!» — величие и гнев, хитрость и мудрость, вспыльчивость и тщеславие, покой и похоть, ярость битвы и зов дома, и дорога в серую даль. Эрот Хаотид, насмешливый друг мой! — посмотри мне в глаза: видишь змею?

Я не есть все, но я есть во всем.

«Клятва!»

— Да! Я, Одиссей, сын Лаërта, выполняю обещанное! Не-Вскормленный-Грудью идет на войну — да что там идет?! бежит со всех ног! — и теперь я клянусь всем, что мне дорого: не позволить ахейцам уйти из-под стен Трои до конца! До самого конца, каким бы он ни был! Клянусь!

Рядом, тенью во сне, молчит мой Старик, и лицо его светится.

Багрец. Пурпур. Струи янтаря, алая вьюга.

«Да! Мы, Семья, выполняем обещанное! И в ответ клянемся черными водами Стикса, священной и нерушимой клятвой богов — никогда и нигде, на земле и под землей, и в заоблачных высях, не посягать на жизнь смертного по имени Одиссей Лаэртид! Да будет так!»

И дитя вдали рассмеялось от счастья.

ИТАКА — АВПИДА — ЛИПОВОЕ МОРЕ:

**Троада
(Просодий)**

Я вернусь.

Литературно-художественное издание

Генри Лайон Олди
ОДИСЕЙ, СЫН ЛАЗЕРТА

Книга первая

Издано в авторской редакции
Художественный редактор *И. Сауков*
Технический редактор *Н. Носова*
Компьютерная верстка *Л. Панина*
Корректор *З. Харитоновна*

Налоговая льгота — общероссийский классификатор
продукции ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

Подписано в печать с готовых диапозитивов 18.07.2000.

Формат 84х108 1/32. Гарнитура «Таймс».

Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,84. Уч.-изд. л. 19,17.

Тираж 20 000 экз. Заказ 5099.

ЗАО «Издательство «ЭКСМО-Пресс»

Изд. лиц. № 065377 от 22.08.97

125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, подъезд 3.

Интернет/Home page — www.eksmo.ru

Электронная почта (E-mail) — info@eksmo.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов.

в ГИПП «Нижполиграф».

603006, Нижний Новгород, ул. Варварская, 32.

Книга — почтой:

Книжный клуб «ЭКСМО»

101000, Москва, а/я 333. E-mail: bookclub@eksmo.ru

Оптовая торговля:

109472, Москва, ул. Академика Скрябина, д. 21, этаж 2

Тел./факс: (095) 378-84-74, 378-82-61, 745-89-16

E-mail: reception@eksmo-sale.ru

Мелкооптовая торговля:

Магазин «Академкнига»

117192, Москва, Мичуринский пр-т, д. 12/1

Тел./факс: (095) 932-74-71

ООО «Дакс». Книжная ярмарка «Старый рынок».

г. Люберцы Московской обл., ул. Волковская, д. 67

Тел.: 554-51-51; 554-30-02

Всегда в ассортименте новинки издательства «ЭКСМО-Пресс»:

ТД «Библио-Глобус», ТД «Москва», ТД «Молодая гвардия»,

«Московский дом книги», «Дом книги на ВДНХ»

ТОО «Дом книги в Медведково». Тел.: 476-16-90

Москва, Заревый пр-д, д. 12 (рядом с м. «Медведково»)

ООО «Фирма «Книинком». Тел.: 177-19-86

Москва, Волгоградский пр-т, д. 78/1 (рядом с м. «Кузьминки»)

ГУП ОЦ МДК «Дом книги в Коптево». Тел.: 450-08-84

Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 31/1

Выбери свою книгу в каталоге Книжного клуба «ЭКСМО»!

*Издательство «ЭКСМО» выпускает очень много книг.
Классика, детективы, фантастика, любовные романы, сказ-
ки, детские детективы, обучающая литература, энциклопе-
дии, книги по домоводству, рукоделию, кулинарии, приусадеб-
ному хозяйству...*

**НАШ КАТАЛОГ – СПАСАТЕЛЬНЫЙ КРУГ В
БЕЗБРЕЖНОМ МОРЕ КНИГ ИЗДАТЕЛЬСТВА
«ЭКСМО»!**

**Все, что нужно, – прислать заявку.
1 раз в квартал вы БЕСПЛАТНО получаете
красочный каталог, а в нем – более 200 книг.**



Наш адрес: **101000, Москва, а/я 333.**
Телефон "горячей линии" **(095) 232-0018**
Адрес в Интернете: **<http://www.eksmo.ru>**
E-mail: **bookclub@eksmo.ru**

**СЕРИЮ
«НАШИ ЗВЕЗДЫ»**

Классика современной
русской фантастики

Здесь – встреча далекого будущего
и реального настоящего.

Здесь решаются судьбы галакти-
ческих цивилизаций и всей Все-
ленной.

Настоящие звезды фантастики ве-
дут читателя навстречу звездам.

И звезды обязательно будут наши-
ми!

**НОВИНКИ ЛЕТА 2000:**

О. Дивов «Закон фронта»

Е. Гуляковский «Затерянный среди звезд»

М. Ахманов «Скифы пируют на закате» (дилогия)

Ю. Брайдер, Н. Чадович «Клинка максаров» (трилогия)

Все книги объемом 500-750 стр., твердый, целлофанованный переплет, шитый блок.

Книги можно заказать по почте:

101000, Москва, а/я 333. Книжный клуб «ЭКСМО»

Наш адрес в Интернете: <http://www.bookclub.ru>



Знак Единорога

Старая добрая фэнтези

- * Многослойные и масштабные Миры, судьбы которых порой висят на волоске;
- * Битвы Света и Тьмы, которые расшатывают вековое Равновесие;
- * Волшебные истории, фантастические приключения гномов, эльфов, хоббитов, орков и других обитателей этих мест.



НОВИНКИ ЛЕТА '2000:

А. Нортон «Проклятие эльфов»

А. Нортон «Эльфийское отродье»

Дж. Вулф «Меч ликтора»

Дж. Вулф «Книга Нового Солнца»

Все книги объемом 500-650 стр., твердый, целлофанованный переплет, шитый блок.

Книги можно заказать по почте:

101000, Москва, а/я 333. Книжный клуб «ЭКСМО»

Наш адрес в Интернете: <http://www.bookclub.ru>

издательство
ЭКСМО

ПРЕДСТАВЛЯЕТ

СЕРИЮ

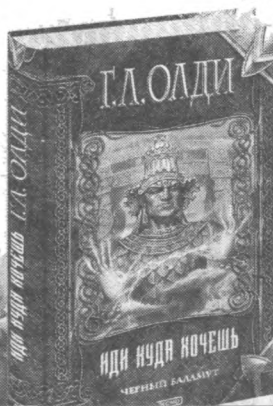
Нить времен

**Золотой фонд
философского боевика**

«Нить времен» ведет по лабиринту пространства и времени.

Клубок разматывается, нить запутывается, заводит то в непроходимые дебри, то на бескрайние равнины.

Найдите выход из этого лабиринта, но не забывайте – у каждого он свой...



НОВИНКИ ЛЕТА '2000:

Г.Л.Олди «Герой должен быть один»

Г.Л.Олди «Иди куда хочешь»

А.Валентинов «Нарушители равновесия. Ория»

А.Валентинов «Печать на сердце твоём. Ория»

Все книги объемом 500-650 стр., твердый, целлофанированный переплет, шитый блок.

Книги можно заказать по почте:

101000, Москва, а/я 333. Книжный клуб «ЭКСМО»

Наш адрес в Интернете: <http://www.bookclub.ru>

**Лучшие образцы зарубежной
остросюжетной фантастики!**

- ✦ Межгалактические полеты,
дальние форпосты космоса;
- ✦ Головокружительные
приключения межзвездных
путешественников;
- ✦ Сражения не на жизнь, а на
смерть;
- ✦ Произведения, проверенные
временем, и новые хиты от
виртуозов жанра!



НОВИНКИ ЛЕТА '2000:

А. Азимов «Академия и Земля»

Р. Шекли «Драмокл»

Э. Маккефри «Майор запаса»

Ф. Саберхаген «Берсеркер: Шива из стали»

Все книги объемом 400-500 стр., твердый, целлофанированный переплет, шитый блок.

Книги можно заказать по почте:

101000, Москва, а/я 333. Книжный клуб «ЭКСМО»

Наш адрес в Интернете: <http://www.bookclub.ru>



ISBN 5-04-005366-5



9 785040 053667 >